Зарубежная фантастика

Теодор Старджон
УМРИ, МАЭСТРО!

Теодор Старджон
УМРИ, МАЭСТРО!

Сборник фантастических рассказов

Издательство «Мир»

Зарубежная фантастика

Теодор Старджон

УМРИ, МАЭСТРО!

Сборник фантастических рассказов

Перевод с английского

Москва «Мир» 1999

УДК 82.035
ББК 84.7 США
С77

Старджон Т.

С77 Умри, маэстро!: Сб. фантаст. рассказов: Пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 508 с. – (Зарубеж. фантаст.)

ISBN 5-03-003329-7

Сборник рассказов всемирно известного американского фантаста, которого отличают тонкий психологизм и умение видеть невероятное в самых, казалось бы, обычных ситуациях.

Все шестнадцать рассказов, вошедшие в данный сборник, переведены на русский язык впервые.

ББК 84.7 США

Редакция научно-популярной
и научно-фантастической литературы

ISBN 5-03-0033329-7

© перевод на русский язык, состав, художественное оформление, Мир, 1999

Умри, маэстро!

В конце концов я прикончил Латча Кроуфорда кусачками для арматуры. Вот он где, этот Латч, весь целиком, со всей его музыкой и выдающимися качествами, его известностью и гордостью. У меня в ладони. Буквально у меня в ладони: три червяка — розоватые, на одном конце ноготь, на другом кровь. Я подбросил их, поймал, сунул в карман и пошел себе, насвистывая «Дабу-дабай» — это его главная тема. За восемь лет, что я ее слышал, первый раз получил от нее удовольствие. Иногда проходит много времени, пока убьешь человека.

Я уже пробовал дважды. Один раз хитроумно, да не удалось. Другой — по-тайному, и опять не удалось. Теперь дело сделано.

Насвистывая «Дабу», я словно слышал весь джаз — медные порыкивают «хуу-хаа-хуу-хаа» (так он обычно аранжировал музычку на эстраде, этот хорек, — я говорю о Латче: трубачи и тромбонисты поворачиваются на стульях: направо — выдувают «хуу» с сурдинами, налево — выдувают «хаа» в открышку), и тут кларнет Латча заводит в терцию к хитроумной гитаре Скида Портли: «Дабу, дабай, дабай-дабу...» И еще, понимаете, на Латча уставлен прожектор-мигалка, и поток света заливает Портли с его гитарой, медный огонь так и отскакивает от качающихся глоток тромбонов и труб... и публика все это кушает, она их лю-

---

Пер. изд.: Sturgeon T. Die, Maestro!: в сб. Sturgeon T. E Pluribus Unicorn. — New York: Ballantine Books, 1965.

бит — и его любит, этого задаваку... и Фоун раскачивается за фортепьяно, по ней пробегают отсветы мигалки, а когда поворачиваются тромбоны, золотые вспышки освещают ее лицо, и видно, как она склоняет голову набок, чуть улыбаясь Латчу, оглаживая клавиатуру, словно это его щеки — любит его, любит, как никого другого.

И позади, во тьме — Криспин, незаметный, но неизбежный, как сердце внутри тела, — скорчился над барабанами, его басовые вы не слышите, чувствуете брюхом, но ритм задают именно его пальцы, на каждом такте они выбивают округлый удар, расходящийся от середины к краям — без нажима — в лад с «хуу-хаа» медных. Ты не видишь Криспина, но ощущаешь его работу. Они это все любят. Он занят любовью с барабанами. Сидит во тьме и любит Фоун — с ее педалями и клавишами.

А я сидел перед ними, в стороне, глядя на все это, и могу увидеть их сейчас, просто насвистев мелодию. И все это было Латчем, или о Латче — он ничем другим и не был. Туда-сюда поворачиваются медные, Криспин любит Фоун, а она любит Латча, и Латч передает главную тему гитаре Скида, оставляя себе дурацкое облигато. И еще там был Флук, то есть я. Понятное дело, не на свету. Держи Флука во тьме, чтоб не видели его лица. Личико Флука уберегло его от армии Соединенных Штатов — не знали? Рот у него размером в пятак, зато зубы все до одного навостренные.

Я был частью всего этого — как любой из них, только ничего не делал. Такая у меня была работа. Я был тем самым парнем, что пережидал первые десять тактов темы и заводил, прижав микрофон к щеке, словно певец-шептунчик: «Латч здесь, Латч исчез —

да, исчез, ребята». (Латч говаривал, что у старины Флука голос, как у альтгорна с расколотым язычком. Непристойный голос — он так его называл. Это был комплимент.) «Исчез, ребята, — повторял я, а потом заводил: — Начинаем, начальники-печальники. Начинаем, ребятишки. Камбала* вам говорит, бьет хвостом, как рыба-кит, принесла я Кроуфорда и его аккорды... Латч Кроуфорд и его «Пропащие парни», дамы и господа! Из Рубиновой залы отеля «Халперн» (или «Радуга», или «Ангел», или какого еще)». Так я им хрипел. Не для саморекламы — всю болтовню насчет камбалы придумал Латч. Таков был Латч — возьмет и отдаст сольную тему гитаре Скида вместо того, чтобы оставить себе. Он даже всунул мое имя в состав группы — ну, вы знаете. Такая вот была штучка, этот джаз. Машина. И кто-то был должен вести машину, а кто-то в ней разъезжать. Латч и разъезжал.

Я просто должен был его убить.

Расскажу о том, как я попробовал по-умному. Было это пять лет назад. У нас тогда играл клавишник, такой, что лучше не бывает. Звали его Хинкл. Много чего аранжировал — один из тех, кто придал группе ее теперешний стиль. Может, вы не помните Хинкла. Его убили. Поехал на танцевальную площадку, что в Саут-Сайде — послушать контрабасиста, входившего в славу, и какой-то пьяндыга затеял спор, вытащил пистолет, прицелился в какого-то фэна, промахнулся и попал в Хинкла. Тот даже в спор не ввязывался — никого там не знал. В общем, его прихлопнули, и нам

---

* Флук — по-английски «камбала», «хвостовой плавник кита». — *Здесь и далее примечания переводчика.*

пришлось играть объявленный концерт без фортепиано. Лабали, как могли.

И примерно в одиннадцать эта малышка взбирается на эстраду — сплошные глазища и застенчивость. Между номерами тянет Латча за полу фрака, отдергивает руку, как от горячего, и стоит вся красная, словно редиска. Ей было всего семнадцать, пухленькая, с длинными черными волосами и розовыми губками — ни дать ни взять ваша маленькая сестричка. Только с третьей попытки смогла объяснить, чего ей надо: идея в том, что она немного играет на пиано и думает, что сможет пополнить наше сообщество.

Латч сходу влюблялся во всякого, кто вроде брался за трудное дело. Он и пяти секунд не раздумывал. Махнул ей — давай к клавишам — и объявил «Голубую прелюдию», где много духовых, и они вступают довольно скоро, так что мы могли заглушить пиано, если оно не потянет.

Глушить не пришлось вот на столько. Ребенок играл Хинкла, играл отлично, чисто и легко — закрой глаза, и вот он, Хинкл, дает по басам и выводит пассажи, богатые, как сама жизнь.

Остаток концерта был за малышкой, как рассудил оркестр. Она вывалила целый мешок трюков — в жизни их не забуду. У нее был стиль и отличные руки. Ноты читала, как молния, запоминала еще быстрее, и у нее было туше. А, к дьяволу, мне не нужно рассказывать вам о Фоун Амори... Так вот, мы устроили толковище, и Латч отобедал с ее родней. Оказалось, у Фоун есть все диски, что накрутил Хинкл — потому она и научилась его стилю. На фортепьяно начала играть, когда еще была совсем

щеночком. Латч нанял ее с благословения папаши, и мы снова были при пиано.

Примерно тогда мы и начали входить в силу. Не то чтобы из-за игры Фоун — там не было особого блеска, хоть она и играла потрясающе. Из-за того, чем она стала для группы. В музыкальном бизнесе полным-полно шлюшек и птичек, что клюют по зернышку, а этот ребенок был из чистого мира. Группа получила ценность, которую нужно отстаивать. Кобеляжу пришел конец, только раза два молодые джазисты впадали в горячку и принимались за ухаживанье. Разок пробовали и больше не пытались — кто-нибудь из нас со счастливой улыбкой вырывал у бабника волчьи клыки. Скид однажды раскокал гитару в четыреста долларов о башку такого парня. (После это обернулось удачей: он всерьез занялся электричеством — правда, электрогитара появилась позже.) И я однажды устроил заячью губу тромбонисту — вышиб три передних зуба, потому как его правая рука забыла, что творит левая.

Она поступила к нам, уже втюрившись в Латча по уши, каждый это видел. Наивно и чисто втюрилась, улавливаете? Латч — тот относился к ней, как ко всем лабухам. Он и ухом не вел, а мы знали свое место. Думаю, не один я потерял сон. Пока никто не шевелился, дела так и шли; джаз пер вверх, как ракета. Мы были на подъеме, приятель.

Но сама Фоун все и поломала. Оглядываясь назад, я думаю, что этого можно было ожидать. Мы-то были опытные парни, мы держались своей линии потому, что все продумали. Но она была просто дитя. Ее это грызло слишком долго, и, думаю, такого напряга она вынести не смогла. Силенок не хватило. Мы то-

гда выступали в Боулдер-Сити, в загородном клубе. Это случилось вечером, во время пятнадцатиминутного антракта, в начале третьего. Луна в небе — вот такая. Я был сам не свой. Фоун меня просто заполонила, от макушки до пяток. Я прошел в бар и хватил шипучего — от него мне всегда становится скверно, а тут хотелось какой-нибудь неприятности, чтоб на ней сосредоточиться. Оставил ребят сидеть за столом и разводить бодягу, а сам вышел на воздух. Там была дорожка, засыпанная гравием, она сухо хрустела под ногами, словно рыгала. Я с нее сошел. Двинулся по траве, глядя на луну — век бы ее не видел, — чувствуя, как шипучка гуляет у меня в брюхе, и было мне сурово. Да вы сами знаете, как это бывает.

Дело не только в Фоун — я это понимал. Еще и в Латче. Он был так... уверен в себе. Дьявольщина. Я-то никогда этого не мог. До нынешнего дня, когда сумел добиться своего. Теперь я чертовски в себе уверен, и сделал это своими руками. Не всякий может так сказать о себе. А Латч — он мог. У него был талант, понимаете? Большой талант. Настоящий был музыкант. Но не использовал этого, только чуть направлял — кончиками пальцев. До сих пор хвалил Хинкла, а свое соло передал другому парню. Такой он и был. Такой в себе уверенный, что ему не приходилось ничего захапывать. Не приходилось даже нагнуться и подобрать то, что он может заполучить. Он знал, что получит свое. А я никогда не знал, чего могу, пока не попробую. Таких парней, как Латч Кроуфорд, просто быть не должно — парней, которым нечего сомневаться и беспокоиться. Они все имеют и получают. С таким парнем нельзя соревноваться почестному. Или он победит, или ты. Он-то победит

легко — будто вдохнет и выдохнет. А ты — лишь потому, что он тебе дозволит. Таким парням не надо бы родиться. А если они родятся, им назначено быть убитыми. Жизнь и в спокойные времена — крутая штука. Вот Латч, он придумал для джаза ласковую кличку: «сообщество». Кличка не похожа на ласковую, но она такой была. Камбала был его зазывалой-пустобрехом и частью сообщества... и никакой разницы, что джаз остался бы так же хорош и без меня. Отставь любого из нас или замени, а «Пропащие парни» Латча Кроуфорда никуда не денутся. Но Камбала был тут, и Скид, и Криспин, и остальные, и Латч хотел, чтобы ничего не менялось. Я оставался в солдатиках, и прочно — спасибо ему, спасибо... Благодарствуйте ему за все проклятые фокусы.

Так вот, я стоял на травке, глядел на луну и все это переживал, и тут услышал, как Фоун всхлипнула. Один только раз. Я двинулся в том направлении, скользя подошвами по траве, чтобы не скрипел левый ботинок.

Она стояла на углу дома вместе с Латчем. Голову подняла к луне. И беззвучно плакала, не закрывая лица. Оно было мокрое и словно сдвинутое вниз и вбок — так, будто я смотрел сквозь волнистое стекло. Фоун сказала:

— Латч, ничего не могу поделать. Я тебя люблю.

И он ответил:

— Я тоже тебя люблю. Я люблю всех. Тут не из-за чего страдать.

— Это не... — Она сказала это так, что слышался и вопрос, и лавина подробностей, рассказ о том, до какого страдания может дойти человек. — Латч, можно, я тебя поцелую? — прошептала она. — Больше нико-

гда не попрошу. Разреши только один раз, Латч, один раз, и все, я должна, должна, я больше так не выдержу...

Вот так. Я ненавидел его и, кажется, ненавидел и Фоун — чуть-чуть, одну секунду, — но понимаете, если бы он ей отказал, я влепил бы ему такого пинка, что он летел бы до самой Пенсаколы. Никогда не чувствовал ничего подобного. Никогда. И на будущее не хочу.

Ну он и позволил. Потом вернулся в дом, взял свой кларнет и выдул короткий голубой звучок, собирая нас, — обычный сигнал. А ее оставил снаружи, и меня оставил, хотя и не знал, что я там. Разница в том, что меня-то он не будоражил...

Кое-как мы закончили концерт — Криспин и его барабаны, как удары сердца, и Скид с его знаменитой пробежкой по всему грифу — он мог делать настоящее глиссандо на новой гитаре, которую Криспин помог ему построить, ну, я тоже подключился — трубы, а за ними Камбала. Да, вкрадчиво так: «А теперь — говорю — «Сладкая Сью», ребяточки, самая сладкая из всех, что мы дудели, а солирует Фоун Амори — ветерком по клавишам...» И Фоун журчит интродукцию, и я микширую ее пиано, вздыхаю в микрофон: «Ох, ребятки, не заполучи мы Фоун...» и опять даю пиано на полную громкость. А сам долблю про себя эту бодягу: «Не заполучи мы Фоун, не заполучи мы...»

Криспин, здоровенный белобрысый парень, был дипломированным инженером-электриком. Когда учился, зарабатывал на жизнь игрой на барабанах и после учебы сразу занялся тем же. Но хоть и стал ударником, нипочем не мог отказаться от воз-

ни с электроникой. Беспрерывно переделывал нашу усилительную систему, а уж Скидова гитара была для него пустяком, мелочевкой — он к ней все время возвращался. Когда Скид к нам пришел, у него уже имелся электронный усилитель — в нынешнем джазе гитара без усилителя никому не нужна, — но это был простой звукомниматель, прицепленный к обычной концертной гитаре. Было еще несколько штучек: регулятор громкости с педалью и переключатель тембра, который заставлял гитару рокотать, когда Скид этого хотел. Но беда в том, что при большой громкости этот адаптер подхватывал прямо-таки все — и ноту, и чирканье медиатора, и характерный скрип мозолистых пальцев Скида, когда он скользил ими по витым струнам, так что при соло на гитаре постоянно слышались щелчки, потрескиванье и даже свист ребят, подзывающих такси.

Криспин — вот кто это исправил. Здоровенный добродушный лабух, который всем сразу нравился. Бывало, когда мы приезжали в новый город, Криспин отправлялся в район радиомагазинов и договаривался с каким-нибудь ремонтником, чтобы ему дали пару дней повозиться в мастерской. Криспин мог днями колупаться с электроникой Скидовой гитары, вытаскивать ее потроха и подключать частотные генераторы, осциллоскопы и все прочее, а потом вместо сна и отдыха объяснял Скиду, как управляться с этой штукой. Года через два у парня был инструмент, который мог бы сесть за стол и печатать на машинке. В нем была штука для трелей и вибрато, и еще хитрый рычаг, на который Скид нажимал локтем, и тогда получался аккорд на шести струнах со сдвигом в полто-

на, и еще примочка, называемая аттенюатор, которая позволяет долго держать ноту — так, словно ее выдули на органе. А за спиной у Скида стояла панель с кучей кнопок, переключателей и рукояточек, их было побольше, чем клапанов на аккордеоне, сделанном по спецзаказу. Скид говорил, что дело того стоило, что на таком инструменте любой парень из деревенского оркестра со своими тремя аккордами может играть не хуже него. Я думал, он прав. Целые годы я думал, что он был прав, когда это говорил.

На следующий день, перед репетицией, — тогда, в Боулдер-Сити, — ко мне подходит этот самый Криспин и начинает говорить, будто слова у меня изо рта вынимает. Я сидел на веранде и думал насчет луны прошлым вечером и о том, что там было при луне. О Латче — что парню все само в руки валится так, что ему не надо ни на что решаться. Значит, Криспин уселся рядом и спрашивает:

— Флук, ты хоть раз видел, чтобы Латч не мог на что-то решиться?

— Братишка, — сказал я, и он понял, что это значит «нет».

Посмотрел на свой большой палец, отогнул его и добавил:

— Лабух получает все, что захочет, ни о чем не прося. И в мыслях не держит, чтобы попросить.

— Чистая правда, — сказал я. Мне не особо хотелось разговаривать.

— Он этого заслуживает. Что меня радует.

Заметно, — подумал я и ответил:

— Меня тоже радует. — Ни черта меня это не радовало. — Так о чем идет толковище, Крисп?

Он долго молчал, потом проблеял:

— Ну, он меня кое о чем спрашивал. И был совсем... совсем... э-э... похож на провинциала в роскошной гостинице — расшаркивался и краснел.

— Ла-атч? — спросил я. Латч всегда изображал из себя облачко, парил, как перышко. — В чем дело?

— Это насчет Фоун, — сказал Криспин.

Я ощутил в животе штуковину размером и весом с бильярдный шар.

— Что насчет Фоун?

— Он хотел узнать, что скажут музыканты, если они с Фоун поженятся.

— И что ты ему ответил?

— А что я мог ответить? Я сказал, это будет замечательно. Что ничего не изменится. Может, будет даже к лучшему.

— К лучшему, — повторил я. — А как же.

Совсем будет хорошо. Если до нее нельзя дотянуться, так можно было хоть помечтать. Можно было мечтать, что вдруг все изменится. Латч и Фоун... Это у них не дурачество, нет... Поженятся по всем правилам.

— Я знал, что ты думаешь так же, как я, — сказал Криспин. Таким тоном, словно у него гора свалилась с плеч. Шлепнул меня по спине — ненавижу это — и ушел, насвистывая «Дабу-дабай».

Тогда я и порешил убить Латча. Не из-за Фоун. Она была только частью дела — самой главной, конечно, — но вот я чего не мог вынести: опять ему все подают на серебряной тарелочке! Помню, я ловил попутку, когда был маленький. В холод околачивался на дорожном перекрестке рядом с Минеолой. Долго стоял. И забрало меня хотение — сильное, как при

молитве. Много времени спустя я вспомнил, чего так сильно хотел. Не поездки. Не того, чтобы подкатил парень с печкой в машине. Чего я хотел, так целой кучи проезжающих машин, чтобы я мог их остановить. Усекли? Я всегда хотел главного поворота в жизни, чтобы мне подвалило, чтобы идти своей дорогой стало легче. Это всем людям положено. Вот Латч — от роду талантливый, красивый, идет по жизни, и на него словно золото сыплется... Такие люди жить не должны. Каждой минутой своей жизни они дают по харе таким парням, как мы.

Секунду я думал: сваливаю, ухожу на свободу. Потом вспомнил радио, музавтоматы, и как шумит народ перед дверями лифта, и понял, что никуда от него не денусь. Другое дело, если он помрет, — мне бы в радость о таком услышать. Нет, я должен его убить.

Но разыграть это должен по-умному.

Дня два я об этом думал. Больше ни о чем. Думал обо всех способах, о которых слышал, и о том, на какие крючки ловят убийц в сыщицких кино. И уже решил насчет дорожной аварии — он все время водил машину, то ездил вместе с группой, то по соседству, за язычком к кларнету, либо на почту или еще куданибудь, так что закон случайностей был на моей стороне — Латч еще ни разу не попадал в аварию. Я уже ездил в его машине и присматривался к окрестным дорогам, когда на меня свалилась самая фантастическая удача, о которой можно мечтать — если у тебя хорошее воображение.

Я только что свернул с местной дороги от Шиннебаго на хайвей, как услышал сирены. Взял на тормоза, и к обочине. Темно-бордовый пикап с рыком промчался по изгибу дороги милях на восьмиде-

сяти в час. В ветровом стекле — дырки от пуль, водитель пригнулся к щитку. В кузове сидели два лба и палили из пистолетов. Их догоняла машина полиции штата. Я и секунды не промедлил — вывалился наружу и лег прежде, чем сообразил, что делаю. Выглянул из-за багажника. И успел увидеть, что один из лбов в пикапе выпрямился, схватившись за правую руку. Тут водитель швырнул машину на дорогу, с которой я только что съехал — это было невозможно на такой скорости, но он это сделал — шины провизжали что-то из Диззи Гиллеспи, и подстреленного человека выбросило из машины, как камень из рогатки. Его перевернуло, а потом понесло по асфальту. Я думал, он никогда не перестанет катиться. Едва он ударился о дорогу, сзади вынеслась полицейская машина — передняя правая шина спущена. Ее заносило то вправо, то влево, и на этот раз шины играли Стэна Кентона.

Вот что было важно: когда того парня подстрелили, его пушка взлетела в воздух и упала в траву не дальше, чем в двадцати футах от меня. И я схватил ее прежде, чем копам удалось остановить свою тачку. Они меня не видели — другим занимались: сначала своей машиной, потом жмуриком. Я подошел и поговорил с ними. Оказалось, те три деятеля грабили заправки и автомобилистов. Успели двоих убить. Один из копов ворчал насчет проклятых заграничных пистолетов, что он будет доволен, когда боеприпасы к ним кончатся. Копы сказали, что скоро поймают парней, которые удрали, что это — дело времени. Я сказал: конечно, поймаете. Вернулся к машине Латча и поехал, обдумывая это дело. Было ясно, что лучшего шанса мне никогда не представится.

И на следующее утро сказал Латчу, что съездил бы с ним в город. Он собрался везти почту, а я объяснил, что мне нужно в аптеку. Он ничего такого не подумал. Я пошел к себе, взял пистолет и засунул в пройму куртки, под мышку. Это был большой бельгийский пистолет. В нем оставалось четыре патрона.

Я отлично себя чувствовал. Думал, что и бровью не веду, пока Латч не оглянулся на меня — он был за рулем — и не спросил, все ли в порядке; тогда я понял, что у меня пот на верхней губе. Посмотрел в обзорное зеркало. Дорога была видна мили на две — мы ехали по равнине, — и сзади не маячила ни одна машина. Посмотрел вперед. Навстречу ехал грузовик. Миновал нас. Дорога была пуста.

— Встань на обочине, — сказал я. — Нужно поговорить.

Он удивился и посмотрел на меня.

— Флук, я могу слушать и вести. Что там у тебя за пазухой?

Так и спросил: что там у тебя. Я чуть не засмеялся.

— Тормози, Латч... — Я хотел говорить обычным голосом, но вышел хриплый шепот.

— Не дури, — сказал он. Открытым, щедрым таким тоном — как обычно, такой он уж был, этот Латч. — Давай, Флук, говори, облегчи душу.

Я достал пистолет, снял с предохранителя и сунул ему под ребра.

— Встань к обочине.

Он приподнял руку и посмотрел вниз, на пистолет. Проговорил:

— Ну, ладно. — Затормозил, выключил зажигание и откинулся в угол между спинкой сиденья и дверцей, так что оказался вполоборота ко мне. — Изла-

гай, Флук. Ты собираешься прикончить меня этой штукой?

Он говорил без испуга — потому, что не был испуган. Действительно не был. Такого с ним еще не случалось, и потому не могло случиться. И он не прощупывал меня. Разговаривал, как на репетиции. Очень спокойный был лабух, этот Латч.

— Да, собираюсь, — сказал я.

Он удивленно разглядывал пушку.

— Где ты ее раздобыл?

Я рассказал ему и это. Если бы он начал потеть или вопить, я бы выстрелил. Но я его слишком ненавидел для того, чтобы застрелить сразу. Так что рассказал ему все, и еще добавил:

— Этих шутников пока не поймали. Копы вынут из тебя пулю, и она окажется такой же, как у прежних убитых. Они подумают, тебя тоже убили бандюги.

— Подумают? А как насчет тебя?

— Во мне тоже будет такая пуля. В руке. Дело того стоит. Хочешь еще что-то узнать?

— Хочу. За что, Флук? За что? Из-за... Фоун?

— Точно.

Он вроде как покачал головой и ответил:

— Флук, мне неприятно это говорить, но я думаю, что если ты меня убьешь, шансов у тебя не прибавится. Даже если она ничего не узнает.

Я сказал:

— Знаю. Но мне нужен поворот в жизни, я всегда только этого и хотел. Пока ты рядом, мне ничего не сделать.

У него на лице была только жалость, больше ничего — совсем ничего.

— Тогда вперед, — сказал он.

Я нажал на спуск. Пистолет подпрыгнул в руке. Я увидел, что Латч крутанулся, и тут в глазах почернело, словно я был под сценическим прожектором, и вдруг вылетели пробки.

Когда я оклемался, глаза не хотели смотреть. Мир был полон жутко черных пятен, а на затылке набухало что-то круглое.

Я все еще был на переднем сиденье авто. Что-то гнусно скреблось на запястье. Я сбросил эту штуку, опустил голову на руки и застонал.

— Как ты себя чувствуешь? — Латч наклонился ко мне, встревоженно вглядываясь в лицо.

Я приложил к затылку носовой платок, посмотрел на него. Там была кровь — чепуха, пятнышко.

— Латч, что произошло?

Он ухмыльнулся. Усмешка была кривоватая, но все-таки настоящая.

— Флук, стрелок из тебя никакой. Я два раза видел тебя в тире вместе с группой. Ты боишься оружия.

— Откуда ты знаешь?

— А ты плотно закрываешь глаза и съеживаешься, прежде чем нажать на курок. Я сидел вполоборота к тебе, и увернуться было легко. При повороте пушка ушла ко мне под руку. Тогда я ударил тебя плечом, и ты грохнулся затылком о дверную стойку. Тебя сильно повредило?

— Я тебя не застрелил!

— Ты мне порвал рубаху к чертовой матери.

Я спокойно сказал:

— Будь ты проклят.

Он откинулся на сиденье, сложил руки, и стал смотреть на меня. Смотрел долго, пока я не спросил:

— Чего ты ждешь?

— Жду, когда ты сможешь вести машину.

— И что тогда будет?

— Вернемся в клуб.

— Нет, выкладывай: что ты собираешься делать?

— Думать, — сказал Латч. Открыл дверцу, вылез, обошел вокруг машины. Скомандовал: — Пересаживайся.

Пистолет был у него в руке. Латч не целился в меня, но пушка была на взводе. Я пересел на водительское место.

Ехали медленно. Латч не разговаривал. Я с ним не вязался. Он делал именно то, о чем сказал — думал. Один раз я снял руку с руля. Он сейчас же посмотрел на меня. Я ощупал шишку на затылке и положил руку на баранку — до времени нельзя было дергаться.

Остановились перед клубом, и Латч приказал:

— Ступай наверх, в мой номер. (Мы жили в комнатах над залом.) Я пойду за тобой, пушка у меня в наружном кармане. Если кто остановит, не тяни время. Отделайся поестественней и шагай наверх. Я-то не боюсь оружия и выстрелю, если не будешь делать, что сказано. Сомневаешься?

Я посмотрел ему в лицо. Сомневаться не приходилось.

— Ладно, хорошо, — сказал я и пошел.

Никто с нами не заговорил. Когда мы пришли в комнату Латча, он приказал:

— Давай в этот шкаф.

Я открыл рот, чтобы сказать кое-что, но решил за-

ткнуться. Влез в шкаф и закрыл дверцу. Там было темно.

— Ты меня слышишь? — спросил он.

— Ага.

Он спросил много тише:

— И теперь слышишь?

— И теперь слышу.

— Тогда усвой. Мне нужно, чтобы ты понял каждое слово, которое здесь будет произнесено, пока я тебя не выпущу. Если начнешь шуметь, застрелю. Понятно?

— А, твоя власть, парень, — сказал я. Голова просто раскалывалась.

Прошло много времени — может, две или три минуты. Было слышно, что он кого-то зовет вдали, но я не мог разобрать слов. Думаю, он стоял на лестничной площадке. Вернулся и закрыл дверь. Он насвистывал сквозь зубы — «Дабу-дабай». Потом в дверь легонько постучали.

— Входи!

Это была Фоун. Она пропела:

— Вот я пришла — красавчик, как дела?

— Садись, цыпленок.

Кресло было плетеное. Я отчетливо услышал скрип.

Латч Кроуфорд всегда говорил по делу. Вот почему он успевал так много наработать. Он сказал:

— Фоун, я насчет вчерашнего вечера, при луне. Что ты чувствуешь сегодня?

— То же самое, — напряженно ответила она.

Тишина. У Латча была манера закусывать нижнюю губу, когда он что-то обдумывал. Сейчас он, наверно, это и делал. Наконец проговорил:

— Ты слыхала, что кругом говорят о нас с тобой?

— Ну, я... — Фоун перевела дыхание. — Ах, Латч...

Кресло резко скрипнуло — Фоун встала.

— Обожди! — фыркнул Латч. — Ничего не выйдет. Забудь об этом.

Я снова услышал кресло. Тихо скрипнуло в передней части, потом сзади. Фоун ничего не ответила.

— Понимаешь, моя радость, есть вещи слишком серьезные для того, чтобы человек — или два человека — могли с ними дурачиться. Этот наш джаз — такая вот вещь. Какая ему ни цена, а он важней, чем ты и я. Он лучшает, и будет еще лучше. Группа почти достигла совершенства. Мы — сообщество. Тесное. Такое тесное, что один ошибочный поступок может разодрать его на куски. Вот наш с тобой поступок — он и будет ошибочным.

— Откуда ты знаешь? О чем ты говоришь?

— Назови это интуицией. Главное, я знаю, как дела шли до сих пор, и знаю, что если ты... мы... это неважно... нам нельзя рисковать и менять старый добрый статус-кво.

Она закричала:

— А что будет со мной?!

— Сурово тебе... — сказал Латч. Я знал его много лет, но первый раз услышал, чтобы он говорил сдавленно, без легкости. — Фоун, в этой команде четырнадцать лабухов, и они все относятся к тебе так же, как ты ко мне. Не тебе одной — всем сурово. Думают, что будет, когда у тебя снова настанет весенняя лихорадка... — По-моему, он опять закусил нижнюю губу. Потом произнес голосом, почти таким же мягким, как гитара Скида на басовых тонах: — Извини меня, деточка...

Фоун взорвалась:

— Не зови меня деточкой!!

— Лучше иди и играй свои гаммы, — проговорил он невнятно.

Хлопнула дверь.

Довольно скоро он меня выпустил. Сам сел у окна и стал глядеть наружу.

— Ну, и зачем ты это сделал? — поинтересовался я.

— Ради сообщества, — ответил он, глядя в окно.

— Ты псих. Ты разве ее не хочешь?

Я видел только часть его лица, но ответ был ясен. Наверно, до того я не понимал, как сильно он ее хотел. Наверно, я и не думал об этом. Он сказал:

— Я не настолько ее хочу, чтобы совершить убийство ради малого шанса ее получить. Как ты. Если кто-то хочет ее сильней, чем я — значит моих чувств недостаточно. Так я это понимаю.

Я бы мог тогда сказать, что меня разбирает не только из-за него и Фоун, что это лишь часть дела. Но вроде бы ни к чему было сейчас выкладывать все карты. Хочет изображать порядочного — милости просим. Я только сказал:

— Ну, пойду укладываться.

Латч вскочил и загремел:

— Не делай этого! Слушай, хипстер, ты видел, как далеко я зашел, чтобы не навредить сообществу. Ты мне сегодня дал урок, крутой урок, ты меня образумил, и во имя Бога не разваливай теперь группу! — Он подошел ко мне вплотную: пришлось задрать голову, чтобы видеть его лицо. Ткнул пальцем мне в грудь. — Если ты сейчас уйдешь из сообщества, клянусь, я тебя выслежу и затравлю до смерти. Теперь убирайся.

— Очень хорошо, — ответил я. — Но послушай. Ты мне вернул билет на вход, а сам играешь опасное

соло. Подумай обо всем спокойненько, и если захочешь, чтоб я остался, скажи сегодня вечером. Сделаю, как скажешь.

Он ухмыльнулся — нормальной своей ухмылкой.

— Ладно, Флук. До встречи.

Трудно ненавидеть такого парнягу. Но если сумеешь, то и дело сделаешь.

Я сумел.

Так-то. Значит, я попробовал по-умному. В следующий раз попробовал по-тайному.

Мы играли на Западном побережье, то там, то здесь. Выложились в двух забойных фильмах и тринадцати короткометражках. Поучаствовали в самых известных радиопрограммах. Вернулись на Восток, малость побыв в Чикаго — Добрая Домашняя Неделя с родней Фоун, — а потом три недели без перерыва в Парамаунте. Играли сладко, так что местные оглядывались друг на друга и улыбались. Или играли бешено, так что крышу сдувало. Ну, вы сами знаете.

Я ненавидел каждый доллар, что валился нам в руки, и каждый взрыв аплодисментов, и каждую газетную строку, где нами восхищались, а такого, чтобы ненавидеть, была куча. «Пропащие парни» играли столько разной музыки, что от нее нигде не спрячешься. Я видел музавтомат с шестью пластинками Кроуфорда — одна над одной! Весь мир вешался на шею Латчу, потому как он отличный парень. А я наживался, потому как он был добр ко мне. И весь мир провонял этим хорьком и его музыкой. От нее нигде не было продыха. (Не приходилось слышать запись «Дабу-дабай» в исполнении французского «Горячего джаза»?) Здоровущая тюряга для старины

Флука — шелковая тюряга. Палата в психушке, обитая войлоком.

Фоун была малость измученная после Боулдер-Сити, но понемногу приходила в себя. Училась чувствовать одно, а делать другое. Как и мы все. Что же, разве это не основа всего, разве не с этого приходится начинать в шоу-бизнесе? Она училась лучше всех.

Мы опять двинулись на Запад, потом на Юг, и я попытался еще раз — уже по тайному — в Батон-Руже.

Там снова был загородный клуб, убойный такой, с волнистыми стеклами, акустическими потолками и прочими примочками. Не скажу, что меня подпихнуло что-то специальное, — попросту я задолго до того все продумал и дожидался только места рядом с текучей водой. В Батон-Руже был хорошенький ручей перед входом и еще речка Олд-Мен, и она ничего не расскажет.

Все было очень просто — удивительно, какими простыми оказываются некоторые дела, когда их наконец сделаешь, даже если они годами выедали тебе нутро. Латчу пришло письмо. Клубная гардеробщица отвернулась, чтобы повесить плащ, возвращается, а на тарелке для чаевых лежит письмо. Куча народу толклась в холле, ходила туда-сюда. Я тоже там толокся. Уборная помещалась внизу, под лестницей — я тем вечером заплохел. Все это знали и все смеялись над стариной Флуком. У меня аллергия на креветок, а здесь пришлось заглотать добрый фунт жареных креветок с рисом из Нового Орлеана. Получилась такая крапивница, что ее не скрывал даже жирный грим; я едва переставлял ноги и вынужден был путешествовать вниз каждые двадцать минут. И иногда там задерживался.

Латч получил это письмо. Оно было заклеено, адрес напечатан на машинке. Без обратного адреса. Гардеробщица передала письмо метрдотелю, а тот — Латчу. Парень прочел его, сказал Криспину и Фоун, что вернется, но не знает когда, надел шляпу и ушел. О чем он мог думать по дороге? О письме, наверное. Там говорилось:

«Дорогой Латч!

Прежде всего, никому пока не говори об этом письме. Убедись, что никто не смотрит тебе через плечо и вообще не подглядывает.

Латч, я вне себя потому, что кое-что слышал. Думаю, моей дочери Фоун грозит серьезная опасность, и должен с тобой переговорить. Я в Батон-Руже. Фоун пока не надо об этом знать.

Возможно, за этой историей ничего не стоит, но лучше избегать риска. Жду тебя рядом с пакгаузом над Морреро — это вниз по реке от Батон-Ружа. На пакгаузе со стороны улицы надпись: «Ле-Клерк и сыновья». Я в конторе, что у конца причала. Думаю, за тобой могут следить. Возьми такси до склада у Морреро, а дальше пройди к реке. Заплутаться невозможно. Но смотри, чтобы не было хвоста, осторожность необходима. Надеюсь, однако, что тревога окажется ложной.

Это письмо возьми с собой. Если мои опасения справедливы, то даже сжечь его в клубе небезопасно. Поторопись, пожалуйста.

С волнением — Джон Амори»

Я горжусь этим письмом. Папочка нашей Фоун и Латч были настоящие друзья-приятели, и старик не попросил бы об одолжении, если бы не важное дело.

Письмо было единственной уликой, других не было, но Латч унес его с собой. Чистая работа, хоть я и говорю это о самом себе.

Латча никто не видел. Таксист не знал, кто он такой, или просто никому об этом не заикнулся. Латч приехал так быстро, как сумел, постучался в дверь конторы. Внутри горела тусклая лампа. Никто не ответил. Латч вошел и закрыл за собой дверь. Позвал — очень тихо:

— Мистер Амори!

Я прошептал из пакгауза:

— Здесь.

Латч подошел к внутренней двери, ступил в пакгауз и остановился — при свете от лампы в конторе была ясно видна полоска кожи между его волосами и воротником. Я ударил по ней обрезком трубы. Он и звука не издал. На этот раз я не собирался ничего обсуждать.

Прежде чем он грохнулся об пол, я подхватил его и поволок к длинному столу около раковины. Она была полна воды, я уже проверил, что там речная вода, — как раз то, что нужно. Трубу я положил так, чтобы дотянуться до нее, если понадобится еще раз врезать Латчу, а его свалил на стол, головой над раковиной. Потом окунул голову и придержал под водой.

Как я и думал, вода привела его в чувство, он стал брыкаться и корчиться. Джутовые мешки, что я уложил на столе, глушили это намертво, и я крепко обхватил его за плечи и надавил локтем на шею, отжимая голову книзу, а сам держался ногой за стойку раковины. У Латча не было ни единого шанса, хотя несколько минут мне пришлось попыхтеть.

Когда он снова успокоился, я для надежности

обождал еще минут пять, взял цепь от лодочного якоря — она была старая и ржавая — и обмотал вокруг него. Надежно, но на вид неаккуратно, словно само так вышло. Вынул у него из кармана письмо, сжег, собрал пепел на кусок кровельной жести и бросил в реку. За ним скатил туда Латча. Течение было хорошее — он поплыл вниз прежде, чем ушел под воду. Я сказал: «Прощай, супермен», привел себя в порядок, запер пакгауз — погасив свет, спустив воду из раковины и все такое, — прыгнул в машину, которую оставил в двух кварталах оттуда, и поехал к клубу. Пролезть через подвальное окно в кабинку мужского туалета (я оставил ее запертой) и подняться затем на второй этаж ничего не стоило. Никто не обратил на меня внимания. Все дело заняло сорок три минуты. И сработано было — одно удовольствие. Цепь удержит его внизу, в иле, и с ним быстренько управятся зубатки. А если по какой неудаче тело найдут — чего такого, цепь могла случайно обмотаться, а помер он уж точно потому, что захлебнулся. Речной водой. Ссадина на шее ничего не значит.

Но Латч Кроуфорд был не тот парень, чтобы его легко прикончили.

Не стану рассказывать о следующем месяце, со всеми газетными заголовками и всей визготней, что поднялась. Джаз работал, как машина — при жизни Латч едва прикасался к вожжам, так что его отсутствие было почти без разницы. Музыканты сначала просто забеспокоились, и понадобилось три дня, чтоб они запаниковали. К этому времени у меня на душе стало легко. Вся полицейская работа и хитрые уловки частного детектива были впустую. Целый джаз подтвердил мое алиби, и гардеробщица под-

твердила — насчет крапивницы. На самом деле никто и не думал меня особо допрашивать. Никто точно не помнил, когда Латч ушел из клуба: это не привлекло внимания. Чистая была работа.

Следующее, чего я хотел — отделаться от этой компании, уехать, и начать свою собственную жизнь. Но пока осторжничал, не шевелился, ждал, чтобы кто другой сделал первый шаг.

Решился только через полтора месяца после того, как исчез Латч. Мы переехали в Форт-Уорт, что в Техасе. Фоун и Криспин сначала не хотели оставлять Батон-Руж, но потом решили, что Латч — где бы он ни был — знает наше расписание так же хорошо, как и мы, и вернется, когда будет к этому готов.

В Форт-Уорте мы устроили большое толковище. Криспин был за главного. Собрались все.

Фоун скверно выглядела. Исхудала, как щепка. Скид Портли постарел лет на пять.

Криспин перешел к сути так же быстро, как это делал Латч.

— Ребята, — говорит, — радоваться нечему. Я созвал вас не потому, что появились новые идеи насчет Латча или того, где он может быть. Ни звука не слышно. Вопрос сегодня в том, что после двух недель в Браунсвилле и недели в Санта-Монике турне будет закончено. У нас есть выбор из нескольких предложений — мы разберем их позже, — но прямо сейчас надо решить, что мы собираемся делать. Латча с нами нет, и нельзя знать, когда он появится. Мы можем либо устроить себе каникулы после Санта-Моники и до возвращения Латча спрятать инструменты, либо продолжать. Что скажете?

— Я бы отдохнул, — отвечаю я.

— Все бы отдохнули, — говорит Криспин. — Нас всех изводит история с Латчем. Но если б не она, мы бы раньше лета и не думали о перерыве.

Тогда Фоун спрашивает:

— Чего бы хотел от нас Латч?

Мофф — это Лью Моффат, он играл на язычковых — говорит:

— Не может быть сомнений на этот счет.

Общий шум — все согласны. Латч двигал бы дальше.

— Значит, двигаем дальше? — спрашивает Крисп.

Все говорят «да» — кроме меня. Я промолчал. Никто этого не заметил.

Криспин кивает.

— Остается один серьезный вопрос. Поскольку мы решили, как действовать, можно продолжать. Но кто-то должен взять на себя бухгалтерию, контракты, всю кучу аранжировок, бронирование гостиниц и так далее.

— Ты в смысле «кто-то один»? — спрашивает Скид. — Латч делал работу за четверых.

— Знаю, — говорит Криспин. — Так как вы думаете, мы сможем это устроить? Как насчет аранжировок? Скид, вы с Фоун помогали ему больше других.

Скид кивает. Фоун говорит:

— Мы справимся.

— Ладно. Я беру деловую часть, если вы «за». — Все согласны. — Теперь насчет афиш. Жульничать мы не можем: исчезно... э-э... отсутствие Латча вызвало массу публикаций, и если он не появится прежде, чем мы начнем, его нельзя ставить в афишу. Заказчикам это не понравится.

Они разжевали это дело. Наконец Скид спрашивает:

— Крисп, а почему тебя не поставить?

— Меня? Я этого не хочу.

Тут заговорили все разом. Главная мысль была в том, что Криспин работал рядом с Латчем, и народ хочет, чтобы он был главным.

До тех пор Криспин сидел, откинувшись в кресле. Теперь встал, выпрямился и сказал:

— Хорошо, хорошо! Но сначала послушайте. Этот джаз называется «Пропащие парни Латча Кроуфорда», и если вы не против, так будет и дальше. Если хотите, дадим в афишах: «Парни Дона Криспина и Латча Кроуфорда», но я хочу, чтобы Латч, где бы он ни был, знал, что мы — по-прежнему его джаз. А это также значит, что любая новая аранжировка или вещь должна делаться так, как сделал бы Латч — самым лучшим образом, насколько удастся. Если кто услышит в джазе что-нибудь такое, что не звучало бы как при Латче, пусть скажет сразу. Я хочу этого потому, что когда Латч вернется... Черт побери, не желаю говорить: «если вернется»! Чтобы когда Латч вернется, он бы мог в середине номера подхватить дирижерскую палочку и с места вести дальше. Вы хотите этого?

Они этого хотели. Когда они угомонились, заговорил Коко де Камп, забойный трубач — вроде как смущенно:

— Криспин, мне не хочется портить настроение, но я получил приглашение на постоянку в ансамбль Кинга. Мой контракт с Латчем заканчивается на этом турне, я думаю, что у Кинга смогу проявить се-

бя лучше. Но это, — добавил он поспешно, — только если Латч не вернется.

Криспин пожал плечами, почесал в затылке. Посмотрел на Фоун. Она опять сказала:

— Как бы обошелся с ним Латч?

— Все верно, — отозвался Криспин. — Латч позволил бы тебе валить, куда хочешь. Он никогда не останавливал тех, кто хотел уйти.

Я бы мог сказать пару слов. Не стал. А Криспин говорил дальше:

— Это ключевое слово, ребятки: чего бы захотел Латч? Отсюда и начнем. Кто еще хочет уйти? Никто не должен чувствовать, будто его держат.

Контрабасист — он был с нами всего два месяца — сказал, что он тоже думает об уходе. За ним и я сказал свое.

— Ох, не надо! — вскрикнула Фоун.

А Криспин спросил:

— Но почему, Флук?

Все уставились на меня. Я поднял руки и сказал:

— Я так хочу, и все тут. Что мне теперь — анкету заполнить?

— Без Флука не будет «Пропащих парней», — проворчал Скид.

Прав оказался Скид. «Оркестр Дона Криспина и Латча Кроуфорда» - такое название они вынесли на афиши. Криспин и Фоун изо всех сил пытались меня отговорить, но нет, не вышло. Не вышло. Я с ними покончил и был сам по себе. По-моему, Фоун вообразила, что мне тяжко оставаться в джазе без Латча — ведь он был так добр ко мне. Идиотство. Смеяться мне хотелось, вот что, но я не мог смеяться на глазах у наших лабухов.

Мы распростились в Санта-Монике после конца гастролей. Я думал, погуляю на свободе годик, огляжусь, но надо ведь — подносят на золотой тарелочке предложение: работать ночным диск-жокеем на радиостанции в Сиэтле. Это было самое оно. Мой голос, дикция, забористые хохмы и пошлятина отлично подходят для такого дела, но лучше всего, что я смогу работать там, где людям не придется смотреть на мое лицо. Иногда я думаю: вот, если бы с самого начала попал на радио, тогда бы не... может, не стал бы таким парнем, который... Эх, чего теперь зря болтать.

Я нанялся на полгода с правом уволиться, и мог бы получить ставку повыше, если бы захотел торговаться, но я не захотел. Криспин и другие музыканты Латча меня не забывали, присылали телеграммы во время передач, солировали у меня и рекламировали в своих клубах. Было похоже, что Латч — живой или мертвый — оставался прежним добряком. Я на все это не поддавался. Достаточно прожил на свете для того, чтобы усвоить: нельзя сходу разорвать близкие отношения с человеческим существом. Уйди с работы, разведись, оставь родной город — за тобой потянутся клочья и обрывки, не отвяжешься. Я сдерживался — не хохотал. Латч был мертв.

Но однажды вечером получаю поставку от фирмы грамзаписи «Мекка». Пластинки. Шесть сторон записей Криспина — Кроуфорда.

Я объявил их в обычной манере старины Флука: «Эй, дергунчики, дружки, вот убойная награда, лучшего не надо! Криспин и Кроуфорд, новые пластинки — пляши, пока не заноет спинка. Они милы

для Камбалы. Ставлю на вертушку — продуйте ушки: старый «Дип Пёрпл» в крутом стиле Криспина».

И дал их в эфир. Пластинки доставили прямо перед эфиром; я их прежде не слышал, хотя тираж уже разошелся и они были разрешены к трансляции. «Дип Пёрпл» — старая эстрадная композиция, сработанная самим Латчем. Вместо Латча партию кларнета вел Мофф, но разница была такая пустячная, что о ней говорить не стоило. В третьем проведении Скид вместо простого дубль-штриха дал глиссандо, которого я раньше не слышал, но оно было в лучших традициях Кроуфорда. Остальные пластинки — в том же роде. В «Леди би гуд» Криспин выдал длинное соло на ударных — новое, но совсем кроуфордовское. И еще я услышал две новые вещи.

Именно новые. Одна из них — номер для духовых под названием «Уан фут ин зе грув»; авторы — Мофф и Скид Портли. Другая — аранжировка «Такседо джанкшн» . Эту вещь мы всегда давали в классической аранжировке, но теперь они дали абсолютно новую. Во-первых, запустили несколько бибоп-секвенций*, а во-вторых, по-настоящему использовали эхокамеру — первый раз во всех записях Кроуфорда. Я слушал, вытаращив глаза.

Это было здорово. Говорю вам, здорово. Но вот что меня оглоушило: все равно играл настоящий джаз Латча Кроуфорда — с начала и до последней точки. До сих пор Латч не использовал эхо. Но мог использовать — точно говорю, мог, — потому что это входило в моду. Как и бибоп-секвенции. Я представил себе

---

* Развитие мелодии в джазовом стиле «бибоп».

толковище перед сеансом звукозаписи и вопрос Фоун: «А чего бы хотел Латч?»

Я это слушал, а сам видел Латча: широкие плечи, длинные руки, и как он поворачивает медные сюда и туда, как вытягивается вверх и наклоняется, поднимая звук ударных и обрушивая его вниз, вниз — тарелки звенят шепотом. Я мог видеть, как он держит этот звук правой рукой, плоско лежащей в воздухе, словно на столе — хватает времени, чтобы закусить нижнюю губу, ухватить ее зубами и выпустить — и внезапно, будто лампа-вспышка, ослепить публику режущим воплем труб и звоном гитары на полной громкости.

Проигрыватель рядом со мной спокойно крутился, и звукосниматель чуть пульсировал, как стрелка на измерителе кровяного давления. Думаю, это меня загипнотизировало. Следующее, что я увидел, — звукооператор неистово машет мне из-за стеклянной перегородки, подавая сигнал «эфир пуст», и я осознал, что запись уже несколько секунд как закончилась. Я глубоко, с дрожью вздохнул и сказал о том, что было единственным в этой жизни — было сильнее меня, реальней, чем листки со сценарием, или микрофон, или что еще на свете. И тупо сказал:

— Это был Латч. Латч Кроуфорд. Он не умер. *Он не умер!..*

Что-то начало подпрыгивать перед глазами — вниз-вверх. Снова звукооператор, он о чем-то сигналил. Я уставился прямо на него, как на пустое место. Я видел Латча. Оператор наставил палец вниз и стал им водить — кругами. Значит, крути запись. Я кивнул, поставил пластинку Кросби и откинулся в кресле так, словно мне кол в брюхо вогнали.

Замигала лампочка на телефоне. Во время пере-

дачи я говорил со слушателями; телефоны были оборудованы лампочками вместо звонков, чтобы не забивали микрофон. Поднял трубку и механически ответил:

— Флук-ваш-друг.

— Минуту, пожалуйста. — Это телефонистка. А потом: — Флук? Ох, Флук...

Говорила Фоун. Фоун Амори.

— Флук, — повторила она. Слова падали одно за другим, как звуки с клавиш ее пиано. — Флук, дорогой, мы тебя слышали, мы все тебя слышали! Мы в Денвере, сократили концерт, чтобы поймать твою передачу. Флук, голубчик, ты сказал это, ты сказал!

— Фоун...

— Ты сказал, что он не умер! Мы это все знаем, все до единого. Но как ты это сказал! Ты не понимаешь, как много это для нас значит! Мы своего добились, понимаешь? «Такседо джанкшн»— мы над ним столько работали... добивались, чтобы дать новое, и одновременно, чтоб это был Латч. Он не умрет, пока мы в состоянии это делать, разве ты не видишь?

— Но я...

— Флук, мы хотим сделать еще больше. Дать еще больше Латча, настоящего Латча Кроуфорда! Флук, а ты не вернешься? Мы хотим сделать новые записи «Пропащих парней», но не можем без тебя. Флук, ну пожалуйста! Ты нам так нужен!

Какое-то бормотанье рядом с ней. Потом голос:

— Флук? Это Криспин. Хочу повторить, старина: возвращайся к нам.

Мне удалось выговорить:

— Не для меня. Я при деле.

— Уважаю твои чувства, — заторопился Криспин. Он понимал, что я вот-вот брошу трубку. — Хипстер, я на тебя не наседаю. Ты просто подумай, хорошо? Мы будем держаться дальше, что бы ни случилось, где бы ни был Латч, живой или... у него будет джаз, а пока есть джаз, он здесь.

— Работаете вы здорово, — прокаркал я.

— Так ты подумай. Мы сможем работать вдвое лучше, если ты вернешься. Секунду, Фоун хочет говорить...

Я положил трубку.

Понятия не имею, как довел до конца эту передачу. Знаю только, почему не бросил. Потому, что хотел пробиваться сам. Для того и хотел убить Латча. Как говорится, хоть стоять, хоть упасть, вот что было мне в сласть — пробиваться без Латча Кроуфорда.

Дотянул до конца, до шести часов, и вроде бы как следует — никто не сделал никаких замечаний. А то, что я не отвечал на звонки, не выполнял заявки слушателей и, чтобы не разговаривать, крутил все длинные вещи, которые мог найти, — ну, к этому отнеслись так, как любая фирма относится к выходкам парня, которому она слишком много платит.

Я пошел пешком, я не разбирал дороги. Наверно, перепугал своим лицом кучу детей, идущих в школу, и поимел кучу беспокойных взглядов от женщин, скребущих ступеньки у себя на крылечках. Не помню. Латч не умер, Латч не умер — только это имело значение. Рассказать не могу, что я пережил: был период страха, когда я думал, что Латч меня преследует за то, что я сделал, и был период спокойствия, когда думалось, что это пустяки — надо просто заботиться

о своих делах и дать Латчу помереть, как положено всем. И был момент холодной ярости — когда я слушал этот новый «Такседо джанкшн» с гитарным эхом и понимал, что Криспин будет и дальше раскручивать нового Латча — подлинного Латча, которому никто в музыкальном бизнесе не сумеет подражать. У него было таланта на троих или на четверых, и вот случилось, что в джазе собрались трое или четверо таких же талантливых. В общем, я бродил, как в тумане.

Часам к десяти в голове щелкнуло и прояснилось. Оказалось, что я на Эллиот-авеню рядом с Киннирпарком — должно быть, много миль прошагал, — и все встало на свои места. «Ненавижу Латча Кроуфорда» — вот с чем я остался, со старым своим ощущением. И должен был что-то сделать, потому что Латч не умер.

Я пошел на телеграф и послал телеграмму Криспину.

Для начала они устроили то, чего я вовсе не хотел — но разве не этим они занимались всю дорогу? Теперь тайком подготовили вечеринку с ужином в мою честь. Наверно, я был мрачноват. А они не понимали, в чем дело. Криспин — тот пытался меня развеселить, обещая платить вдвое больше за то, что я разорвал контракт на радио. Фоун... ну, не стоило ей так со мной любезничать. Огромная ошибка с ее стороны. Так или сяк, но был ужин, была выпивка, и Криспин, Скид и Мофф вставали один за другим и говорили, какой я отличный лабух. Потом они все расслабились и стали говорить друг другу: «а помнишь?..» и иногда вскользь обра-

щались к пустому креслу во главе стола, где лежал кларнет Латча. Отличная была вечеринка.

После этого я взялся за работу. Чего они от меня хотели? А обычного: «Ну, теперь — новая школа, шипучий коктейль «Ром и кока-кола». В лучшем виде его смешает Скидди — сверхшипучая гитара поддаст вам жара!» Или: «Не мелодия, а мечта, детки: стройно и спокойно, мягко и достойно, вполне примерно и оччень нервно. Эй, Мофф, вруби этим сонным ребятишкам «Велвет поз»!» Так я им помогал.

А на деле занимался вот чем: искал Латча, чтобы его убить. Можно было лопнуть, слушая, как они надрываются на сыгровках. Взять мелодию, поймать старину Латча и все перемешать, чтоб вышло что-то новое, такое, чему не суждено умереть. Так они помогали мне.

Можно было убить Латча, поубивав нескольких лабухов. От этой мысли я не отказывался. Но я ленив, наверное. Где-то внутри ансамбля помещалась сущность Латча. Если ее выудить и убить, Латч наконец помрет. Я знал это. Задача была только в том, чтобы ее найти. Особых сложностей не ожидалось. Черт побери, я знал эту группу насквозь, знал всех исполнителей и аранжировщиков — даже их любимые блюда. Я уже говорил: текучесть у них была низкая, невероятно низкая. А в музыкальном бизнесе в два счета становится видно, на что годен человек.

Но задача предстояла не из легких.

Ансамбль был похож на машину, созданную в особых целях — но собирали-то ее из стандартных деталей, которые можно найти в свободной продаже. Не буду спорить, некоторые детали были по-настоящему первоклассные — но теперь их штампуют ты-

сячами. Так вот, я не мог поверить, что штуковина, которую Латч называл «сообществом», могла превратить группу в личность, да еще выдающуюся. При Латче можно было думать, что он превращает хорошую машину во что-то живое. Но Латча не было, а это «что-то» оставалась живым. Латч вдохнул в машину жизнь, правильно подобрав все детали и подтолкнув в верную сторону. А потом эту штуковину гнала вперед ее собственная энергия — энергия жизни, — и Латч Кроуфорд не мог умереть, пока не кончится ее жизнь. Кто кого: он меня или я его.

Так вот, я помогал им. Мы гастролировали по клубам и гостиницам, накручивали записи, и я помогал им сохранять жизнь Латчу.

А они помогали мне. Каждый раз, как новая мелодия начинала пробиваться в первую десятку или у кого-то появлялся номер, который выглядел козырным, мы аранжировали его для своей группы, и на этих сходках разбирались в мельчайших деталях работы джаза, спорили, проверяли все насквозь. Я не пропускал ни слова... Вот так они мне помогали.

Сущая была мука. Если у тебя хватило потрохов убить человека, ты должен довести дело до конца. Латч был жив. Вне джаза от него было не продохнуть: на любом радио или музавтомате по всей стране гонят творения Латча. И внутри джаза не продохнуть — иногда прямо-таки его видишь!

...Клуб, играют нашу коронную мелодию, и софиты те же, что всегда, и джаз тот же, только теперь снаряжение Криспина стоит у рампы, в середине. Поворачиваются раструбы медных, выдувают свое «хуу-хаа», и потом соло Скида в «Дабу-дабай», и Мофф дает облигато на кларнете. Правда, Мофф не выходит к рампе. Он

позади, как раньше был Криспин. Сам Криспин отбивает такт барабаннным шепотом, уставившись вверх и вдаль — как прежде, когда сидел во тьме, — и Скид такой же, как был: смотрит на свои пальцы... во всех книжках написано, что хороший гитарист не смотрит на пальцы, но думается, Скид этих книжек не читал... однако я вижу, что из-под опущенных бровей он следит за *кем-то*. Не за Криспином. Но еще больше, чем в других, Латч присутствует в Фоун. Отблески золотого света падают на ее лицо, уплывают, голова склоняется набок — густые волосы сваливаются вперед через круглое голое плечо, и выражение ее лица совсем прежнее, эта полуулыбка, выражение голода — словно Латч здесь, словно он смотрит на нее и никуда не исчезал.

«Дабу-дабай»... — наших фэнов эта штука просто гипнотизирует. Мы непременно начинаем с нее — иногда концерт передают по радио целых три раза по получасу, и мы каждый раз играем главную тему в начале и в конце. Всегда одну и ту же. Я часто думал: догадываются ли наши слушатели, которые преданно аплодируют при каждом взрыве «хуу-хаа», что мелодия всегда иная, что это... воскрешение. До восьми раз за вечер.

Поначалу я был уверен, что дело в медных, в их низах, где была особенная живая энергия. Понимаете, я сосредоточился на этой мелодии потому, что видеть Латча — видеть — можно было только здесь, хоть он и нависал над всем, что мы делали. Когда играли «Дабу», я сосредоточивался на ее звучании, а не на сути. Вечер за вечером дожидался этого номера и, когда слушал, отсекал все, кроме медных в низах. Слушал не ноты, а тональность, манеру — слушал Латча. Примерно через неделю уловил: вторая труба и тромбон. Я был уверен,

что поймал верно: кроуфордовское звучание шло от них, когда звук был низкий и полный.

И поломал это дело. Запер тромбониста Карписа и трубача Хайнца. Понимаете, когда мы играли в Спокане, их поселили в одном гостиничном номере. И вот, однажды вечером они не поспели в клуб к началу концерта. Гостиница была вроде мышеловки — никаких пожарных лестниц. Из номера можно выйти только через дверь. И телефона нет. Узкая форточка и та закрыта наглухо и закрашена. Запереть дверь снаружи и замотать ключ проволочной вешалкой-плечиками, чтобы не поворачивался, было проще простого. Только через сорок минут коридорный выпустил парней на волю.

Я дважды прослушал мелодию без этих музыкантов, а потом спросил Криспина насчет всего этого. Он ответил кратко:

— Жиденько, но все равно настоящий Латч.

Именно так я и сам думал.

Ясное дело, разузнать, кто запер парней, не удалось. Я работаю чисто. Не узнали и кто в ответе за то, что две трубы и фагот по дороге в Сент-Луис отстали на много миль. Мы наняли автобус и пару машин — с нами был квартет и еще два вокалиста. И вот, одна из машин просто исчезла где-то позади, в тумане. Кто подлил воды в бензин? А, какой-то идиот на заправке — ладно, проехали и забыли.

На этом концерте главной мелодии вообще не было. Убрав троих музыкантов, я не послал в нокаут штуковину, которая была Латчем, а просто вышиб дух из оркестра. Так что ответа не получил. Я должен был найти сердце Латча и остановить его, остановить, чтобы оно больше не билось.

На второй вечер в Сент-Луисе кто-то прихватил контрабасиста Сторми, когда он спал, и измолотил. Парня отвезли в больницу и сейчас же нашли другого басиста. Не такого, как Сторми, но хорошего. Было слышно, что бас иной, но Латч оставался в оркестре.

До каких пор это могло тянуться? Временами казалось, что я вот-вот рехнусь. По-настоящему. Иногда хотелось спрыгнуть к столикам и бить слушателей наотмашь — чудилось, они могут знать, чего я ищу. Едва сдерживался. То, что было Латчем, могло включаться и отключаться в ходе номера, а я мог упустить это, напряженно прислушиваясь к одному инструменту или всему ансамблю. Кто-то мог понимать все — кто-то, сидящий в зале, — а я не понимал ничего. Временами думал, что теряю разум.

Я даже добыл нового пианиста на один вечер. Для этого пришлось уйти в город, но риска в том не было. Околачивался у консерватории, пока не зацепился за малыша, который прямо засиял, услыхав о Латче Кроуфорде. Я действовал как настоящий открыватель талантов. Малыш был хорошенький, но прыщеватый. Зато правая лапа, как у пантеры, не хуже чем у Арта Тейтема* — или станет такой через несколько лет. Я рассказал Фоун о мальчишке, и что я его заманил. Изложил как надо. Ну, вы понимаете. Вы знаете старину Флука. И Фоун знаете с ее добрым сердцем... она не только согласилась принять малыша, она еще заставила Криспина пустить его на сцену на целый вечер!

Он вышел. И работал хорошо. Ноты читал как бе-

---

* Артур Тейтем (1910—1996) — американский пианист-самоучка, один из величайших джазовых виртуозов.

шеный, сыграл каждую ноту, что была на бумаге, и сыграл верно. И много импровизировал — тоже как надо. Но для «Парней» он не подходил. А потом случилась забавная вещь. Она не относится к истории с убийством Латча. Малыш для нас не годился, но он был так хорош, что Криспин поговорил с Форуэем, нашим импрессарио, и сегодня мальчик записывает пластинки, которые расходятся по три четверти миллиона штук. И все из-за того, что я устроил этот трюк, притащил парня, чтобы на один вечер Фоун оставила свои клавиши. Неплохо, а?

Однако в тот вечер я установил, что Фоун не была «сутью Латча», за которой я охотился. Джаз оставался группой Латча Кроуфорда и с другим фортепьяно, и все тут. Может, было бы правильно не давать Латчу прятаться — где-то среди моих острот и пошлятины. Хотелось вскочить на сцену, заткнуть эту музыку и завопить: «Вылезай, проклятая вонючка! Вылезай, и я до тебя доберусь!»

Я был рад, что это не Фоун. Если бы так, пришлось бы заткнуть ее, но мне бы это не особо понравилось.

Но я его нашел. *Я его нашел!*

Он все время был рядышком — смотрел на меня, и я смотрел на него, но соображения не хватало, чтоб его увидеть.

Мы с вирусом «икс» его нашли. Вирус «икс» — что-то вроде гриппа и вроде дизентерии, и радости от него никакой. Он валил нас, как штормовой ветер. Я свалился первым, но пролежал всего два дня. А вот Мофф отрубился на две недели. Однако отменить пришлось только два концерта. Остальное время кое-как управлялись, иногда собирая что-то вроде полно-

го джаза, иногда в сокращенном составе. И на время пригласили парня играть на гитаре — на инструменте Скида Портли.

Скид давно говорил, что если дать его гитару любому парню из деревенского джаза, тот сыграет не хуже. Я этому верил. Почему бы и нет? Я сам баловался с этим инструментом. Все просто: положи пальцы на гриф и перебирай струны. Есть педаль: надави, и звук будет громче. Нажимая кнопки, можешь заставить гитару щебетать, или порыкивать, или бархатно вздыхать. Есть переключатель: захочешь, звук будет в точности как у клавесина или органа. Рычагом, заведенным под локоть, можешь заставить все шесть струн взвыть, как шесть пожарных сирен — разом, почти до полного звука. На этой гитаре не играют. Ею управляют.

Скид свалился с вирусом «икс», и мы пригласили человечка из Восточного Сент-Луиса по имени Сильвиро Джиондонато. Лабух с прилизанными волосами и оливковой кожей. От счастья у него глаза выкатились — как у малыша-пианиста, которого я приводил. Он-то играл на дерьмовой гитарке, и когда взял в руки инструмент Скида, едва не заплакал от счастья. Десять часов проторчал в гостиничном номере Скида, осваивая гитарные примочки, а полудохлый Скид учил его всем хитростям. Я знаю, что Джиондонато вытворял такие штуки с этой гитарой, на которые никогда бы не осмелился Скид. У парня был сумасшедший слух, как у Райнхарда или Эдди Саута* — правда, Эдди не играет на гитаре.

---

* Райнхард — вероятно, Ж.-Б. Райнхард (1910—1953), американский джазовый гитарист; Э. Саут — американский джазовый скрипач.

И вот, этим вечером джаз выступал без Латча.

Джионни — мы называли его Джонни — был настоящей звездой. Слушатели едва потолок в зале не снесли. Полный успех. Но Латча не было.

Наконец Криспин отбил «детки, домой» на большом барабане: сигнал к пятнадцатиминутному перерыву. Кажется, я его не слышал — скрючился в углу сцены, повторял про себя снова и снова: «Латча нет! Латча нет!» и старался не хохотать. Долго так сидел. Когда Криспин тронул меня за плечо, я едва из штанов не выскочил. И крикнул:

— Латча нет! — Ничего не мог с собой поделать.

— Ну-ну, — сказал Криспин. — Сбавь обороты. Значит, ты тоже это заметил?

— Братишка...

— И не думал, что от работы одного человека так много зависит, а?

— Не понимаю этого, — сказал я. Сказал честно. — Джонни — убойный гитарист. Слушай, я думаю, что он лучше Скида.

— Лучше. Но... Кажется, я знаю, почему Латча не слышно, когда играет Джонни. Он дает потрясающую гитару. Скид дает потрясающую электрогитару. Усек? Они играют абсолютно одно и то же — как виолончель с альтом. Только атаки* у них разные. Джонни использует гитару так, как мне не доводилось слышать. Но Скид работает на инструменте за гранью всего.

— И причем здесь Латч?

— Флук, ты вспомни. Когда Скид начинал, у него был усилитель — и все, и точка. Сравни, что у него

---

* Атака — прием звукоизвлечения.

есть сейчас, и на какой уровень вышли мы. Ты же знаешь, как сильно мы от него зависим.

— Я думал, мы зависим от его гитары.

Криспин покачал своей здоровенной головой, повел прямым носом.

— От Скида. Кажется, я сам этого не понимал до нынешнего вечера.

— Ну, спасибо, — сказал я.

Он удивленно посмотрел на меня.

— За что?

Я потянулся и ответил:

— Ну, теперь я лучше себя чувствую. Вот и все.

— Вечно у тебя какие-то флучки-дрючки, — сказал он.

— Ничего, все давно привыкли, — сказал я.

На третий вечер после этого я оглоушил Скида, подобравшись к нему сзади. И прикончил Латча Кроуфорда кусачками для арматуры. Вот он где, этот Латч, весь целиком, со всей его музыкой и выдающимися качествами, его известностью и гордостью. У меня в ладони. Буквально у меня в ладони: три червяка — розоватые, на одном конце ноготь, на другом кровь. Я подбросил их, поймал, сунул в карман и пошел себе, насвистывая «Дабу-дабай». За восемь лет, что я ее слышал, первый раз получил от нее удовольствие. Иногда проходит много времени, пока убьешь человека.

На следующий день репетиция началась в полнейшем унынии. Криспин собрал всю группу. Когда мы пришли и сбились в кучу, он поднялся на нижнюю площадку эстрады. Народ был как побитый — кроме меня, но я тогда не смеялся вслух. Криспин разжал стиснутые челюсти и пролаял:

— Я спрашивал Фоун, что теперь делать, как обычно спрашивал Латч. Она сказала: «А как бы поступил Латч?» Я думаю, он прежде всего посмотрел бы, сумеем ли мы делать свое дело как обычно. Чтобы понять, как сильно мы пострадали. Правильно?

Все утвердительно похмыкали. Именно так Латч бы и поступил. Кто-то подал голос:

— А как Скид?

Криспин огрызнулся:

— Ты играешь на трубе. Как бы ты себя чувствовал, если бы у тебя отрезали губу? — Помолчал и добавил: — Извини меня, Риф...

— Да ничего, все в порядке, — сказал Риф.

Они расселись по местам. Фоун выглядела, как первую неделю после Батон-Ружа. Джиондонато подошел к гитаре. Криспин поднял руку и сказал:

— Погоди, Джонни.

Посмотрел на гитару. Она была наготовлена, стояла на стуле Скида — гриф прислонен к спинке. Криспин потрогал ее, любовно поставил попрямее. Наклонился и немного отвел микрофон. Подошел к своему снаряжению. Скомандовал: «Вступление». Взглянул на меня. Я поднял свой микрофон, дунул в него, проверяя усилитель.

Криспин взмахнул рукой: раз — два... Фоун дала первый аккорд. Медные развернулись направо: «хуу»...

И налево — «хаа»...

Фоун перекрыла их ритм аккордом. Я посмотрел на нее.

В первый раз за все время она не глядела в эту точку пола, что перед оркестром. Она глядела на Криспина.

«Хуу-хаа»...

Мосс поднял кларнет, поправил язычок, сунул в рот мундштук, нервно прошелся по клапанам и заиграл.

С первой нотой кларнета раздался — внезапно и потрясающе — густой, вибрирующий голос гитары Скида: «Дабу-дабай, дабай-дабу...»

И сразу после ее верхней ноты грянул громоподобный, звериный вздох, а потом хохот, хохот — всхлипывающий, с раскатами. И голос — могучий, безумный и гаснущий, как эхо:

— *Он не умер, он не у-умер...*

Мне нужно было вдохнуть воздуха, и тут я понял, что эти звуки издаю я, что оцепенело стою, глядя на сверкающую гитару и прижимая к щеке микрофон. И начал рыдать. Не мог остановиться. Отшвырнул микрофон — по ушам ударило громом, — выхватил из кармана свернутый носовой платок и метнул в гитару, которая все играла тему Латча, играла так, как этого хотел Латч. Платок развернулся в полете. Две штуки ударились об инструмент — он тренькнул. Третий отскочил от скатерти и, вертясь, залетел под стул.

Мофф кинулся туда. Я визжал:

— Попробуй эти, сукин сын!

Мофф нагнулся, чтобы поднять, выпрямился. Крикнул:

— Криспин, это... это пальцы!

Сложился пополам и рухнул на пол между стульями.

Криспин издал такой же звук, какой получился у меня, когда я дунул в микрофон. И бросился вперед. Схватил меня за пиджак и за пояс и поднял в воздух. Фоун завизжала: «Дон!!», и тут он швырнул меня на пол. Я завизжал еще сильнее, чем Фоун.

Должно быть, я на секунду отключился. Открыл

глаза и увидел, что лежу на полу. На левой руке было два локтя. Я пока этого не чувствовал. Криспин стоял надо мной — нога слева, нога справа. Остальных он отпихивал; все рычали, как псы. Казалось, в Криспине миля росту. Он спросил:

— Почему ты так поступил со Скидом? — Голос у него был спокойный, глаза — нет.

Я простонал:

— Что-то с рукой... Криспин дал мне пинка.

— Дон! Позволь мне... — Началась толкотня, и сквозь толпу пробилась Фоун. Упала на колени рядом со мной и неожиданно сказала: — Привет, Флук.

Я снова заплакал. Тогда она сказала:

— Бедняжка. Он сошел с ума.

— Бедняжка?! — заорал Сторми. — Да он...

— Флук, зачем ты это сделал? — спросила Фоун.

— Он никак не умирал, — сказал я.

— Кто не умирал? Скид?

Они меня совсем достали. Тупицы.

— Латч, — объяснил я. — Латч не хотел оставаться мертвецом.

— Что тебе известно о Латче? — прохрипел Криспин.

— Обожди! — огрызнулась Фоун. — Что дальше, Флук?

Я спокойно объяснил:

— Латч жил в гитаре Скида. Я должен был его выгнать.

Криспин выругался — никогда раньше не слышал, чтобы он ругался. Рука начала болеть. Фоун медленно поднялась с колен.

— Дон... — Криспин в ответ фыркнул. Фоун гнула свое: — Дон, пойми, Латч всегда беспокоился о Флу-

ке. Он хотел, чтобы Флук понял, что он нам нужен. В нем есть что-то, чего нет ни у кого, только Флук не хотел в это верить. Он думал, Латч его жалеет. И мы все жалеем.

Гитара все играла. Поднялась в крещендо. Я дернулся и завыл:

— Скид!..

— Мофф, выключи эту штуку, — приказал Криспин. Через секунду гитара смолкла, и он посмотрел на меня. — Я знал: кто-то попадет в ловушку, но и думать не мог, что ты. Это запись, она воспроизводится через усилитель гитары. Когда я ее налаживал, сделал сотни записей... Я давно забеспокоился из-за наших непрятностей: то группа медных пропадет перед концертом, то музыкант, то целая компания. Чем больше думал об этом, тем картина становилась яснее: кто-то все подстраивает. И после несчастья со Скидом я подумал, что этот человек выдаст себя — хоть на секунду, — когда заиграет гитара. Но т а к о г о не ждал, нет!

— Отстань от него, — устало попросила Фоун. — Он же тебя не понимает.

Она плакала. Криспин повернулся к ней.

— А что прикажешь с ним делать? Поцеловать и простить?

— Я убить его хочу! — завизжала Фоун. Выставила пальцы с полированными ногтями — скрюченные, как когти. — Убить! Своими руками! Ты что, не понимаешь?

Криспина это ошеломило. Он отступил.

— Впрочем, все неважно, — тихо проговорила Фоун. — Мы и теперь не можем не спросить себя: чего бы хотел Латч?

Наступила мертвая тишина. Фоун спросила:

— Вы знаете, что Флука в военное время освободили от армии?

Никто не ответил.

— Крайняя уродливость лица. Такое было основание для отсрочки. Наведите справки, если не верите. — Она медленно покачала головой и посмотрела на меня. — Латч так старался щадить его чувства... и мы все старались. Латч хотел, чтобы Флуку поправили лицо, но не знал, как подступиться — насчет этого Флук был патологически чувствителен. Понимаете, Латч слишком долго медлил, и я медлила, и вот что вышло. Говорю вам, теперь надо это сделать и спасти то, что осталось от... этого существа.

— Заплати добром за зло, а? Так можно далеко зайти... — сказал Сторми.

Остальные заворчали. Фоун подняла руки и снова спросила:

— Так чего бы хотел Латч?

— Я убил Латча, — сказал я.

— Заткнись, мразь, — сказал Криспин. — Договорились, Фоун. Но послушай. После того, как он выйдет из больницы, — мне плевать, пусть выглядит, как Хиди Ламар* — чтобы он мне не попадался, иначе я его скручу и разделаю тупой пилкой для ногтей.

Тут я наконец-то вырубился.

Потом было время, когда я лежал, уставясь в белый потолок с закругленными краями, уходящий во все стороны, и было время, когда я смотрел сквозь дырочки в бинтах. Ни разу не проронил ни слова, и

---

* Хиди Ламар (настоящее имя Хэм Кислер, 1913) — американская киноактриса.

мне тоже мало что говорили. Кругом были чужие люди, они знали свое дело, и мне это было в самый раз.

Нынче утром они сняли бинты и дали мне зеркало. Я ничего не сказал. Они ушли. Я посмотрел на себя.

Не бог весть что. Но клянусь Богом — могу назвать вам сотни людей, более уродливых, чем я. Перемена, в которую не всякий поверит.

Так что, убил ли я Латча Кроуфорда?

Кто был этот мудрец-хитрец, фокусник-покусник, остряк за так, книжник-подвижник, что сказал: «Зло, которое творят люди, живет и после них...»? Болван не знал Латча Кроуфорда. Он творит добро.

Посмотри на парня в зеркале. Это сотворил Латч.

Латч не умер. Я никого не убивал.

Ведь говорил я вам, говорил, говорил, что хочу жить на свой треклятый манер! Не нужно мне этого лица! И теперь я все это написал и ухожу. Не удалось тебе заодно сделать меня хорошим парнем, а, Латч? Уйду через фрамугу. Смогу пролезть. И — мимо шести этажей, лицом вниз.

Фоун...

Музыка

Больница...

Отсюда не выпускают, даже когда звон тарелок и бессмысленная болтовня и жалобы раздражают меня. Они знают, что это раздражает меня, должны знать. Кругом крахмал, скука и ярко-белый запах смерти. Они знают. Знают, что я ненавижу это, поэтому каждый вечер повторяется одно и то же.

Я могу уйти. Не на самом деле, не туда, где люди ходят не в серых халатах и не в длинном белье, вызывающем зуд во всем теле. Но я могу выйти во двор, где видно небо, где пахнет рекой, где можно выкурить сигарету. Если плотно закрыть дверь, направиться прямо к забору, осторожно смотреть и осторожно вдыхать воздух, можно забыть о том, что творится внутри здания и внутри меня самого.

Я люблю вечера. Зажигаю сигарету и смотрю на небо. Оно покрыто облаками, а между ними — просветы. Холодный воздух бодрит меня, а внизу, на реке, длинная золотая лента лежит на воде и тянется к свету на другом берегу. И снова ко мне приходит моя музыка, потихоньку, потихоньку, настраивается. Я горжусь этой музыкой, потому что она моя. Она принадлежит мне, а не больнице, как какое-нибудь белье, от которого чешется тело, или серые халаты. Больница — это старые

Пер. изд.: Sturgeon T. The Music: в сб. Sturgeon T. E Pluribus Unicorn. — New York: Ballantine Books, 1965.

здания и заборы красного кирпича и множество санитарок, которые ловко справляются с подкладными суднами, но ни в ком, ни в чем там нет никакой музыки.

Легкая полоса тумана лежит над самой землей; туда, подальше, где стоят рядком мусорные баки, туман не может проникнуть, потому что он очень чистый. Раздается музыка: она предваряет и сопровождает появление кота.

Кот черно-белый, облезлый. Он вылезает на прогалину перед баками и стоит, склонив голову на бок, помахивая хвостом. Он худ, и движения его прекрасны.

Затем появляется крыса, жирный маленький комочек с длинным хвостом, похожим на червя. Крыса выскальзывает из щели между баками, замирает, припадает к земле. Музыка становится напряженнее и громче: кот готовится к прыжку. Я ощущаю боль и смутно понимаю, что впился ногтями в собственный язык. *Моя* крыса, *мой* кот, *моя* музыка. Кот бросается на крысу, она взвизгивает и затихает на открытом пространстве, где ей видна собственная кровь. Кот припадает к ее ране, и мяучит, и рвет дрожащее тельце. Кровь на крысе, кровь на коте, кровь у меня во рту.

Музыка эхом повторяет тему смерти, и я оборачиваюсь, потрясенный и ликующий. Из здания выходит она. Там, в больнице, это мисс Крахмальный Чепчик. А сейчас — просто коричневый комочек, маленький жирный комочек. Я худ, и движения мои прекрасны... Улыбнувшись мне, она направляется куда-то. Я очень доволен, я иду рядом, поглядывая на ее нежную шейку. Мы вместе входим

в полосу тумана. Около мусорных баков она останавливается и смотрит на меня широко раскрытыми глазами.

Кот продолжает есть, с любопытством наблюдая происходящее. Мы продолжаем есть и слушать музыку.

Это был не сизигий

Лучше вам этого и не читать. Правда, правда. Это вовсе не предостережение, вроде: «возможно, такое может с вами случиться». Гораздо хуже. Вполне вероятно, что такое происходит с вами именно сейчас. А вам этого не понять, пока все не закончится. Не понять по самой сути происходящего.

(Интересно, что на самом деле представляют собой люди, живущие на Земле?)

С другой стороны, возможно, не так важно, расскажу я вам об этом или нет. Если вы освоитесь с этой мыслью, то, возможно, сможете даже расслабиться и неплохо провести время. Ей-Богу, здесь есть чему порадоваться — я снова повторяю — по самой сути происходящего.

Ну да ладно, если вы думаете, что сумеете понять...

Я встретил ее в ресторанчике. Возможно, вы знаете, — ресторанчик Мэрфи. Там большой овальный бар, а за перегородкой маленькие столики, затем, за проходом — отдельные кабинки.

Глория сидела за одним из маленьких столиков. Все кабинки, кроме двух, были пусты; все столики, кроме одного, незаняты, можно было сесть, где угодно.

Но для меня могло найтись место только за ее столиком. Потому что, когда я увидел Глорию, все остальное перестало существовать. В жизни не испы-

---

Пер. изд.: Sturgeon T. It Wasn't Syzygy: в сб. Sturgeon T. E Pluribus Unicorn. — New York: Ballantine Books, 1965.

тывал ничего подобного. Я застыл на месте и, выронив портфель, уставился на нее. У нее были блестящие рыжеватые волосы и смуглая кожа. Тонкие, изящно вырезанные ноздри, прекрасно очерченный рот: верхняя губа изогнута, как распластанные в полете крылья чайки, а нижняя — полная. Глаза — цвета старого коньяка — глубоки, как ночь в горах.

Не сводя взгляда с ее лица, я ощупью нашел стул и уселся напротив нее, забыв обо всем, даже о том, что был голоден. Но Хелен не забыла. Щеголиха Хелен была главной официанткой в этом заведении. Сорокалетняя, всегда довольная жизнью толстушка. Моего имени она не знала, и обычно звала меня Обжорой. Мне и заказывать ничего не приходилось. Как только я появлялся, она наполняла мне кружку пива и наваливала на огромную тарелку двойную порцию фирменного блюда. И сейчас она принесла пиво, подняла с пола мой порфель и отправилась за едой. Я продолжал смотреть на Глорию, лицо которой выражало явное изумление, смешанное со страхом. Страх, как она потом объясняла, был вызван лишь размерами моей пивной кружки, но у меня на этот счет есть сомнения.

Она заговорила первой.

— Составляете опись?

У нее был редкостный голос, по сравнению с которым все остальные звуки кажутся просто шумами. Я кивнул. Закругленный подбородок с легким намеком на ямочку, но линия челюсти резко очерчена.

Мне показалось, она была чуточку пьяна. Она опустила взгляд — я был рад этому, так как сумел рассмотреть, насколько длинны и густы ее ресницы, — и поко-

выряла вилкой в салате. Затем снова подняла глаза и чуть улыбнулась. Зубы ровные, один к одному. Я знал, что так бывает, но прежде не видел ничего подобного.

— Так что же, — спросила она, — я одержала победу?

Я снова кивнул.

— Несомненно.

— Ну что ж, — сказала она, вздохнув.

— Вас зовут Глория. — Я не спрашивал, а утверждал.

— Как вы узнали?

— Так должно было быть, только и всего.

Она внимательно рассматривала меня, мои глаза, лоб, плечи.

— Если вас зовут Лео, я закричу.

— Тогда кричите. Но почему?

— Я... я всегда думала, что встречу человека по имени Лео, и...

Как раз в этот момент Хелен принесла мне ланч, перечеркнув тем самым прекрасные отношения, сложившиеся между нею и мной за последний месяц.

Когда Глория увидела тарелку, ее глаза расширились.

— Должно быть, вы большой любитель омара по-голландски.

— Большой любитель всего изысканного, — сказал я. — Причем в больших количествах.

— В жизни не встречала человека, похожего на вас, — призналась она чистосердечно.

— И никто, похожий на вас, — никогда не встречал.

— Да?

Я взял вилку.

— Конечно, нет, иначе на свет появился бы уже но-

вый род. — Я зацепил вилкой омара. — Вы не будете так добры, не последите за тем, как я ем? Не могу перестать смотреть на вас и боюсь, что ткну вилкой в лицо.

Она фыркнула. Это не был ни сдавленный смех, ни хихиканье. Настоящее фырканье, как у Льюиса Кэрролла. Большая редкость.

— Я послежу.

— Спасибо. А пока будете следить, говорите, что вам не нравится.

— Что мне не нравится? Зачем?

— Вероятно, остаток жизни я проведу в поисках того, что вам нравится, причем занимаясь этим вместе с вами. Поэтому давайте исключим ненужное.

Она засмеялась.

— Хорошо. Мне не нравится тапиока, потому что из-за нее я чувствую себя кричащей, бросающейся в глаза. Мне не нравится мебель с пуговками на обивке; не нравятся тюлевые занавески, которые расходятся; ткань в мелкий цветочек; крючки и кнопки там, где должна быть молния; тот дирижер, у которого в оркестре слащавые саксофонисты, а солист поет йодлем; мужчины в твиде и с трубками; не нравятся люди, которые не могут смотреть мне в глаза, когда лгут; не нравятся ночные рубашки; не нравятся люди, которые делают коктейли со скотчем... Боже, как вы быстро едите.

— Это чтобы утолить голод, теперь я могу есть, соблюдая все правила хорошего тона. Мне нравится ваше перечисление.

— А что не нравится вам?

— Мне не нравятся интеллектуалы от литературы, которые без конца уснащают свою речь цитатами. Не нравятся купальные костюмы, которые не пропуска-

ют солнца, и погода, в которую носят такие костюмы. Не люблю соленую пищу; девушек в облегающих платьях; музыку, которая никуда не ведет и ничего не дает; людей, которые разучились удивляться, как дети; автомобили такой обтекаемой формы, что на них удобнее ехать назад, чем вперед; людей, которые попробовали что-нибудь один раз, и боятся попробовать в другой или в третий и войти во вкус; и скептиков-профессионалов. — Я вернулся к своему ланчу.

— Попали в яблочко, — сказала она. — Происходит что-то удивительное.

— Пусть происходит, неважно, что это и почему. Не поступайте, — предостерег я, — как тот парень, что бросил электрическую лампочку на пол, чтобы проверить, насколько она хрупкая.

Мимо прошла Хелен, и я заказал сливовицу.

— Сливовая водка! — воскликнула Глория. — Она мне нравится!

— Я знаю. Это для вас.

— Когда-нибудь вы ошибетесь, — сказала она, вдруг помрачнев, — и будет плохо.

— Будет хорошо. Это просто будет различие между гармонией и контрастом.

— Лео...

— Да?

Она посмотрела прямо на меня, взгляд был таким теплым, что я ощутил его кожей.

— Ничего. Мне просто хотелось произнести «Лео». Лео!

Я поперхнулся — но не из-за омара. С ним все было кончено.

— Мне нечего на это ответить. Нечем крыть. Я могу только постараться соответствовать, Глория.

Было сказано и другое, но без слов.

Для этого все еще нет слов. Потом она протянула руку через стол и коснулась моей руки кончиками пальцев. Мир вокруг расцвел радугой.

Прежде чем уйти, я нацарапал на бумажке меню цифры.

— Это мой телефон. Позвоните, когда не будет другого выхода.

Она вскинула брови.

— Вы не хотите записать мой телефон, или адрес, или что-то еще?

— Нет, — ответил я.

— Но...

— Все это слишком серьезно, — сказал я. — Простите, если кажется, что я предоставляю решать вам. Но мне хочется, чтобы, если вы будете со мной, то только потому, что сами хотите этого, а не потому, что думаете, будто я этого хочу. Мы будем вместе, потому что движемся в одном направлении с приблизительно той же скоростью, каждый по своей воле. Если же я позвоню вам и договорюсь о встрече, может случиться, что у меня сработал условный рефлекс, как у любого ловеласа. Если же позвоните вы, мы оба будем знать, как обстоит дело.

— Это имеет смысл. — Она подняла на меня глубокие глаза. Уйти от нее было все равно, что выбраться из очень глубокого ущелья. Долгий путь. Я только что проделал его.

Оказавшись на улице, я героически попытался вернуться к реальности. Самое замечательное во всем этом замечательном происшествии было то, что за всю свою предыдущую жизнь я никогда ни с кем так не говорил. Я всегда был чрезвычайно застенчив,

беззаботен, неагрессивен, да и соображал довольно медленно.

Я чувствовал себя, как поддавшийся на ухищрения рекламы слабак весом в сорок кило, когда он выстригает из газеты объявление.

— Эй, ты!

Я обычно реагирую на подобное обращение, как на любое другое. Я обернулся и на миг остолбенел. В воздухе рядом со мной плыла человеческая голова. От удивления я даже не перестал шагать вперед. Голова двигалась рядом со мной, чуть покачиваясь, словно невидимые ноги несли невидимое тело, которому она принадлежала. Суховатое лицо ученого человека, немолодого, с чувством юмора.

— Ты вроде бы крепкий орешек, верно?

Странно, но я даже сумел ответить.

— Некоторые вполне приличные люди считают, что так, — пробормотал я. И нервно огляделся вокруг, ожидая увидеть, как разбегается народ при виде этого ужаса.

— Никто не видит меня, кроме тебя, — сказала голова. — Во всяком случае, никто не собирается поднимать шум.

— Чего т-ты хочешь?

— Я просто хотел сообщить тебе кое-что, — сказала голова. Очевидно, у нее где-то располагалось горло, потому что она прокашлялась. — Партеногенез, — продолжала голова нравоучительно, — не дает больших возможностей сохраниться, даже при сизигии. А без него... — Голова исчезла. Немного ниже показались два голых обнаженных плеча, выразительно передернулись и пропали. Снова появилась голова. — ...никакой возможности нет.

— И не говорите, — произнес я дрожащим голосом.

Голова больше не говорила. Ни слова. Она уже исчезла.

Я остановился и обернулся, ища ее взглядом. То, что она сказала, показалось мне довольно бессмысленным, как и само ее появление. Мне понадобилось время, чтобы понять, что ее слова были самой сутью явления, о котором я вам рассказываю. Надеюсь, я изъясняюсь более понятно, чем Голова.

Так или иначе, это оказалось первой странностью, и ее одной было недостаточно, чтобы я усомнился в собственном рассудке. Как я уже говорил, это было только начало.

Могу также рассказать вам кое-что о Глории. Ее родные были достаточно бедны, чтобы ценить хорошие вещи, при том, что позволить себе иметь хотя бы одну-две из них они не могли. Поэтому Глория знала цену и тому, что хорошо, и усилиям, необходимым, чтобы достичь этого. В двадцать два года она была помощницей продавца в отделе мужской одежды. (Это было ближе к концу войны). Для осуществления ее заветной мечты нужны были дополнительные заработки, поэтому она каждый вечер пела в клубе. Время, которое удавалось выкроить, Глория тратила на обучение и тренировки, и к концу года получила лицензию летчика гражданской авиации. Остаток войны она перегоняла самолеты.

Понимаете теперь хоть немного, каким человеком она была?

Глория была одной из самых энергичных женщин, когда-либо живших на свете. Она была умни-

цей, умела выражать свои мысли и совершенно не была притворщицей.

Глория была сильной. Вы не можете представить... нет, некоторые из вас знают, насколько она была сильной. Я забыл... Она излучала силу. Сила окружала Глорию, скорее, как облако, чем, как броня, поскольку не мешала ощущать ее. Она воздействовала на всех и все, к чему прикасалась. Иногда я чувствовал, что от земли, на которой остались ее следы, от стульев, на которые она садилась, от дверей, которых она касалась, и книг, которые она держала в руках, даже несколько недель спустя исходит радиация, как от кораблей, прошедших мимо атолла Бикини.

Глория была совершенно самодостаточна. Я понял это, когда настоял, чтобы именно она позвонила мне, прежде чем мы увидимся снова. Само ее присутствие было подарком. Если она была со мной, то потому, что ей хотелось быть именно здесь, а не в каком другом месте на Земле. Если она была не со мной, то потому, что быть со мной в этот момент не было самым лучшим, а она на свой лад стремилась к совершенству.

О да, стремилась. Уж мне-то это известно!

Вам следует узнать кое-что и обо мне, дабы вы могли представить себе полностью, как подобная история случилась и как она случается со многими из вас.

Мне было двадцать с небольшим, я зарабатывал на жизнь игрой на гитаре. А до этого перепробовал множество занятий и сохранил воспоминания о каждом из них — воспоминания эти могут принадлежать только мне. Каков был колер стен в меблированных комнатах, где я оказался «на мели» в Порт-Артуре, в Техасе, когда команда моего корабля забастовала.

Какие цветы были приколоты к платью девушки, бросившейся за борт с рейсового корабля на Монтего-Бей, у Ямайки.

Я смутно помню, как плакал мой брат, испугавшись пылесоса, когда ему было четыре года. Значит, мне тогда было около трех. Помню, как в семь лет подрался с мальчишкой по имени Вооз. Помню Хэрриет, которую поцеловал под благоухающим тюльпанным деревом, когда мне было двенадцать. Помню особый легкий звук, который барабанщик извлекал из своего инструмента тогда и только тогда, когда действительно импровизировал, в то время когда мы играли в отеле, и помню, как трубач прикрывал глаза, слыша его. Помню в точности, как воняло в тигрином фургоне, когда я натягивал канаты в цирке Барнеса, помню однорукого рабочего цирка, который обычно запевал, когда мы вбивали колья, размахивая вместе с нами двадцатифунтовой кувалдой:

Наддай! Ударь! Сильнее жарь!
Еще разок! Давай, дружок!

Так он подбадривал нас, пока кувалды барабанили по стянутому стальными обручами колу, а кол уходил в землю, и оголовье кола погромыхивало в ответ над тугим канатом, а мы вшестером стояли кругом. Помню другие молоты, в кузнице в Пуэрто-Рико, когда подмастерья размахивали кувалдами, описывая мощные круги, со звоном ударяя о наковальню, в то время как старый кузнец касался металла небольшим молотком почти нежно, придавая изделию форму и вызванивая любую синкопу, известную человеку, а заготовка подскакивала над наковальней под его собственными ударами и мощными размеренными уда-

рами кувалд. Помню, как сопротивлялся мне экскаватор и как слушался, когда смена бросалась к вагонеткам, и помню запах перегретой лебедки и огороженное место взрыва. Это было в том самом карьере, где огромный финн, бригадир подрывников, погиб, когда преждевременно подорвали шпур. Он оказался не в укрытии и понимал, что ему не уцелеть. Он стоял прямо и спокойно, потому что ничего нельзя было изменить, и поднял правую руку к голове. Наш механик считал, что он пытался прикрыть лицо, но я подумал тогда, что он салютовал чему-то.

Подробности — вот что я пытаюсь донести до вас. Я помню массу подробностей, и все эти воспоминания, несомненно, принадлежат только мне.

Прошло чуть больше двух недель — если говорить точно, шестнадцать дней, три часа и двадцать три минуты, — прежде чем Глория позвонила. За это время я чуть с ума не сошел. Я ревновал, беспокоился, впадал в неистовство. Проклинал себя за то, что не взял у нее телефон... ведь я даже не знал ее фамилии! Иногда решал, что брошу трубку, если услышу ее голос, так я злился. Иногда оставлял работу — мне тогда приходилось довольно много аранжировать музыку для маленьких оркестриков — и сидел перед молчавшим телефоном, умоляя его зазвонить. Я придумал, как буду с ней разговаривать: потребую, чтобы она сказала, что испытывает ко мне, прежде чем дам ей сказать хоть слово. Потребую объяснить это молчание. Буду держаться небрежно и незаинтересованно...

Телефон все же зазвонил, и это была Глория. Диалог выглядел примерно так:

— Алло.

— Лео.

— Да, Глория.

— Я сейчас приду.

— Я жду.

И все. Я встретил ее у двери. Никогда прежде я не касался ее, если не считать краткого мгновения, когда ее пальцы тронули мою руку; и все же совершенно уверенно, не представляя себе, что можно поступить иначе, обнял ее и поцеловал. В целом эта история довольно жуткая, и все же мне думается, что такие моменты искупают весь ее ужас.

Потом взял ее за руку и повел в гостиную. Комната колыхалась, словно подводное царство — потому что здесь была Глория. Воздух пах по-иному. Мы сидели рядом, сплетя руки, и разговаривали без слов, взглядами. Я снова поцеловал ее. Я вообще ни о чем ее не спросил.

У нее была самая гладкая в мире кожа. Нежнее птичьего голоса. Как полированный алюминий, только теплая и упругая. Словно глоток ликера между языком и нёбом.

Мы ставили пластинки — Джанго Райнхарда*, «Новых друзей ритма» и «Пассакалью и фугу» Баха. Я показал ей иллюстрации Смита к «Фантазиусу Мальяру»** и альбом фотографий Эда Уэстона***. В этот раз я видел и слышал в них то, чего никогда не замечал раньше, хотя все эти вещи знал и любил.

---

* Ж.-Б. Райнхард (1910—1953) — известный джазовый гитарист.

** «Фантазиус Мальяр» — роман американского писателя Бена Хехта (1894—1964).

*** Э. Уэстон (1886—1958) — американский фотохудожник.

Ничто из этого — ни книга, ни пластинки, ни фотографии — не было ей в новинку. У нее были сложившиеся эстетические пристрастия; она любила то, что и я, но как-то по-особому, хотя я мог разделить с ней эти чувства.

Мы говорили о книгах и городах, идеях и людях. В ней было нечто мистическое — на свой лад.

— Я не считаю чепухой древние поверья начет вызова демонов и материализации душ усопших, — сказала она задумчиво. — Но не думаю, что это можно совершать с помощью ведьмина зелья, пентаграмм, лягушачьей кожи, набитой человеческим волосом, которую сжигают на перекрестках дорог майской ночью, разве что эти ритуалы часть чего-то гораздо большего — чистой психической, реальной силы, которая исходит от самого «колдуна».

— Никогда не задумывался над этим, — ответил я, гладя ее по волосам. Волосы не были у нее тонкими и нежными. Как и все, связанное с ней, они были крепкими, послушными ей и сияющими. — Ты занималась чем-нибудь подобным? Ты похожа на колдунью. Я-то, во всяком случае, околдован.

— Ты не околдован, — ответила она серьезно. — с тобой не было никакой магии. В тебе самом есть магия.

— Ты моя дорогая, — сказал я.

— Нет! — воскликнула она, мгновенно возвращаясь от фантазий к действительности. — Я не принадлежу тебе. Я принадлежу себе!

Наверное, я выглядел ошарашенным, потому что она засмеялась и поцеловала мою руку.

— То, что принадлежит тебе, это только часть «нас», — осторожно объяснила она. — Во всем остальном ты принадлежишь себе, а я — себе. Понимаешь?

— Думаю, что да, — медленно ответил я. Я говорил, что хочу, чтобы мы были вместе, потому что мы оба движемся в одном направлении по собственной воле. Но ... не знал, что это окажется в такой мере правдой, вот и все.

— Не пытайся изменить этого, Лео. Никогда. Если я действительно стану принадлежать тебе, то перестану быть собой, и тогда у тебя не будет ничего.

— Похоже, для тебя эти расплывчатые вещи вполне реальны.

— Они ничуть не расплывчатые! Все это важно. Если будет иначе, я перестану видеться с тобой. Должна буду перестать видеться с тобой.

Я крепко обнял ее.

— Давай не говорить об этом, — прошептал я, ощущая страх, какого в жизни не испытывал. — Расскажи что-нибудь еще. Рассказывай дальше о пентаграммах и духах.

Глория немного помолчала. Я чувствовал, что ее сердце бьется в такт с моим и что она тоже напугана.

— Я много читала и думала об этом, — сказала она после паузы. — Не знаю, почему. Такие вещи захватывают меня. Знаешь, Лео, мне кажется, о проявлениях зла пишут слишком много. По-моему, добро сильнее зла. Мне кажется, слишком много написано и сказано о привидениях и вурдалаках и существах, которые бродят в ночи, как говорится в старой шотландской молитве. По-моему, им придают слишком большое значение. Они в самом деле удивительны, но тебе когда-нибудь приходило в голову, что удивительные вещи, по самому определению, редки?

— Если жуткие существа с раздвоенными копыта-

ми и привидения-плакальщицы действительно встречаются редко, — что же встречается часто?

Глория вытянула руки — прямые, довольно большие руки, умелые, причем прекрасно ухоженные.

— Проявления добра, разумеется. Я верю, что добро гораздо легче вызвать. Я верю, что это происходит постоянно. Злой разум должен быть очень сильным, чтобы воплотиться в чем-то новом, обладающем своей жизнью. Во всех случаях, о которых я читала, необходим необыкновенно мощный ум, чтобы вызвать самого маленького демона. Добро, конечно, материализовать легче, потому что оно гармонирует с добропорядочной жизнью. Порядочных людей больше, чем плохих, которые способны материализовать зло.

— Хорошо, но почему тогда порядочные люди не приносят все время добро из-за этой мистической завесы?

— Приносят! — воскликнула она. — Разумеется, приносят! Мир полон замечательных вещей. Ты думаешь, почему они так хороши? Что придает неотъемлемую прелесть музыке Баха и водопаду Виктории, и цвету твоих волос, и раскатистому смеху негра, и тому, как запах имбирного эля щекочет ноздри?

Я медленно покачал головой.

— Мне кажется, это прекрасно, и мне это не нравится.

— Почему?

Я взглянул на Глорию. На ней был костюм винного цвета с повязанным вокруг шеи шелковым платком цвета ноготков. Он бросал отсвет на теплую смуглую кожу подбородка.

— Ты прекрасна, — сказал я, медленно подбирая слова. — Ты — лучшее, что можно встретить. Если то,

что ты говоришь, правда, ты должна быть только тенью, сном, чьей-нибудь замечательной мечтой.

— Ах ты дурак, — сказала Глория с внезапными слезами на глазах, — большой дурак! — Она прижалась ко мне и так укусила за щеку, что я вскрикнул. - Разве это сон?

— Если сон, — ответил я ошеломленно, — рад буду не просыпаться.

Глория пробыла у меня еще час — если, когда мы были вместе, существовала такая вещь, как время. Ушла, оставив мне своей телефон. Она жила в отеле. Я принялся бродить по квартире, разглядывая чуть смятое покрывало на кушетке, где она сидела, трогая чашку, которую она держала в руках, рассматривая блестящую черную поверхность пластинки и удивляясь, как эти бороздки могли раскручивать для нее «Пассакалью». Самым удивительным было то, что я чувствовал, когда поворачивал голову: аромат Глории прилип к моей щеке, и я ощущал его. Я думал о каждом из многих мгновений, проведенных с ней. О каждом в отдельности, и о том, что мы делали. Я также думал о том, чего мы не делали — я знаю, вы удивляетесь — и гордился этим. Потому что, без единого слова, мы согласились, что стоящих вещей нужно ждать и что, когда верность совершенна, никаких испытаний не требуется.

Она пришла снова и на следующий день, и через день. Первый из этих визитов был просто замечательным. По большей части мы пели. Оказалось, я знаю все ее любимые песни. И по счастливому совпадению, моя любимая гитарная тональность — си-бемоль — подходила для ее прелестного контральто. Мне не следует так говорить, но я чудесно аккомпанировал ей на гитаре, то следуя за голосом, то уходя в

сторону. Мы много смеялись, по большей частью над тем, что составляло нашу тайну — разве бывает любовь без своего собственного языка? — и довольно долго разговаривали о книге под названием «Источник»*, которая произвела необыкновенное впечатление как на нее, так и на меня; но это и в самом деле необыкновенная книга.

Вскоре после ее ухода начали твориться странные вещи — настолько странные, что можно было бы назвать их ужасными. Не прошло и часа, как я услышал пугающие звуки скребущихся крохотных коготков в первой комнате. Я обдумывал партию контрабаса для трио, которое аранжировал (почти не видя работы, погруженный в мысли о Глории), но вдруг поднял голову и прислушался. Звуки свидетельствовали о самом паническом бегстве, какое только можно себе представить — казалось, наутек бросилось множество тритонов и саламандр. Я точно помню, что легкое царапанье коготков нисколько не мешало мне, но страх перед этим великим переселением никак нельзя было отнести к приятным ощущениям.

Откуда они бегут? Почему-то этот вопрос казался гораздо более важным, чем другой: кто это?

Медленно я отложил нотные листы и встал. Подошел к стене, потом начал красться вдоль нее к дверному проему, но не из страха, а намереваясь застать врасплох нечто, так напугавшее обладателей маленьких лап, бегущих изо всех сил.

И тут я поймал себя на том, что впервые в жизни

---

* «Источник» — роман американской писательницы Айн Ранд (1905—1982).

улыбался, при том, что волосы у меня стояли дыбом. Потому что в прихожей не было ничего вообще; ничто не блестело в темноте, прежде чем я зажег верхний свет, ничто не появилось после этого. Но маленькие лапки убегали все быстрее — их были, наверное, целые сотни — топоча и царапая коготками в крещендо испуганного бегства. Поэтому у меня и встали дыбом волосы. А улыбнулся я, потому что...

Звуки исходили прямо от моих ног!

Я стоял в дверях, напрягая зрение, чтобы рассмотреть невидимое движение; от порога к самым дальним уголкам прихожей удалялись звуки лапок и маленьких царапающих когтей. Похоже было, что они возникали под подошвами моих ботинок и удалялись с безумной скоростью. Никто из этих существ не бежал позади меня. Казалось, что-то удерживает их от того, чтобы появиться в гостиной. Я сделал осторожный шаг в прихожую: теперь они бежали и сзади, но не дальше дверного проема. Я слышал, как они добегали до него и стремглав неслись к стенам. Вы поняли, почему я улыбался?

Это я так страшно пугал их!

Звуки понемногу стихали. Они не становились слабее, просто удирающих существ становилось все меньше и меньше. Это происходило очень быстро, и через полуторы минуты слышны были шажки всего нескольких невидимых существ. Одно из них долго бегало вокруг меня, словно все невидимые дыры в стенах уже были заняты, а оно лихорадочно искало еще одну. Но вот и оно нашло себе норку и исчезло.

Рассмеявшись, я вернулся к работе. Помню, что какое-то время мыслил совершенно ясно. Помню, что записывал глиссандо — гениальный пассаж, ко-

торый мог бы свести с ума и дверцу собачьей конуры, не говоря уж о слушателях. Помню, что напевал мелодию себе под нос, и был страшно доволен тем, как записал ее.

Затем наступила реакция.

Эти маленькие коготки...

Что со мной произошло?

Я тут же подумал о Глории. Здесь действует какой-то неумолимый закон равновесия, подумал я. Желтому свету всегда сопутствует фиолетовая тень. Взрыву смеха соответствует чей-то плач боли. А блаженству знать Глорию — ощущение ужаса, чтобы сравнять счет.

Я облизал губы сухим языком.

Что со мной произошло?

Я снова подумал о Глории, о радугах и звуках, которые она приносила с собой, но прежде всего о реальности, о совершенной нормальности Глории, несмотря на ее замысловатые фантазии.

Мне нельзя сходить с ума. Нельзя! Не сейчас! Тогда я окажусь неподходящим.

Неподходящим! Слово казалось мне пугающим, как средневековый выкрик: «Нечистый!»

Глория, дорогая, — придется мне сказать, — радость моя, нам нужно покончить со всем этим. Видишь ли, я сошел с рельсов. Что ты, я вполне серьезно. Да, да, в самом деле. Вот-вот появятся люди в белых халатах, подадут задним ходом машину к двери и увезут меня прямиком в заведение для таких вот весельчаков. И мы больше никогда не увидимся. Жаль. Очень жаль. Махни мне только на прощание рукой и ищи себе другого приятеля.

— Глория! — завопил я. Глорией были все эти ра-

дуги и чудесные звуки, и аромат на щеке, который я ощущал, поворачивая голову.

— Ох, не знаю. — простонал я. — Не знаю, что и делать. Что это? Что это?

— Сизигий.

— А? — Я вскочил, дико озираясь по сторонам. В двадцати дюймах от кушетки парило морщинистое лицо знакомого общительного призрака с улицы рядом с заведением Мэрфи.— Это ты! Теперь-то ясно, что я спятил... Эй! Что такое «сизигий»?

— То, что с тобой происходит.

— Ну, и что же со мной происходит?

— Сизигий.— Голова обворожительно усмехнулась. Я спрятал лицо в ладонях. Я переживал эмоциональный взрыв — вернее, безэмоциональный, — когда уже ничему не удивляешься.

— Объясни, пожалуйста, — сказал я мрачно. — Скажи, кто ты, и что ты имеешь в виду под этим сизизиз и как-то там дальше.

— Я не какой-то там первый встречный, — произнесла голова, — а сизигий — это обстоятельство, сопутствующее партеногенезу и некоторым другим процессам низшего разряда. Я считаю, то, что происходит, и есть сизигий. Если это не так... — Голова исчезла, возникла рука с широкими пальцами и громко ими прищелкнула; затем рука исчезла, снова появилась голова и улыбнулась: — Ты пропал.

— Не делай так, — жалобно попросил я.

— Не делать как?

— Не появляйся по кускам. Для чего ты так делаешь?

— Ах это. Сохранение энергии. Знаешь, здесь этот закон тоже действует.

— Где «здесь»?

— Не так просто объяснить, пока не поймешь, в чем хитрость. Это место с обратными соотношениями. Я имею в виду, что если там что-то соотносится как три к пяти, то здесь оно соотносится как пять к трем. Силы должны находиться в равновесии.

Я почти понял. Слова казались почти осмысленными. Но только я открыл рот, чтобы задать голове вопрос, как она исчезла.

Я остался сидеть, как сидел. И, кажется, заплакал.

Глория снова появилась на следующий день. Но все пошло не так, как надо. Я совершил две ошибки. Во-первых, ничего не рассказал ей, что непростительно. Если делишься всем, то и плохим тоже. Во-вторых, стал расспрашивать ее, словно мучимый ревностью подросток.

Но чего еще можно было ожидать? Все изменилось. Все стало совсем другим. Когда я открыл дверь, она легко и стремительно прошла мимо, улыбаясь, причем не слишком приветливо, и оставила меня неуклюже стоять с распростертыми объятиями.

Она сбросила пальто и свернулась на кушетке.

— Лео, поставь какую-нибудь музыку.

Я чувствовал себя ужасно и знал, что и выгляжу ужасно. Неужели она не замечает? Неужели ей все равно? Неужели ей безразлично, что я чувствую, через что я прошел?

Я подошел и встал перед ней.

— Глория, — спросил я сурово, — где ты была?

Она подняла на меня глаза и вздохнула. Это был счастливый, удовлетворенный вздох, явно навеянный воспоминаниями, вздох, от которого я просто позеленел и ощутил, что на лбу у меня прорезаются

рога... Я все стоял, возвышаясь над нею. Она подождала еще немного, затем встала, включила проигрыватель, раскопала среди пластинок «Танец часов»*, увеличила громкость и чересчур усилила низкие тона, что совершенно не подходило для такой пластинки. Я прошел через комнату и сделал тише.

— Пожалуйста, Лео, — сказала она обиженным тоном, — мне это нравится.

Я со злобой крутанул ручку назад и уселся, надувшись, поставив локти на колени. Я был вне себя. Все шло не так.

Ясно, что надо сделать, думал я мрачно. Переломить себя, встать и учинить ей нагоняй.

Как я был прав! Но я не сделал этого, не смог! Ведь это была Глория! Даже когда я глядел на нее и видел, как она смотрит на меня с легкой презрительной усмешкой, я не мог. Ну, и было уже поздно. Она наблюдала за мной, сравнивая меня с...

Да, именно так. Она сравнивала меня с кем-то. Этот кто-то отличался от меня, он ни во что не ставил все, что было в ней нежным и тонким, все, что я любил и разделял с ней. А ей, конечно, это нравилось.

Я решил дать Глории возможность сделать первый шаг. Мне казалось, она презирает меня. Так оно и было.

В голове всплыл когда-то услышанный диалог деревенской парочки:

— Ты меня любишь, Алф?

— Ага.

— Тогда поколоти меня легонечко.

---

* Мелодия из оперы «Джоконда» итальянского композитора А. Понкьелли (1834—1886).

Понимаете? Я знал, что надо сделать, но...

Но это была Глория. Я не мог.

Пластинка кончилась, вертушка автоматически отключилась. Наверное, Глория ждала, что я переверну пластинку. Но я не сделал этого. Она сказала усталым голосом:

— Хорошо, Лео. В чем дело?

Я сказал себе: начну с самого худшего, что можно предположить. Она будет все отрицать, и мне сразу станет легче. И произнес:

— Ты изменилась. У тебя есть кто-то еще.

Она посмотрела на раму картины и спокойно улыбнулась.

— Да, — сказала она. — Конечно, есть.

— Ух! — выдохнул я, ощутив удар в солнечное сплетение. Плюхнулся на стул.

— Его зовут Артур. — продолжала она мечтательно. — И он настоящий мужчина, Лео.

— Да, — горько сказал я, — представляю себе. Легкая щетина, ни грамма серого вещества, грудь поросла волосами. Склонен к крепким выражениям, словно боцман. У него очень широкие плечи, очень узкие бедра; он цитирует Торна Смита, и голос его так же низок, как и намерения. Человек, который никак не может уловить разницы между жратвой и пристойным обедом, для которого лучшее времяпрепровождение это...

— Перестань. — сказала она. Сказала небрежно и очень тихо. Поскольку я говорил на повышенных тонах, контраст возымел действие. Я застыл, отвесив челюсть, словно ковш экскаватора, а она продолжила:

— Будь лапочкой, Лео, перестань.

Это был рассчитанный удар — обратиться ко мне,

как обычно обращается женщина к женщине, и мы оба понимали это. Я вдруг ощутил то, что французы называют esprit d' escalier — когда разум возвращается к тебе на лестнице; иными словами, когда ты слишком поздно понимаешь, что нужно было сказать, если бы вовремя сообразил, и расстроенно бормочешь эту фразу на лестнице себе под нос, направляясь домой. Я должен был поймать ее, когда она проходила мимо меня, и задушить — как это говорится? — жгучими, неистовыми, доводящими до исступления поцелуями... Ошеломить ее страстью...

Затем подумал о великолепном, гармоничном храме самоотверженности, который я возвел вместе с нею, и смог только воскликнуть...

— Зачем тебе надо было приходить сюда и демонстрировать мне это? — кричал я. — Почему бы тебе вместе с приятелем-бульдозером не зарыться поглубже? Зачем было приходить и тыкать меня носом во все это?

Она встала, бледная и такая красивая — красивее, чем можно себе вообразить,— что я должен был прикрыть глаза.

— Я пришла, потому что мне нужно было кого-то сравнить с ним, — сказала она спокойно. — Ты — это все, о чем я когда-либо мечтала, Лео, и мои мечты были... очень подробными... — По крайней мере, она запиналась, и глаза ее ярко блестели. — Артур... он...— Глория тряхнула головой. Голос отказывал ей, она перешла на шепот: — Я знаю о тебе все, Лео. Я знаю, как ты думаешь, и что ты скажешь, и что ты любишь... это чудесно, чудесно... но, Лео, Артур — что-то совсем отдельное от меня. Понимаешь? Мне нравится не все, что он делает. Но я не могу угадать,

что именно он собирается сделать! Ты... с тобой можно разделить все, Лео, дорогой, но ты не требуешь ничего!

— Ох, — хрипло выдохнул я. Голову сжимало, как обручем. Я встал и направился через всю комнату прямо к ней, до боли стиснув зубы.

— Перестань, Лео, — произнесла она со вздохом. — Перестань. Да, ты можешь... Но это значит, что ты будешь действовать. А до сих пор ты бездействовал. Это будет неверно. Не порть то, что осталось. Нет, Лео... нет...нет...

Глория была права. Совершенно права. Она была всегда права во всем, что касалось меня. В подобной мелодраме для меня не было роли. Я подошел к ней, взял за руку. Она закрыла глаза. Когда мои пальцы сомкнулись на ее запястье, я ощутил боль. Глория дрожала, но не делала попыток вырваться. Я поднес ее кисть к губам. Поцеловал ладонь и сжал ее пальцы в кулак.

— Это тебе, — сказал я. — Может быть, тебе когда-нибудь будет приятно вспомнить об этом.

И отпустил ее.

— О Лео, дорогой, — сказала Глория. — Дорогой, — повторила она с презрительной усмешкой...

Она повернулась к двери. И вдруг ...

— А-а! — Она пронзительно вскрикнула и метнулась назад, ко мне, совершенно сразив меня тем, что испугалась Абернати. Я крепко держал ее, а она прижималась, припадала ко мне всем телом. Тут я разразился смехом. Возможно, это была просто реакция — не знаю. Но я хохотал.

Абернати — это мой мышонок.

Наше знакомство началось вскоре после того, как

я поселился в этой квартире. Я знал, что этот маленький паршивец живет здесь, поскольку видел следы его разбойничьих набегов под раковиной, где хранил картошку и овощи. Я занялся поисками мышеловки. В те времена найти мышеловку, какую мне хотелось, было непросто, я потратил на это четыре дня и кучу денег на транспорт. Дело в том, что я терпеть не могу мышеловок, в которых пружина прихлопывает бедного зверька, и он с писком умирает в муках. Я хотел найти — и, к счастью, нашел — проволочную ловушку, в которой пружина захлопывает дверку, как только тронешь приманку.

Я поймал Абернати в эту хитрую ловушку в первый же вечер. Это был серый мышонок с очень круглыми ушками. Тонкие, как бумажная салфетка, покрытые нежнейшим в мире пушком. Они были прозрачные, и если рассматривать их вблизи, можно было увидеть замысловатый рисунок тончайших, как волоски, кровеносных сосудов. Я всегда утверждал, что всеми жизненными успехами Абернати обязан красоте своих ушек. Ни один человек, претендующий на обладание душой, не способен уничтожить этот божественный узор.

Я держал его в мышеловке, пока он не перестал бояться и бесноваться, пока он не проголодался и не съел всю приманку, и еще несколько часов. Когда я решил, что он пришел в себя и в состоянии внять голосу разума, то поставил мышеловку на письменный стол и хорошенько поговорил с ним.

Я очень осторожно объяснил ему (разумеется, самым доступным языком), что его манера грызть все без разбора и пачкать кругом совершенно антиобщественна. Я объяснил ему, что в детстве меня

приучили доедать то, что начал есть, и я так поступаю и по сей день, а я гораздо больше, сильнее и сообразительнее его. А то, что хорошо для меня, он может, по крайней мере, попытаться сделать. Я предписал ему законы. Дал мышонку время на размышления, а потом стал совать сыр сквозь прутья мышеловки, пока его брюшко не стало круглым, как шарик для пинг-понга. Тогда я его выпустил.

Несколько дней после этого Абернати не показывался. Затем я снова поймал его; но поскольку он за это время ничего не стащил, отпустил его с напутственными словами — на сей раз весьма дружескими, хотя в первый раз был с ним довольно суров,— и дал ему еще сыра. В течение недели я ловил его через день, и единственная неприятность произошла у нас с ним, когда я, положив приманку, оставил мышеловку закрытой. Мышонок не мог достать сыр и начал так буянить, что разбудил меня, и я впустил его внутрь. После этого я понял, что добрососедские отношения наладились, и обходился без мышеловки, просто оставляя ему сыр. Сначала Абернати не брал сыр, если тот не лежал в мышеловке, но потом проникся ко мне таким доверием, что ел прямо на полу, хотя я с самого начала предупреждал его, что кто-нибудь из живущих поблизости может подложить ему отравленную пищу, и считаю, что достаточно напугал его. Как бы там ни было, мы прекрасно ладили.

И вот, ко мне жалась до смерти испуганная Глория, а в центре прихожей на полу сидел Абернати, подергивая носиком и потирая лапками. Все еще смеясь, я вдруг почувствовал угрызения совести.

Абернати не получал сыра с позавчерашнего вечера! Sic semper amoris*. Все мои мысли были настолько заняты Глорией, что я забыл о своих обязанностях.

— Дорогая, я позабочусь о нем, — ободряюще сказал я Глории. Подвел ее к мягкому креслу и пошел за Абернати. Щелкнул языком о передние зубы — издав звук, которым всегда подзывал мышонка, когда давал сыр. Он подбежал ко мне, увидел Глорию, заколебался, потом махнул хвостиком, словно решив «черт с ней», и побежал вверх по моей брючине.

К счастью, по наружной стороне.

Затем Абернати сидел, крепко вцепившись в мою ладонь, пока я другой рукой шарил в холодильнике в поисках сыра. И не набросился на сыр сразу, а сначала позволил снова рассмотреть свои ушки. Вы никогда в жизни не видели таких красивых ушек. Я дал ему сыру, и отломил еще кусочек на сладкое, и посадил его в уголок у раковины. Затем вернулся к Глории, которая наблюдала за мной, расширив глаза и вздрагивая.

— Лео... как ты можешь касаться его?

— К мыши приятно прикасаться. Ты никогда не пробовала?

Она содрогнулась, словно я был Горацио, только что беседовавший с тенью.

— Я их не выношу.

— Мышей? Только не говори, что такой человек, как ты, может страдать традиционной викторианской ненавистью к мышам!

— Не смейся, — сказала она слабым голосом. — Не только к мышам. К любому маленькому зверьку —

---

* «Так всегда (бывает) с любовью» *(искаж. лат.)*.

к лягушкам, ящерицам, и даже котятам и щенкам. Мне нравятся взрослые собаки, и кошки, и лошади. Но так или иначе... — Она снова содрогнулась. — Когда я слышу, как маленькие коготочки стучат по полу, или вижу, как маленькие существа бегают вдоль стен, я просто схожу с ума.

Я вытаращил глаза.

— Когда ты слышишь... Да, хорошо, что ты не осталась в прошлый вечер еще на час.

— В прошлый вечер?..

Потом она повторила: «В прошлый вечер?..» совершенно другим тоном, взгляд ее был обращен внутрь, глаза лучились счастьем. Она фыркнула.

— В прошлый вечер я рассказывала... Артуру об этой своей небольшой фобии.

Если я думал, что умелое обращение с мышонком зачтется в мою пользу, то явно ошибался.

— Ты лучше беги, — сказал я с горечью. — Может быть, Артур ждет.

— Да, — согласилась она без малейшего раздражения, — может быть, ждет. До свидания, Лео.

— До свидания.

Мы помолчали.

— Ну, — повторила она, — до свидания.

— Да, — отозвался я, — я позвоню тебе.

— Непременно, — сказала она и ушла.

Я долго сидел на кушетке, стараясь свыкнуться с тем, что произошло. Не стоило обманывать себя: что-то произошло между нами. Главным образом, что-то по имени Артур. Я никак не мог понять, как он мог возникнуть — при наших отношениях с Глорией. За всю свою жизнь и во всех книгах, что я прочел, я не

встретил ничего подобного такому слиянию душ. Мы оба почувствовали это, когда встретились; такое не исчезает. Артуру предстояло небывалое соперничество, поскольку было очевидно, что у Глории совершенно те же качества, что у меня, и одно из них — верность. Я мог бы понять — если бы очень постарался — как другой человек мог перешибить меня в том или ином отношении. Есть люди, у которых больше ума, красоты, силы. И с нами бы ничего не случилось, если бы я лишился любого из этих качеств.

Но не верности! Нет! Она слишком велика; ничто из того, что у нас есть, не может возместить утрату верности.

Я поднялся, чтобы зажечь свет, и поскользнулся. Пол был влажный. Не только влажный, еще и мягкий. Я с трудом добрался до семирожковой лампы и врубил полный свет. Комната была засыпана тапиокой. На полу ее слой доходил до лодыжек, на стульях и кушетке толщина его была несколько дюймов.

— Она сейчас думает о тапиоке, — сказала Голова. Только на сей раз это была не голова, а дряблая масса живой ткани. В ней виднелись пульсирующие кровеносные сосуды. Желудок мой судорожно сжался.

— Ах, прости, я не в фокусе.

Отвратительное месиво — очевидно, обнаженный мозг — придвинулось ближе и сделалось лицом.

Я вытащил ногу из вязкой массы, отряхнул ее и поставил обратно.

— Хорошо, что она ушла, — произнес я хрипло.

— Тебя пугает эта штука?

— Нет! — сказал я. — Конечно, нет!

— Она исчезнет, — объявила Голова. — Послушай, жаль огорчать тебя, но это не сизигий. Ты пропал, парень.

— Что не сизигий? — задал я вопрос. — И что — сизигий?

— Артур. Вся эта история с Артуром.

— Уходи, — проскрипел я. — Говори осмысленно или уходи. Лучше уходи.

Голова покачалась из стороны в сторону с самым доброжелательным выражением.

— Оставь, — сказала она. — Забудь все. Помни только хорошее и отойди в сторонку.

— Но ты вовсе не хорошее, — пробормотал я, с трудом пробираясь к книжному шкафу. Взял словарь, сердито поглядывая на голову, на лице которой сочувствие мешалось с удивлением.

Внезапно тапиока пропала.

Я листал книгу. Сиерра, сиеста, сизаль...

— Нашел, — сказал я торжествующе. И прочел: — «Сизигий — одна из точек, в которых Луна наиболее близка к Земле и Солнцу, в новолуние или полнолуние». Ты хочешь сказать, что я влип в какое-то астрологическое колдовство?

— Вовсе нет, — быстро проговорила Голова, - но должен заметить — если это все, что говорится в твоем словаре по поводу сизигия, то словарь не очень хорош. — И с этим исчезла.

— Но... — сказал я рассеянно, снова заглядывая в словарь. Да, больше ничего о сизигии там не было. Чувствуя дрожь во всем теле, я поставил его на место.

Что-то пушистое, размером с кошку, пронеслось по воздуху и вцепилось мне в плечо. Я испуганно по-

пятился, врезался в шкафчик с пластинками и шлепнулся на спину рядом с дверью. Зверек перепрыгнул на кушетку и уселся, разложив длинный пушистый хвост по спине, не сводя с меня блестящих, как самоцветы, глаз. Это была белка.

— Привет! — сказал я, поднимаясь на колени, затем вставая на ноги. — Откуда ты тут взялась?

Белка характерным быстрым движением скакнула на край кушетки и замерла, широко расставив все четыре лапы и задрав голову; хвост вычерчивал в воздухе траекторию только что совершенного скачка, а сам зверек уже был готов немедленно прыгнуть в любом направлении, хоть на потолок. Я смотрел на белку в некотором замешательстве.

— Пойду взгляну, нет ли у меня грецких орехов, — сказал я ей. И направился к двери. Белка прыгнула на меня. Я поднял руку, чтобы прикрыть лицо. Белка снова вцепилась когтями в мое плечо и скакнула с него...

Как я понимаю, скакнула в четвертое измерение или куда-то в этом роде. Поскольку я искал ее под кроватью, под стульями, в стенном шкафу, в буфете и на стеллаже, и не обнаружил ничего похожего. Она исчезла совершенно, как и слой тапиоки...

Тапиока! Что говорила голова о тапиоке? «Она сейчас думает о тапиоке». Она — это Глория, разумеется. Все это безумие каким-то образом связано с Глорией.

Глория не только не любила тапиоку — боялась ее.

Я немного подумал, затем взглянул на часы. Глория уже должна была добраться до гостиницы. Я подбежал к телефону, набрал номер.

— Гостиница «Сан-Дрэгон», — отозвался невнятный голос.

— 748, будьте добры, — поспешно сказал я.

Несколько щелчков. Затем:

— Алло?

— Глория, — сказал я, — послушай, я...

— А, это ты.. Ты не можешь позвонить мне попозже? Я очень занята.

— Могу и позвоню, только ответь мне быстренько, ты боишься белок?

Не говорите мне, что дрожь не передается по телефону. В этот раз, по крайней мере, я слышал, как Глория дрожит.

— Ненавижу их. Позвони мне около...

— Почему ты их ненавидишь?

Подчеркнуто терпеливо она объяснила:

— Когда я была маленькой, я как-то кормила голубей, и белка вспрыгнула мне прямо на плечо и напугала до полусмерти. А теперь, пожалуйста...

— Хорошо, хорошо, — отозвался я, — поговорим потом. — Повесил трубку. Она не должна была так со мной разговаривать. Она не имела права...

А кроме того, чем это она так занята в своем гостиничном номере?

Я отогнал дурные предчувствия и пошел налить себе пива. Глория боится тапиоки, думал я, и тапиока появляется здесь. Она боится звука шагов мелких животных, и я слышу их здесь. Она боится белок, прыгающих на людей, и у меня оказывается белка, которая прыгает на людей.

В этом должен крыться какой-то смысл. Разумеется, можно найти легкий выход — считать, что я сошел с ума. Но почему-то расхотелось так думать. В

глубине души я решил не признавать этого, пока не будут исчерпаны все другие возможности.

Дурацкое дело. Смотрите, не поступайте так. Возможно, умнее просто не размышлять надо всем этим.

Единственно, кто может разобраться во всей этой безумной путанице (поскольку Голова исчезла), так это Глория, внезапно подумал я. И тут же понял, почему не рассказал ей обо всем раньше. Из боязни испортить то, что у нас с Глорией было общего. Ну что ж, нужно глядеть в лицо действительности. У нас больше нет общего. От этой мысли сделалось легче.

Я шагнул к телефону, набрал номер гостиницы.

— Гостиница «Сан-Дрэгон».

— 748, будьте добры.

Минутная пауза. Затем:

— Извините, сэр. Номер 748 просил не беспокоить.

Я тупо смотрел на телефон, внутри меня кружилась и спиралью поднималась боль.

До сих пор я воспринимал всю эту историю то ли как болезнь, то ли как сон, но последний звонок каким-то образом свел все в острый и болезненный фокус. Глория не могла поступить более жестоко и расчетливо.

Я положил трубку и двинулся к двери. Прежде чем я дошел до нее, все вокруг заволокло туманом. Какое-то время казалось, что я очутился на чем-то вроде спортивной «бегущей дорожки» — шел, но не мог никуда дойти. Но вскоре туман рассеялся.

Должно быть, со мной совсем скверно, пробормотал я. Потряс головой. Удивительно, я чувствовал себя вполне хорошо, только немного кружилась голова. Я подошел к двери и вышел.

Путь к гостинице оказался похуже любого кошмара. Творилось нечто странное, но, насколько можно было понять, совершенно не связанное с моей яростью и обидой на Глорию. Меня окружало какое-то темное колдовство, и все вокруг приобретало нереальный вид. Свет был какой-то неправильный. Я проходил мимо людей на улице, а когда оборачивался, их не было. Я слышал голоса там, где не было людей, и видел разговаривавших людей, но не слышал их голосов. Страшно хотелось вернуться домой, но это было невозможно, я понимал это; я знал, что должен встретить лицом к лицу самое невероятное, что бы ни случилось, и знал, что Глория имеет к этому отношение.

Наконец, я поймал такси, хотя мог бы поклясться, что, когда уже готов был сесть в одну из машин, она как сквозь землю провалилась. Очевидно, это было еще одним проявлением темного колдовства. В такси стало легче. Я забился, дрожа, в уголок сиденья и закрыл глаза.

У гостиницы я расплатился с шофером и, еле передвигая ноги, вошел через вращающиеся двери. Гостиница выглядела куда более надежно, чем все, с чем я сталкивался с того времени, как со мной начали твориться эти страшные чудеса. Я направился прямо к конторке, собираясь передать какое-нибудь безумное послание относительно «дела жизни и смерти», чтобы только прервать это жуткое «не беспокоить». Проходя мимо гостиничного кафе, заглянул туда и остолбенел.

Она была там, в кабинке... и не одна. Я не мог разглядеть ничего, кроме лоснящегося черного затылка и толстой красной шеи. Она улыбалась ему, это была улыбка, которая, как я считал, родилась только для меня и предназначалась только мне.

Я стал подкрадываться к ним, трепеща. Когда я был уже почти рядом, он приподнялся, перегнулся через стол и поцеловал ее.

— Артур... — вздохнула она.

— Да, это должно было случиться, — убежденно сказал я.

Они не шевельнулись.

— Прекратите! — заорал я. Они не двигались. Ничто кругом не двигалось. Это была живая картина, портрет, чудовищное застывшее изображение, при виде которого у меня все рвалось внутри.

— Вот и все, — тихо произнес знакомый голос. - Этот поцелуй все решил, сынок. Ты пролетел. — Опять голова, хотя сейчас это был человек целиком. Заурядной внешности, среднего роста, с тощим телом, вполне подходившим к невыразительному немолодому лицу. Он сел на край стола, милосердно загородив собою доставлявший мне невыразимые муки поцелуй.

Я подбежал к нему, схватил за худые плечи.

— Скажи мне, что это, — умолял я его. — Скажи, если знаешь — а я думаю, ты знаешь. Скажи! — кричал я, впиваясь пальцами в его тело.

Он поднял руки и мягко положил их на мои запястья, и держал так, пока я немного не успокоился. Я отпустил его.

— Мне жаль, сынок, — сказал он, — я надеялся, ты сам сумеешь все понять.

— Я пытался, — ответил я и огляделся.

Кругом опять все потемнело, но я мог сквозь эту тьму разглядеть людей в кафе, застывших на середине движения. Какой-то трехмерный кадр немыслимого кинофильма. Я почувствовал, как холодный пот струйками стекает по лицу.

— Где я? — вырвался у меня вопль.

— Не волнуйся, пожалуйста, — успокаивающе проговорил он. — Я все тебе объясню. Будь выше этого. Сядь, отдохни, закрой глаза и постарайся не думать. Только слушай.

Я последовал его совету и постепенно перестал дрожать. Он подождал, пока не почувствовал, что я успокоился, и начал говорить.

— Существует мир созданий психики — назови их ожившими мыслями, или мечтами, если хочешь. Итак, из всех животных только человеческие существа могут создавать их. *Это* биологическое свойство. В людях есть нечто, что соприкасается с *этим* психическим миром. У людей есть власть открывать дверь между двумя *этими* мирами. Они редко контролируют *эту* власть; зачастую просто не осознают ее. Но если дверь открыта, в мире людей нечто материализуется. Для *этого* достаточно лишь воображения. Если ты жаждешь встретить женщину определенного типа и можешь достаточно живо вообразить ее, такая дверь может открыться, и женщина появится. Ты можешь видеть и трогать ее; она будет мало отличаться от настоящей.

— Но... разница существует?

— Да. Существует. Она не отделена от тебя. Она часть тебя. Она — твое произведение. Вот что я имел в виду, когда упоминал партеногенез. Эти процессы схожи.

— Партеногенез... погоди, я вспомню... Это процесс репродуцирования без оплодотворения, верно?

— Правильно. Эта твоя «материализация» — прекрасная параллель партеногенезу. Однако, как я тебе уже говорил, этот процесс не дает больших возмож-

ностей для выживания. Прежде всего, он не дает возможности переносить напряжения. Если ожившее создание не сможет обрести других качеств, оно должно погибнуть.

— Тогда почему выживают партеногенетические животные?

— Потому что этот процесс обычно свойственен очень простым, одноклеточным формам жизни. Но учти, — внезапно прервал он свою речь, — я употребляю все эти биологические термины чисто символически. Основные законы, действующие в обоих мирах, справедливы как для высших форм жизни, так и для низших. Понимаешь?

— Да, понимаю, это просто примеры. Но расскажи о способах, которыми партеногенетические существа преодолевают напряжения.

— Все очень просто. Два таких организма позволяют своим ядрам некоторое время двигаться вместе. Затем они разделяются, и каждый идет своим путем. Это вовсе не репродуктивный процесс. Это просто способ, при котором каждый может обрести частицу другого. Это называется... сизигий.

— Ах так, — сказал я. — Но я до сих пор... подожди... Ты упомянул о нем впервые, когда этот... этот...

— Когда Глория встретила Артура, — мягко договорил человек. — Я сказал, что, если это сизигий, с тобой будет все в порядке. Но это не так, как ты убедился сам. Внешняя нагрузка воздействовала на нее в такой степени, что оказалась слишком сильной. И ты пострадал. Да, при действии реальных основных законов что-нибудь всегда страдает.

— А ты? Кто ты сам?

— Я тот, кто прошел через это, вот и все. Тебе на-

до понять, что мой мир отличен от того, который ты помнишь. Даже время иное. Хотя я двинулся сюда около тридцати лет назад, я оказался в состоянии открыть дверку рядом с тобой. Совсем маленькую, разумеется. Я сделал это, чтобы попытаться заставить тебя вовремя подумать. Думаю, если бы ты сумел, ты бы уберегся от всего этого. Ты мог даже оказаться в состоянии удержать Глорию.

— Какое тебе до этого дело?

— Разве ты не понимаешь? В самом деле не понимаешь?

Глядя на него широко раскрытыми глазами, я покачал головой.

— Нет, не понимаю. Я... Ты нравишься мне, старина.

Он фыркнул.

— Это удивительно. Себе я не нравлюсь.

Я вытянул шею и бросил взгляд на Глорию и ее возлюбленного, все еще замерших в этом странном поцелуе.

— Эти придуманные люди останутся так стоять вечно?

— Придуманные люди?

— Я думаю, они именно такие. Знаешь, я даже немножко горжусь Глорией. Как я ухитрился придумать что-то такое... такое красивое, просто не понимаю. Я... эй! В чем дело?

— Разве ты не понял, что я говорил тебе? Глория реальна. Глория продолжает жить. Просто ты видишь то, что случилось, когда ты перестал быть частью нее. Лео, это она тебя придумала!

Я вскочил на ноги, положил сжатые кулаки на столик между нами.

— Это ложь, — задохнулся я. — Я...я — это я, черт возьми!

— Ты - мечта, продуманная до мельчайших подробностей, Лео, и это была превосходная работа. Ты чувствительная душа из другого мира, отлитая в форму идеала, который придумала Глория. Не пытайся быть ничем другим. Настоящих людей не так много, Лео. Большая часть мира населена существами, придуманными немногими. Ты не знал этого? Как ты думаешь, почему так мало людей из тех, кто тебе встречался, знает что-либо о мире в целом? Как ты думаешь, почему их интересы так ограничены, а окружение так узко? Большинство из них вовсе не люди, Лео!

— Я — это я, — сказал я упрямо. — Глория не могла придумать всего меня! Глория не умеет управлять экскаватором! Глория не умеет играть на гитаре! Глория ничего не знает об одноруком рабочем в цирке и о погибшем финне-подрывнике!

— Разумеется, нет. Глория только придумала человека, за которым бы стояли такие подробности или им подобные. Работал ли ты на экскаваторе с тех пор, как с ней встретился? Если попробуешь, то убедишься, что не сможешь. Ты играл на гитаре только ей, с тех пор, как встретил ее. Ты тратил время на аранжировку музыки, которой никто не увидит и не сыграет!

— Я никем не придуман! — закричал я. — Нет. Если бы я был ее идеалом, мы бы остались вместе. Я потерпел неудачу с ней, старина, разве ты не знаешь? Она хотела, чтобы я был агрессивен, а я не был.

Он поглядел на меня так печально, что мне показалось — он сейчас заплачет.

— Она хотела, чтобы ты *брал*. Но ты часть нее, а ни один человек не может взять у *себя*.

— Она смертельно боится того, что не производит на меня ни малейшего впечатления. Как быть с этим?

— Белки и шаги всех этих крохотных лапок? Нет, Лео, это пустые страхи, и у нее есть силы избавиться от любого из них. Она никогда не пыталась сделать этого, но создать тебя без них было нетрудно.

Я уставился на него.

— Ты хочешь сказать... старина, есть еще такие люди, вроде меня?

— Множество, — вздохнул он, — но немногие так держатся за свои несуществующие, призрачные «я», как ты.

— А реальные люди знают, что делают?

— Очень немногие. Очень немногие. Мир полон людей, которые чувствуют себя несовершенными, людей, у которых есть все, что они только могут пожелать, и все же они несчастливы. Людей, которые чувствуют себя одинокими в толпе. Мир по большей части населен призраками.

— А... а война? А античная история! А новые модели машин? Как насчет всего этого?

Он снова покачал головой.

— Часть из этого реальна, часть нет. Это зависит от того, чего по временам хотят реальные люди.

Я погрузился в печальные размышления. Затем задал ему вопрос:

— Что ты говорил насчет возможности вернуться в пространство-время и сквозь дверку взглянуть на прошлое?

Он вздохнул.

— Если ты так хочешь оставаться при том «я», что

она дала тебе, — сказал он устало, — ты будешь таким, как сейчас. Но постареешь. Тебе понадобится некий эквивалент тридцати лет, чтобы найти свой путь в этот странный психический мир, потому что тебе придется поступать и думать, как человеку. Зачем тебе это?

Я решительно сказал:

— Хочу вернуться назад, даже если на это надо потратить целое столетие. Хочу найти себя сразу после того, как я встречу Глорию, и хочу знать, как надо действовать, чтобы остаться с ней до конца ее дней.

Он положил руки мне на плечи, и теперь в его глазах действительно стояли слезы.

— Ах ты, бедный мальчик, — сказал он.

Я посмотрел на него. Потом спросил:

— Как... как тебя зовут, старина?

— Меня зовут Лео.

— Ох, — сказал я...

Образ мышления

Для начала я хотел бы рассказать одну-две истории, которые вы, наверное, уже от меня слышали, но, раз уж мы заговорили о Келли, то не лишним будет их напомнить.

Мне приходилось плавать с Келли, когда я был еще совсем молодым. В те времена я служил матросом на каботажных танкерах, которые загружались где-нибудь в нашем «нефтяном треугольнике» — к примеру, в Новом Орлеане, Арансасе или Порт-Артуре, а разгружались в портах к северу от мыса Гаттерас. В среднем — плюс-минус от шести часов до суток на всякие обстоятельства — каждый рейс занимал восемь дней, а каждая стоянка — восемнадцать часов. Таков был ритм моей тогдашней жизни.

Келли был обычным матросом палубной смены, что часто казалось мне чьей-то злой шуткой, потому что он знал о море гораздо больше, чем любой из членов экипажа нашей пропахшей нефтью калоши. Но он никогда не кичился этим, уважая во мне такого же матроса третьего класса, каким был сам. Чувство юмора у Келли, конечно, было, но совсем тихое, не показное; во всяком случае, он никогда не тешил его, доказывая очевидное, — что он гораздо лучший моряк, чем я могу надеяться когда-нибудь стать.

В Келли вообще было много необычного — даже то, как он смотрел или двигался, но самым удиви-

---

Пер. изд.: Sturgeon T. A Way of Thinking: в сб. Sturgeon T. E Pluribus Unicorn. — New York: Ballantine Books, 1965.

тельным было то, как он думал. Своим образом мышления Келли напоминал одного из тех космических пришельцев, о которых вы наверняка читали: они, как и люди; наделены *способностью* думать, но при этом думают совсем не так, как люди.

Возьмем, к примеру, тот вечер в Порт-Артуре. Я сидел с одной рыжей девчонкой, которую прозвали Ржавой, у стойки бара в портовом гадюшнике и пытался делать свои дела, одновременно поглядывая за другой цыпочкой, известной в тех краях под именем Бутс. Она сидела в одиночестве возле музыкального автомата и внимательно наблюдала за дверью, время от времени принимаясь скрежетать зубами от бешенства.

Я-то знал, в чем дело, и это не могло меня не беспокоить. Когда-то Келли регулярно встречался с Бутс, но в этот раз решил взять тайм-аут. Все бы ничего, но до Бутс дошли слухи, что Кел путается с девчонкой из бара Пита. Слухи подобного рода не могли, разумеется, привести Бутс в восторг, и теперь она поджидала Келли, чтобы свести с ним счеты. С минуты на минуту ждал его и я, так как сходя на берег мы договорились встретиться именно в этом баре.

И вот он пришел, легко, точно кошка, взбежав по длинной деревянной лестнице и толкнув дверь. Стоило Келли появился на пороге, как в баре сразу стало тихо, и даже музыкальный ящик зазвучал, казалось, немного испуганно.

А надо вам сказать, что как раз за плечом Бутс стоял на специальной полке мощный вентилятор с лопастями длиной в шестнадцать дюймов и без всякой предохранительной решетки. И в ту самую секунду, когда высокая фигура Келли показалась в дверях, Бутс, словно кобра из корзинки, вскочила на ноги,

схватила вентилятор за подставку и со всей силы швырнула в него.

Келли действовал совершенно спокойно, словно все происходящее виделось ему, как в замедленной съемке. Ноги его, во всяком случае, не сдвинулись с места. Он лишь слегка отклонился в сторону, да чуть-чуть развернул свои широкие плечи. Я услышал, как три бешено вращающихся лопасти с отчетливым *клик! клик! клик!* задели пуговицу его рубашки, после чего вентилятор с грохотом врезался в косяк двери.

Тут, кажется, заткнулся даже музыкальный автомат, потому что в баре наступила мертвая тишина. Келли не произнес ни слова, и все посетители тоже молчали.

Если вы верите в принцип «око за око», и кто-то бросает в вас адскую машину, вы поднимете ее и швырнете обратно. Но Келли мыслит не так, как вы. Он даже не взглянул на вентилятор — он смотрел на побледневшую Бутс, которая, гадая, что может быть у Келли на уме, ответила ему неуверенным, испуганным взглядом.

Наконец, Келли двинулся к ней через зал — быстро, но не особенно торопясь. Вытащив Бутс из-за стола, он поднял ее в воздух и швырнул.

Он швырнул ею в вентилятор!

Бутс грохнулась на пол, заскользила по нему, врезалась головой в косяк двери и, зацепив по дороге вентилятор, вылетела на лестницу, вертясь, как волчок. А Келли, как ни в чем не бывало, перешагнул через нее, спустился по лестнице и вернулся на судно.

В другой раз мы меняли главное передаточное колесо правой бортовой лебедки. Палубный инженер

провозился с ней всю утреннюю вахту, пытаясь снять старое колесо с оси. Он разогревал ступицу. Отбивал ее кувалдой. Мудрил с клиньями. Пытался сдернуть колесо ручными талями (кто не знает, это компактная подвесная лебедка с системой из четырех блоков), но добился только того, что сломал крепежный болт.

И тут, протирая глаза, на палубу вышел заспанный Келли. Чтобы принять решение, ему хватило одной секунды. Вразвалочку подойдя к лебедке, он взял ключ и освободил четыре болта, державшие кожух вала. Потом поднял двенадцатифунтовую киянку, примерился и нанес один-единственный удар по заднему торцу оси. Ось вылетела с противоположной стороны лебедки, словно торпеда, передаточное колесо упало на палубу, а Келли молча повернулся и пошел к штурвалу, и уж больше не вспоминал об этом, хотя вся палубная смена таращила глаза ему вслед.

Понимаете, что я хочу сказать? Есть проблема: снять колесо с оси. Но Келли поступает наоборот — он выбивает ось из колеса!

Как-то раз я следил за тем, как Келли играет в покер. На моих глазах он сбросил две пары и собрал неубиваемый «стрейт флеш»*. Почему он сбрасывался? Потому что именно в этот момент понял, что колода подтасована. Откуда он знал, что будет именно «флеш»? Одному Богу известно. Келли оставалось только собрать выигрыш, кстати, весьма немалый, после чего он подмигнул растерявшемуся шулеру и ушел.

---

* Стрейт флеш — в покере, последовательность из пяти карт одной масти.

У меня в запасе есть еще немало подобных историй, но основную идею вы наверняка уже уловили. Келли обладал совершенно особенным строем мышления, и он никогда его не подводил.

Потом мы расстались, и я потерял Келли из виду. Время от времени я вспоминал его и жалел, что связь между нами прервалась, потому что он произвел на меня очень сильное впечатление. Порой, когда передо мной вставала та или иная заковыристая проблема, я вспоминал Келли и спрашивал себя, как бы он поступил на моем месте? Иногда это помогало, иногда нет, но, наверное, только потому, что я не был Келли и не обладал его способностью к оригинальному мышлению.

После службы на танкере я, как говорится, окопался на берегу, женился и перепробовал много разных профессий. Годы летели совершенно незаметно. Война успела начаться и кончиться, когда одним теплым весенним утром я заглянул в известный мне бар на Сорок восьмой улице. Мне хотелось выпить текилы, а я знал, что здесь ее можно найти всегда и в любом количестве. И кто, как вы думаете, сидел в одном из полукабинетов, приканчивая внушительный обед из нескольких мексиканских блюд?..

Нет, это был не Келли. Это был Милтон собственной персоной. Со стороны его легко принять за хорошо обеспеченного студента последнего курса какого-нибудь престижного колледжа — в основном, благодаря соответствующего покроя костюмам, которые он все время носит. Впрочем, обычно Милт ведет себя гораздо тише, чем горластые школяры. Когда он отдыхает, у него бывает такой вид, словно студенчес-

кое землячество только что вынесло ему благодарность, и для него это жуть как важно. Когда же он обеспокоен, он вертится, как на иголках, а вас так и подмывает спросить, уж не прогуливает ли он занятия? По случайному совпадению Милтон — чертовски хороший врач.

В тот день он был обеспокоен, но поздоровался со мной достаточно приветливо и даже пригласил за свой столик. Мы немного потрепались, и я хотел угостить его стаканчиком текилы, но Милтон скорчил кислую мину и отрицательно покачал головой.

— Через десять минут я должен быть у больного, — сказал он, поглядев на свои наручные часы.

— Но ведь это, наверное, недолго, — возразил я. — Сходи к своему больному и возвращайся.

— Знаешь что, — сказал он, вставая. — Давай-ка сходим туда вместе, а? Тебя, кстати, этот случай может заинтересовать — здесь есть, о чем подумать.

Он взял свою шляпу и расплатился с Руди, а я сказал «Luego»*, и Руди ухмыльнулся в ответ и похлопал ладонью по бутылке с текилой. Приятное это все-таки местечко, бар Руди...

— Так что там с твоим пациентом? — спросил я, когда мы уже шли по улице.

Милтон ответил не сразу; мне даже показалось, что он меня не слышит, но тут он неожиданно сказал:

— Я установил перелом четырех ребер, сложный перелом фемуральной кости, а также небольшое внутреннее кровотечение, которое может указывать, а может и не указывать на разрыв селезенки. Ну и

---

* Luego — потом, позже *(исп.)*.

всякая мелочь, вроде некроза подъязычного френума... Пока у него еще был френум.

— Френум — это что?

— Уздечка. Такая тонкая полоска соединительной ткани под языком...

— *Кляк!..* — сказал я, попытавшись дотронуться кончиком языка до собственного френума. — Чувствуется, этот парень здоровьем не обижен. Просто богатырь!

— ...Пульмонарная адгезия, — продолжал перечислять Милтон задумчиво. — Пока не особенно серьезная и, определенно, не туберкулезная, что радует. Но эти спайки чертовски болят, кровоточат, и ужасно мне не нравятся. И еще — *acne rosacea*.

— Это, кажется, когда нос начинает светиться красным, как стоп-сигнал?

— Парню, о котором я тебе рассказываю, не до смеха.

Это заставило меня присмиреть.

— Что же с ним случилось? На него напали бандиты?

Милтон отрицательно покачал головой.

— Тогда, может быть, его переехал грузовик?

— Нет.

— Значит, он просто откуда-нибудь упал.

Милтон остановился и, повернувшись ко мне, посмотрел мне прямо в глаза.

— Нет, — сказал он. — Ниоткуда он не падал. И ничего с ним не случалось, — добавил он, снова трогаясь с места. — Вообще.

Я промолчал, потому что сказать мне было нечего.

— Просто как-то вечером он почувствовал, что у

него пропал аппетит, — задумчиво промолвил Милтон, — и пораньше лег спать. И все эти вещи случились с ним одна за другой.

— В кровати? — не поверил я.

— Ну, — проговорил Милтон скрипучим голосом врача-педанта, — если быть абсолютно точным, то его ребра треснули, когда он шел из туалета в спальню.

— Ты шутишь! — вырвалось у меня.

— Нисколько.

— Тогда твой пациент лжет.

Милтон снова покачал головой.

— Я ему верю.

Он верил своему пациенту, а я поверил ему. Я хорошо знаю Милтона: раз он допускает, что такое возможно, значит, у него есть к тому веские основания.

— Сейчас я много читаю о психосоматических расстройствах, — сказал я. — Но перелом фе... как ты ее назвал?

— Фемуральной кости, — повторил он. — Говоря почеловечески, у него перелом бедра. Сложный перелом. Да, это действительно бывает достаточно редко, но все-таки бывает. Ты ведь знаешь, что мускулы бедра очень сильны? Когда человек просто поднимается по лестнице, они развивают усилие в двести пятьдесят — триста фунтов при каждом шаге. При некоторых спастически-истерических состояниях эти мускулы легко могут сломать даже самую крепкую кость.

— А как насчет всего остального?

— Функциональные расстройства, все до единого. Никаких вирусов, никаких инфекций.

— Похоже, дружище, теперь тебе есть о чем подумать! — воскликнул я.

— Да, — согласился Милтон.

Расспрашивать дальше я не стал. Дискуссия была закрыта — я понял это так ясно, как если бы услышал щелчок замка, замкнувшего уста доктора.

Через несколько минут мы остановились перед неприметной дверью, почти не бросавшейся в глаза благодаря соседству двух магазинных витрин, и по узенькой лестнице поднялись на третий этаж. Милтон поднял руку к кнопке звонка, но сразу же опустил, так и не позвонив. К двери квартиры была приколота записка, гласившая:

«Ушел за лекарством. Входите».

Записка была не подписана. Милтон неопределенно хмыкнул, повернул ручку, и мы вошли.

Первым, что я почувствовал, был запах. Он был не особенно силен, но любой человек, которому когда-либо приходилось копать траншею на том самом месте, где на прошлой неделе была захоронена целая гора трупов, сразу бы его узнал. Такие вещи не забываются.

— Это некроз, черт бы его побрал! — пробормотал Милтон. — Ты пока присядь, я скоро вернусь.

И с этими словами он направился в дальнюю комнату, еще с порога бросив кому-то жизнерадостное: «Салют, Гэл!..»

В ответ послышалось неразборчивое, но радостное бормотание, услышав которое я почувствовал, как у меня ком встал в горле. Этот голос казался настолько усталым и измученным, что он просто не имел права звучать так приветливо.

Некоторое время я сидел, прилежно рассматривая рисунок на обоях и изо всех сил стараясь не слышать доносившихся из спальни характерно докторских, бессмысленно-бодрых междометий и ответно-

го мучительно-радостного мычания. Обои в гостиной были совершенно кошмарными. Помнится, в одном ночном клубе я видел номер Реджинальда Гардинера, который переводил на язык музыки самые разные образцы обойных рисунков. Сейчас я прибег к его методу, и у меня получилось, что обои в этой квартирке должны звучать примерно так: «Тело плачет, уэк-уэк-уэк... Тело плачет, уэк-уэк-уэк...» Мелодия была очень тихая, как бы полустертая, причем последний слог напоминал по звучанию сдавленную отрыжку.

Я как раз добрался до особенно любопытного стыка в обоях, где они поменяли свою мелодию на противоположную и затянули «Уэк-уэк-уэк, плачет тело...», когда входная дверь отворилась, и я от неожиданности вскочил, чувствуя себя совсем как человек, которого застали там, где ему совершенно не полагается находиться, и который не может достаточно коротко и внятно объяснить свое присутствие.

Вошедший — высокий, легко и неслышно ступавший мужчина со спокойным лицом и прищуренными зеленоватыми глазами — успел сделать целых два шага, прежде чем заметил меня. Тогда он остановился — опять же не резко, а очень плавно и мягко, словно его организм был снабжен невидимыми рессорами и амортизаторами — и спросил:

— Кто вы такой?

— Черт меня побери!.. — вырвалось у меня. — Да ведь это Келли!

Он взглянул на меня пристальнее, и на его лице появилось точно такое же выражение, какое я видел уже много, много раз, когда во время наших вылазок

в бары мы вместе сражались с «однорукими бандитами», и Келли напряженно всматривался в маленькие квадратные окошечки. В какое-то мгновение я почти услышал щелчки рычагов и увидел вращающиеся барабаны: лимон... вишенка... вишенка... *Щелк!*.. Танкер, прошедшие годы. *Щелк!*.. Техас, Келли. *Щелк!*..

— Будь я проклят! — протянул он, и я понял, что Келли удивлен еще больше моего. Потом он переложил в левую руку маленький сверточек, который принес с собой, и мы крепко пожали друг другу руки. У него была такая большая ладонь, что он с легкостью мог обхватить мою, а остатка пальцев вполне хватило бы, чтобы завязать полуштык*.

— Где ты скрывался все это время? Как сумел меня выследить? — спросил он.

— И не думал, — ответил я. (Произнося это, я невольно вспомнил, с какой легкостью я всегда усваивал чужую манеру выражаться. Чем большее впечатление человек на меня производил, тем сильнее мне хотелось ему подражать. Были времена, когда я копировал Келли лучше, чем его собственное зеркальце для бритья.) При этом я улыбался так, что у меня заныли лицевые мышцы.

— Рад тебя видеть, — сказал я и в телячьем восторге снова тряхнул его руку. — Я приехал с доктором.

— Так ты теперь врач? — уточнил Келли, и по его тону я понял, что он готов к любым неожиданностям и чудесам.

— Я писатель, — возмутился я.

— Ах да, я слышал, — припомнил Келли и прищу-

---

* Полуштык — морской узел.

рился, как когда-то. И точно так же, как много лет назад, его взгляд напомнил мне хорошо сфокусированный луч мощного прожектора.

— Да, я слышал о тебе, — повторил он с нарастающим интересом. — Ты пишешь рассказы о гремлинах, летающих тарелках и прочем.

Я кивнул.

— Паршивый способ зарабатывать себе на жизнь, — без осуждения заметил Келли.

— А как насчет тебя?

— Я-то по-прежнему имею отношение к морю. Одно время я работал в сухих доках, занимался чисткой нефтяных танков, регулировал компасы, даже занимал должность страхового инспектора. Ну, в общем, ты знаешь...

Я бросил взгляд на его большие руки, которые, как я отлично помнил, умели с одинаковой легкостью вести сварной шов, держать курс и производить сложнейшие подсчеты, и снова поразился тому, что сам Келли не видел в этом ничего из ряда вон выходящего. Лишь с некоторым трудом мне удалось вернуться из прошлого к настоящему, и я кивнул на дверь спальни.

— Я, наверное, тебя задерживаю.

— Нет, нисколько. Милтон и сам знает, что делать. Если я ему понадоблюсь, он свистнет.

— Кто же болен? — удивился я.

Его лицо потемнело как море перед штормом — потемнело внезапно и сильно.

— Мой брат, — промолвил Келли и окинул меня изучающим взглядом. — У него...

Тут он, похоже, сделал над собой усилие и сдержался.

— Он болен, — зачем-то повторил Келли и тут же добавил с какой-то неуместной поспешностью: — Впрочем, он скоро поправится.

— Ну разумеется, — так же торопливо ответил я; при этом у меня сложилось впечатление, что мы оба лжем друг другу, и ни один из нас не знает, зачем.

Милтон появился из дверей спальни с довольным смешком, который оборвался лишь только он отошел достаточно далеко, и больной уже не мог его слышать. Келли повернулся к нему. При этом он двигался так медленно, словно это нарочитое спокойствие было единственным, что он мог противопоставить своему жгучему желанию схватить врача за горло и вытрясти из него последние новости.

— Привет, Кел. Я слышал, как ты вернулся.

— Как он, док?

Милтон быстро поднял голову, и взгляд его круглых, ясных глаз встретился с напряженным взглядом прищуренных глаз Келли.

— Тебе нельзя так волноваться, Кел, — спокойно сказал Милтон. — Подумай о брате: что будет с ним, если ты откинешь копыта?

— Не откину, док, не беспокойтесь. Скажите лучше, что я должен делать?

Милтон огляделся и заметил маленький сверточек, который Келли успел положить на стол. Взяв его в руки, он развернул бумагу. Внутри оказался черный кожаный футляр и два пузырька с лекарством.

— Приходилось когда-нибудь пользоваться этой штукой, Кел?

— Прежде чем стать матросом, Келли прослушал

подготовительный курс при медицинском колледже, — неожиданно вставил я.

Милтон удивленно воззрился на меня.

— Так вы знакомы?

Я посмотрел на Келли.

— Иногда мне кажется, что я его выдумал.

Келли фыркнул и хлопнул меня по плечу. К счастью, я устоял, схватившись за встроенный шкафчик для посуды, а гигантская рука Келли продолжила движение и плавно перехватила у доктора набор для инъекций.

— Простерилизовать иглу и тубу, — продекламировал Келли монотонным, размеренным голосом, словно цитируя выученную назубок инструкцию. — Собрать шприц, не прикасаясь пальцами к игле. Для наполнения проткнуть иглой пробку флакона с лекарством и вытянуть поршень. Перевернуть иглой вверх и выдавить воздух во избежание эмболии. Затем, найти главную вену и...

Милтон расхохотался.

— Достаточно, достаточно!.. Да и вену искать не придется — это средство вводится подкожно, так что можешь вколоть его в любое место, куда тебе будет удобнее. Здесь я записал точную дозировку для каждого из возможных симптомов. Только, ради Бога, не спеши и смотри, не переборщи! Вспомни, как солят пищу: немного соли придает блюду вкус, но это не значит, что оно будет еще вкуснее, если ты высыплешь в него полную солонку...

Келли слушал с чуть сонным, не выражавшим никакой особой сосредоточенности лицом, которое, насколько я помнил, означало, что он, как магнитофон, фиксирует в памяти каждое слово.

Потом он слегка подбросил кожаный футляр со шприцом и ловко его поймал.

— Может, лучше начать сейчас? — спросил он.

— Ни в коем случае! — ответил Милтон самым категорическим тоном. — Только если не будет другого выхода.

Келли, казалось,был несколько разочарован, и я неожиданно понял, что ему отчаянно хочется действовать, бороться, даже рисковать. Все, что угодно, лишь бы не сидеть сложа руки и не ждать, пока терапевтические методы Милтона принесут хоть какой-нибудь результат.

— Послушай, Келли, — сказал я. — Твой брат для меня, это... В общем, ты понимаешь. Мне хотелось бы повидать его, если, конечно, он...

Келли и доктор заговорили одновременно.

— Ну разумеется, только лучше не сейчас, а потом — когда он немного оправится и будет вставать, — сказал один.

— Лучше в другой раз, я только что дал ему снотворное, — сказал другой, и, неуверенно переглянувшись, они оба замолчали.

— Тогда пошли выпьем, — предложил я, прежде чем они успели придумать новую отговорку.

— Вот теперь ты говоришь дело, — воодушевился Милтон. — Ты тоже с нами, Келли, тебе это полезно.

— Я не пойду, — сказал Келли. — Гэл...

— Я его вырубил, — откровенно признался доктор. — Ему нужно поспать, а если ты останешься с ним, ты будешь кудахтать над ним, как курица, и сдувать с него пылинки, пока в конце концов не разбудишь. Идем, Келли, я тебе как врач говорю.

Я наблюдал за этой сценой и испытывал самую настоящую боль, оттого что ко множеству моих воспоминаний о Келли я вынужден было добавить еще одно — воспоминание о Келли колеблющемся. Впервые на моей памяти он в чем-то мучительно сомневался, и мне было тяжело на это смотреть.

— Ладно, — сказал он наконец. — Дайте только я сначала еще разок на него взгляну.

И он исчез в спальне. Я перевел взгляд на Милтона, но сразу же отвернулся. Думаю, ему не хотелось, чтобы я видел на его лице это выражение болезненной жалости и бессильного недоумения.

Вскоре, двигаясь по своему обыкновению бесшумно, вернулся Келли.

— Да, Гэл уснул, — подтвердил он. — Сколько он проспит?

— Я бы сказал, четыре часа минимум.

— Ну ладно. — Келли снял с рогатой вешалки для шляп поношенную инженерскую фуражку с потрескавшимся козырьком из лакированной кожи. Я невольно рассмеялся; Келли и Милтон обернулись, как мне показалось, с легким раздражением.

Когда мы вышли на лестничную площадку, я объяснил, в чем дело.

— Эта твоя кепка... — сказал я. — Помнишь, в Тампико?..

— А-а!.. — протянул Келли и слегка хлопнул фуражечкой по руке.

— Кел оставил ее на стойке в одной тамошней забегаловке, — сказал я Милтону. — И хватился только у трапа. Он ее так любил, что хотел непременно за ней вернуться, и мне пришлось поехать с ним.

— У тебя ко лбу была прилеплена этикетка от текилы, — вставил Келли. — Ты все пытался убедить таксиста, что ты — бутылка.

— Он все равно не понимал по-английски.

Келли слегка улыбнулся. Эта улыбка была почти похожа на его прежнюю улыбку.

— Думаю, основную идею он уловил.

— В общем, — продолжал объяснять я Милтону, — когда мы подъехали, заведение было уже закрыто. Мы проверили сначала парадное, потом пожарный и черный ход, но все было заперто, как в форте Алькатрас*. Впрочем, мы так шумели, что если даже внутри кто и был, он все равно побоялся бы нам открыть. Но через окно мы заметили фуражку. Она все так же лежала на стойке; очевидно, на нее никто не польстился...

— Но-но, — перебил Келли. — Вещь-то хорошая.

— Келли решил действовать, — сказал я. — Ты знаешь, он мыслит не как все люди. Сначала он посмотрел сквозь стекло на дальнюю стену бара, потом обошел забегаловку кругом, уперся ногой в угловой столб, подсунул пальцы под лист гофрированного железа, которым была обита стена, и говорит мне: «Я его отогну немного, а ты лезь внутрь и хватай мою фуражку».

— Железо было прибито полудюймовыми гвоздями, — уточнил Келли нарочито серьезным тоном.

— Так вот... — Я ухмыльнулся. — Келли дернул изо всех сил, и вся эта чертова стена обрушилась. В

---

* Форт Алькатрас — крепость на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско, которая с 1934 по 1963 год служила федеральной тюрьмой для особо опасных преступников.

том числе и на втором этаже. Готов спорить, ты в жизни не слышал такого грохота!

— Как бы там ни было, я получил назад свою вещь, — сказал Келли и пару раз негромко хохотнул. — На втором этаже был публичный дом, а единственная лестница оторвалась вместе со стеной.

— Таксиста уже не было, — подхватил я. — Он исчез, но машину почему-то оставил. Келли сел за руль и отвез нас в порт. Я вести не мог. Я смеялся.

— Ты был пьян.

— Ну, разве что совсем чуть-чуть, — признался я.

Некоторое время мы не торопясь шли рядом и молчали. Потом, выбрав момент, когда Келли отвлекся, Милтон незаметно ткнул меня кулаком под ребра. Это был достаточно красноречивый жест, и я почувствовал себя довольным. Дружеский тычок доктора означал в том числе и то, что Келли впервые за много, много недель начал улыбаться и даже рассмеялся. Наверное, он уже давно не думал ни о чем другом, кроме болезни брата.

Похоже, мы с доком чувствовали себя примерно одинаково, когда Келли — словно дождавшись, пока даже эхо моего рассказа затихнет в отдалении, — вдруг спросил без тени веселости:

— Кстати, док, что у Гэла с рукой?

— Ничего страшного. Думаю, все будет в порядке, — быстро ответил Милтон.

— Но ты наложил шину.

Милтон вздохнул.

— Ну хорошо, хорошо... У него три новых перелома. Два на среднем пальце, и один — на безымянном.

— Я видел, что они распухли, — проговорил Келли.

Я посмотрел сначала на него, потом на Милтона, и выражение их лиц мне настолько не понравилось, что я невольно пожалел, что не могу оказаться где-нибудь подальше, например — в урановой шахте или в налоговой инспекции в день подачи декларации о размерах годового дохода. К счастью, мы уже почти пришли.

— Ты когда-нибудь бывал у Руди, Келли? — спросил я.

Он поднял голову и поглядел на небольшую красно-желтую вывеску.

— Нет.

— Тогда вперед, — сказал я и добавил заветное слово: — Текила!

Мы вошли, взяли отдельный полукабинет, но Келли заказал пиво. Тут я уже не выдержал и принялся обзывать его разными забористыми словечками, которых понабрался в портовых тавернах от Нью-Йорка до Огненной Земли. Док — тот смотрел на меня разинув рот, а Келли следил за его непроизвольно подергивавшимися руками. Через пару минут Милтон не утерпел, выхватил из кармана книжку с бланками рецептов и стал записывать на ней кое-какие выражения. Я почувствовал прилив гордости.

Постепенно до Келли дошло, что если я угощаю, а он — отказывается, значит, он поступает хуже, чем un puñeto sin cojones (что испано-английский словарь стыдливо переводит как «слабый человек без яичек»), и его почтение к поколениям предков в конце концов возобладало, хотя и приняло несколько своеобразную форму. Короче говоря, я сумел добиться своего, и уже очень скоро Келли увлеченно

опустошал огромное блюдо, на котором лежали говяжьи tostadas, цыплячьи enchiladas и свиные tacos. Он очаровал даже Руди, когда, потребовав к текиле соль и лимон, сноровисто и без ошибок исполнил положенный ритуал: зажав лимон между большим и указательным пальцами левой руки, он смочил языком ее тыльную сторону, насыпал на влажное место соли, поднял правой бокал с текилой, лизнул соль, залпом выпил текилу и откусил лимон. Еще немного погодя Келли принялся очень похоже копировать акцент нашего второго помощника-немца, которого одним вечером мы волокли на себе из Пуэрто-Барриос после того, как он съел четырнадцать зеленых бананов и, натурально, вернул их природе вместе со своими вставными зубами. Слушая в исполнении Келли эти гортанно-шамкающие звуки, мы чуть животики не надорвали от смеха, и больше всех смеялся он сам.

Но после того неожиданного вопроса о сломанных пальцах, который Келли задал нам на улице, нас с Милтоном уже нельзя было провести. И хотя все мы старались изо всех сил (впрочем, дело того стоило), все же хохотали мы не от души. Каждый раз наш смех замирал слишком быстро, а под конец мне и вовсе захотелось плакать.

Потом нам принесли по большому куску «нессельроде» — десерта, который приготовила очаровательная, светловолосая жена Руди. Это такой воздушный пирог, который можно сдуть с тарелки, неосторожно взмахнув салфеткой. Нет, это даже не пирог — это сладкий дым с уймой калорий... И тут Келли спросил, который час и, негромко выругавшись, встал из-за стола.

— Но ведь прошло всего два часа, — возразил Милтон.

— Все равно, мне уже пора, — ответил Келли. — Спасибо за угощение.

— Погоди, — остановил я его и, вытащив из бумажника какой-то листок, написал на нем свой телефон.

— Вот, возьми, — сказал я. — Мне хотелось бы как-нибудь встретиться с тобой еще. Теперь я работаю дома и сам распоряжаюсь своим временем. Сплю мало, так что можешь звонить, когда тебе захочется.

Он взял бумажку.

— Ты паршиво пишешь, — сказал он. — Я всегда знал, что из тебя вряд ли выйдет что-нибудь путное.

Но я слышал, *как* он это сказал, и мне стало капельку легче.

— На перекрестке есть газетный киоск, — сказал я. — Там ты найдешь журнал «Удивительные истории» с одним из моих мерзких рассказиков.

— Разве их печатают не на туалетной бумаге? — ухмыльнулся Келли в ответ, потом махнул нам на прощание, кивнул Руди и ушел.

Ожидая пока дверь за ним закроется, я сгреб в кучку рассыпавшийся по столу сахарный песок и выравнивал ее до тех пор, пока не получился правильный квадрат. Потом я подбил его грани ребром ладони, и квадрат превратился в ромб. Милтон молчал. Руди, наделенный редкостным для бармена чутьем, тактично держался от нас на почтительном расстоянии и лишь изредка поглядывал в нашу сторону.

— Что ж, эта вылазка действительно пошла ему на пользу, — сказал наконец Милтон и вздохнул.

— Тебе виднее, — с горечью произнес я.

— Келли кажется, что *мы* думаем, будто ему это было полезно, и от этого ему становится лучше, хотя, быть может, сам он этого и не сознает.

Я невольно улыбнулся его извилистой логике, и разговаривать стало намного легче.

— Этот парнишка... его брат... Он выживет?

Прежде чем ответить, Милтон немного помедлил, словно стараясь найти другой ответ, но так и не нашел.

— Нет, — сказал он решительно.

— Ты просто отличный врач, Милт! Опытный, знающий и все такое...

— Прекрати! — резко бросил он и, вскинув голову, посмотрел на меня. — Если бы это был один из случаев... скажем, фиброзного плеврита с потерей воли к жизни, я бы знал что делать. Обычные больные, находящиеся в угнетенно-депрессивном состоянии, в глубине души страстно желают, чтобы их кто-то утешил и подбодрил. Это желание бывает так сильно, что излечить их можно буквально одним словом, нужно только правильно его подобрать. И как правило это удается. Но с Гэлом все обстоит по-другому. Он отчаянно хочет жить, только это его и поддерживает. В противном случае, он умер бы еще три недели назад. То, что его убивает, имеет чисто соматическую природу. Следующие один за другим переломы, цепочка непонятных воспалений, последовательно отказывающие внутренние органы... организм с этим просто не справляется.

— И кто в этом виноват?

— Да никто, черт побери! — воскликнул он, и я прикусил губу. — Никто. Ведь если один из нас бряк-

нет, что это Келли сломал брату четыре ребра, другой тут же даст ему в зубы. Правильно?

— Правильно.

— Так вот, чтобы этого не случилось, — рассудительно продолжал Милтон, — давай я сам скажу тебе то, о чем ты все равно спросишь меня через минуту-другую. Почему Гэл не в больнице... Ведь ты об этом хотел спросить?

— Хорошо, почему?

— Он там был, провалялся несколько недель. И все это время с ним продолжали случаться те же самые вещи, только гораздо, гораздо хуже. Чуть не каждый день обнаруживалась новая патология, так что я поспешил забрать Гэла, как только его разрешили снять с вытяжки, на которой он лежал по поводу перелома бедра. С Келли ему гораздо лучше. Келли не позволяет ему пасть духом, Келли готовит для него еду, дает лекарства, словом — обеспечивает необходимый уход. С утра до вечера Келли только этим и занимается.

— Я догадался. Должно быть, ему чертовски нелегко приходится.

— Так и есть... Знаешь, я немного завидую твоему умению браниться. Хоть так, но ты все-таки его уломал. А я... Я не могу ни дать, ни одолжить этому человеку ровным счетом ничего. Келли слишком... горд, он не принимает помощи, он взвалил на свои плечи все, и главное — ответственность... О Господи!..

— Знаешь, ты только не обижайся, но... Ты консультировался со специалистами?

Милтон пожал плечами.

— Конечно, много раз. И в девяти случаев из десяти мне приходилось действовать за спиной Кел-

ли, что было совсем не просто. Мне пришлось проявить чертовскую изобретательность. Однажды я сказал ему, что Гэлу просто необходимо попробовать иранских арбузов, которые получают только в одной маленькой лавке в Йонкерсе. Келли помчался туда, и пока он отсутствовал, мне удалось собрать двух-трех специалистов, показать им Гэла и выпроводить до того, как Келли вернулся. В другой раз я выписал Гэлу сложную микстуру, а сам заранее сговорился с аптекарем, чтобы он готовил ее не меньше двух часов. За это время я успел показать Гэла Грандиджу, — это наш известный остеопат, — зато провизор Анселович из аптеки получил от Келли здоровенного пинка за то, что слишком долго копался.

— Ты молодец, Милт! — сказал я от души.

Он недовольно рыкнул, потом продолжал, слегка понизив голос:

— Как бы там ни было, никакой пользы эти консультации Гэлу не принесли. Я узнал чертову уйму полезного и нового, научился паре врачебных приемов, о существовании которых прежде не подозревал, но... — Он покачал головой. — Знаешь, почему ни я, ни Кел не разрешили тебе сегодня увидеть Гэла?

Тут Милт облизнул губы и огляделся по сторонам, словно подыскивая подходящий пример.

— Помнишь фотографии тела Муссолини, после того как толпа с ним расправилась?

Я вздрогнул.

— Да, помню.

— Так вот, именно так и выглядит Гэл, только он, в отличие от Муссолини, жив. Что, впрочем, вовсе не

делает картину приятнее. Главное, сам Гэл не сознает, как он плох, и ни я, ни Келли не хотели бы, чтобы он понял это по твоему лицу. Да что там, по твоему!.. Я бы не пустил к нему и деревянного индейца!

Он все говорил и говорил, и, незаметно для себя, я начал постукивать кулаком по столу — сначала негромко, потом все сильней и сильней. В конце концов Милтон схватил меня за запястье, и я замер, чувствуя себя крайне неуютно под взглядами множества посетителей, которые смотрели на меня. К счастью, волнение улеглось довольно быстро, и в притихшем на несколько секунд баре снова стало шумно.

— Извини, — сказал я.

— Ничего, все в порядке.

— Но ведь должна быть какая-то причина!

Его губы чуть заметно изогнулись в язвительной улыбке.

— Вот, значит, к чему ты в конце концов пришел? Причина!.. Всему на свете должна быть причина, и если мы ее не знаем, то, по крайней мере, можем найти. Не ты один так считаешь, но истина заключается в том, что один-единственный необъяснимый факт способен потрясти нашу веру в разумность и рациональность всего сущего. И тогда наш страх становится много больше, чем то, с чем мы в действительности имеем дело; он вырастает до размеров целой вселенной, об устройстве и законах которой мы можем сказать только одно: это необъяснимо. И в первую очередь это свидетельствует о том, как слабо мы на самом деле верим во что бы то ни было.

— Жалкая философия, Милт.

— Да, возможно. Но если у тебя будет подходящая идея, как объяснить то, что случилось с Гэлом, я готов у тебя ее купить за сколько ты скажешь. Пока же мне остается только продолжать биться над этой загадкой и бояться... А боюсь я, пожалуй, даже больше, чем следовало бы.

— Давай-ка лучше напьемся.

— Отличная идея.

Но никто из нас не сделал заказ. Мы просто сидели и смотрели на ромб из сахарного песка, который я оставил на столе. Какое-то время спустя я снова спросил:

— А Келли понимает, в чем дело?

— Ты же знаешь Келли. Если бы у него была хоть какая-то идея, он бы землю рыл, чтобы подтвердить ее или опровергнуть. Нет, он просто сидит и смотрит, как тело его брата гниет и пухнет, точно тесто в квашне.

— А Гэл?

— В последнее время он редко бывает в полном сознании. Я стараюсь держать его на снотворных и на болеутоляющих.

— Но, может быть, он...

— Послушай, — сказал Милтон, — я вовсе не хочу, чтобы ты принял меня за психа, но мне тоже не дают покоя самые дикие догадки и предположения. Например...

Он внезапно замолчал и, вытащив из кармана свой образцово-показательный носовой платок, внимательно на него посмотрел, потом убрал обратно.

— Извини, — промолвил он, — но ты, похоже, не понимаешь, что я уже давно занимаюсь этим

случаем. Скоро будет ровно три месяца, как я ломаю голову над этой задачей, так что я успел подумать обо всем, что тебе еще даже не пришло в голову. Да, я устроил Гэлу настоящий допрос, я заходил то с одной, то с другой стороны, но все было напрасно. Я не нашел ничего, что стоило бы внимания. Ни-че-го!

Последнее слово он произнес так странно, что я сразу насторожился.

— Ну-ка, рассказывай, — потребовал я.

— Что рассказывать? — ответил Милтон и посмотрел на часы, но я накрыл их ладонью.

— Давай, Милт, выкладывай.

— Я не понимаю, о чем ты... Черт, оставь меня в покое! Неужели ты думаешь, что я не разобрался бы во всем до конца, если бы это было хоть сколько-нибудь важно?!

— Расскажи мне о том, что ты считаешь *не* важным.

— Нет.

— Почему — нет?

— Будь я проклят, если это сделаю! Ведь ты просто шизик. Ты отличный парень и ты мне нравишься, но ты — самый настоящий тронутый шизик! — Он неожиданно рассмеялся, и его смех ослепил меня, как свет фотографической лампы-вспышки. — Я не знал, что у тебя может быть такая озадаченная морда! — воскликнул Милтон. — А теперь успокойся, приятель, и послушай, что я тебе скажу. Например, какой-нибудь человек, выходя из ресторана, специализирующегося на мясных блюдах, наступает на ржавый гвоздь, а потом берет и умирает от столбняка. Но все повернутые вегетарианцы будут клясться и божиться, что он остался бы жив, если бы не отравлял свой организм мясом; больше того, они ста-

нут использовать этот случай в качестве доказательства своей правоты. Преданный сторонник сухого закона, если только он узнает, что погибший запил свой бифштекс кружкой пива, назовет того же человека очередной жертвой пьянства. И с той же искренностью и жаром сердечным другие люди будут объяснять ту же самую смерть недавним разводом, приверженностью той или иной религии, политическими пристрастиями или наследственной болезнью, передавшейся бедняге от его пра-пра-прадедушки, соратника Оливера Кромвеля. Ты неплохой парень, и ты мне нравишься, — снова повторил он, — и поэтому я не хочу сидеть и смотреть, как ты сходишь с ума.

— Не понимаю, — сказал я раздельно и громко, — о чем ты толкуешь. А теперь тебе *придется* мне обо всем рассказать.

— Боюсь, что так, — печально согласился Милтон и глубоко вздохнул. — Ты веришь в то, что пишешь. Нет, — добавил он быстро, — это не вопрос, а просто констатация факта. Ты фантазируешь, выдумываешь всякие ужасы и веришь каждому выдуманному тобой слову. Я чувствую, что по складу характера ты больше склонен верить в outrè*, в так называемое «непознаваемое», больше, чем в то, что я называю *реальными* вещами. Ты, наверное, считаешь, что я несу чушь...

— Да, — сказал я. — Но продолжай.

— Если бы завтра я позвонил тебе и радостно сообщил, что нам удалось выделить вирус, вызывающий такую болезнь, как у Гэла, и что соответствую-

---

* Outrè — странное, удивительное *(фр.)*.

щая вакцина вот-вот будет готова, ты был бы рад не меньше моего, но в глубине души ты продолжал бы сомневаться и спрашивать себя, действительно ли во всем повинен вирус, и сможет ли сыворотка действительно помочь. Но если бы сейчас я признался тебе, что в самом начале заболевания видел на шее Гэла следы двух еле заметных уколов и что как-то раз я заметил выползающий из его комнаты язык тумана... Ты ведь понял, о чем я, верно? Клянусь Богом, понял!.. Посмотри на себя — у тебя даже глаза заблестели.

Я быстро опустил веки.

— Не позволяй мне перебить тебя сейчас, — сказал я холодно. — Если ты не веришь в след от клыков Дракулы, то что ты готов признать? Что у тебя на уме, Милт?

— Примерно год назад Келли привез своему брату подарок — кошмарного маленького уродца, гаитянскую куклу. Некоторое время Гэл держал ее у себя, просто для того, чтобы было кому состроить рожу в тоскливую минуту, а потом подарил одной девице. Несколько позднее у Гэла были с ней серьезные неприятности, и теперь она его ненавидит. По-настоящему ненавидит. И, насколько нам известно, эта кукла все еще у нее. Ну, теперь ты доволен?

— Доволен, — сказал я, не скрывая своего отвращения. — Но, Милт, ты ведь не можешь просто игнорировать эту историю с гаитянской куклой. Наоборот, она может служить основой всего... Эй, ну-ка, сядь! Куда это ты намылился?

— Я же сказал, что не стану слушать, если ты оседлаешь своего любимого конька. Когда речь за-

ходит о пристрастиях, здравый смысл исчезает. — Он отпрянул. — Эй, прекрати!.. *Сам* сядь! Сядь сейчас же.

Я успел схватить его за лацканы пиджака.

— Сейчас мы оба сядем, — сказал я ласково. — Иначе, как ты и хотел, я докажу тебе, что все *разумные* аргументы я уже исчерпал.

— Так точно, сэр, — добродушно отозвался он и сел. Блеск в его глазах погас, и я почувствовал себя дурак-дураком.

Наклонившись вперед, Милт сказал:

— Теперь, надеюсь, ты будешь держать себя в руках и слушать, что я тебе скажу. Ты, наверное, знаешь, что во многих случаях куклы-вуду оказываются не такими уж безобидными. А знаешь почему?

— Да, знаю. Просто я не думал, что ты тоже в это веришь.

Его тяжелый, как камень, взгляд, остался непроницаем, и я, — с некоторым опозданием, правда, — сообразил, что поза непререкаемого авторитета и всезнайки, которую писатели-фантасты любят принимать каждый раз, когда дело касается подобных вопросов, вряд ли уместна, если имеешь дело с квалифицированным и, в каком-то смысле, передовым врачом. И я добавил несколько менее уверенно:

— В данном случае дело, видимо, в том, что обычно именуется субъективной реальностью или, иными словами, в том, во что верят некоторые люди. Если твердо верить, что нанесение увечий кукле, с которой ты себя отождествляешь, принесет вред тебе самому, в конце концов так и случится.

— Да, речь идет именно об этом и о многих дру-

гих вещах, которые даже писатель-фантаст мог бы узнать, если бы не ограничивал свой кругозор рамками собственной субъективно ограниченной фантазии. Например, знаешь ли ты, что в Северной Африке до сих пор живет племя кочевых арабов, которым мало кто решается нанести серьезное — по их собственным меркам, конечно, — оскорбление. Когда араб из этого племени чувствует себя оскорбленным, он угрожает тебе... собственной смертью, и если ты скажешь, что это чушь, то прямо на твоих глазах он сядет на корточки, накроет голову платком и умрет, умрет по-настоящему, без дураков. С точки зрения науки это чистой воды психосоматический феномен наподобие стигматов или крестных ран, которые время от времени появляются на руках, на ногах и на груди у некоторых истово верующих. Я думаю, тебе известно много таких случаев, — добавил он неожиданно, очевидно прочтя что-то по выражению моего лица. — Но я от тебя не отстану до тех пор, пока ты не признаешь, что я по крайней мере способен не только принять подобные явления во внимание, но и подробнейшим образом их исследовать.

— Должно быть, я упустил это из виду потому что еще никогда у тебя не лечился, — пробормотал я. В моих словах заключалась лишь доля шутки, и Милтон это понял.

— Вот и славно, — сказал он с видимым облегчением. — А теперь я расскажу, что именно я предпринял. Когда я узнал об этой истории с куклой, я набросился на нее с таким же рвением, как ты сейчас. Кстати, докопался я до этого случая довольно поздно, хотя и расспрашивал Гэла *обо всем*. А это, ме-

жду прочим, означает, что для него кукла *не имела никакого значения.*

— Но, может быть, подсознательно...

— Заткнешься ты или нет?! — Милт ткнул меня своим острым пальцем куда-то в область ключицы. — Сейчас говорю я, а не ты! Так вот: я допускаю, что вера в колдовство действительно может быть спрятана где-то в подсознании Гэла, но если это так, то она находится в таких дебрях, на такой глубине, что ни амитал натрия*, ни метод ассоциаций, ни светотерапия, ни глубокий гипноз, ни добрая дюжина других, столь же эффективных приемов, не в силах ее выявить. И я считаю это достаточно убедительным доказательством того, что никакой веры в колдовство вуду в нем нет. — Милтон внимательно посмотрел на меня. — Судя по твоей ухмылке, мне придется еще раз напомнить, что я занимался этим вопросом достаточно долго, много дольше, чем ты, и применял методы и средства, которых в твоем распоряжении просто нет. И мне кажется, что для нас обоих результаты должны быть одинаково убедительны.

— Пожалуй, мне действительно лучше помолчать, — сказал я жалобно.

— Давно пора. — Он усмехнулся. — Нет, для того чтобы порча или сглаз привели к болезни или смерти, сам человек должен глубоко верить в могущество колдунов и колдуний. Только через эту веру он сможет развить в себе чувство полной тождественности с

---

* Амитал натрия («сыворотка правды») — гипнопсихологический препарат из группы барбитуратов, используемый в лечении неврозов и навязчивых состояний.

куклой. Кроме того, жертве желательно доподлинно знать, что именно проделывает колдун с его восковым или глиняным двойником: плющит, ломает конечности, колет иголками и так далее. А я готов поклясться, что до Гэла не доходило абсолютно никаких сведений подобного рода.

— А как насчет куклы? — не удержался я. — Может, для полной уверенности, было бы все-таки лучше забрать ее у той девицы?

— Я тоже думал об этом. Увы, я так и не смог придумать, как вернуть куклу не возбудив ее подозрений и не дав ей понять, что эта восковая фигурка имеет для нас такую ценность. Если она поймет, что кукла нужна Гэлу, она *никогда* ее не отдаст.

— Гм-м... Кто она вообще такая, и в чем ее сила?

— Она такая же никчемная и такая же мерзкая, как тополиный пух в пору цветения. Одно время они с Гэлом встречались, но между ними не было ничего серьезного. По крайней мере, с его стороны. Гэл... он всегда был просто большим ребенком с широкой и открытой душой, который искренне верил, что единственные негодяи на свете, это те, кого непременно убивают в конце фильма. Келли в это время был в плавании; когда он неожиданно вернулся, то обнаружил, что эта дрянь вертит Гэлом как хочет. Сначала она действовала лаской, потом пустила в ход угрозы... В общем, налицо был старый, добрый шантаж, но Гэл оказался здорово сбит с толку. Келли взял с него слово, что между ними не было ничего такого, а потом заставил дать ей от ворот поворот. Но девчонка их раскусила, и дело попало в суд. Это была ее ошибка. Келли легко добился медицинского освидетельствования и выставил девицу на всеобщее посме-

шище. Экспертиза ясно показала, что она не только не носит во чреве никакого ребенка, но и вообще никогда не сможет быть матерью. Именно тогда она и поклялась поквитаться с Гэлом, но... У нее нет ни мозгов, ни образования, ни денег, что, впрочем, не мешает ей быть дрянью. Ненавидеть она, во всяком случае, умеет.

— Значит, ты ее видел?

Милтон как-то передернулся.

— Да, я ее видел, когда пытался забрать подарки Гэла. Мне пришлось сказать, чтобы она отдала их все, потому что я не осмелился сказать, что конкретно мне хотелось бы получить... Быть может это тебя удивит, но на самом деле мне была нужна только эта проклятая кукла. Как ты сам недавно сказал — просто на всякий случай, хотя в глубине души я уже тогда был убежден, что эта безделушка не имеет и не может иметь никакого отношения к странной болезни Гэла. Ну, теперь ты понимаешь, что я хотел сказать, когда говорил о том значении, которое может иметь для нас один-единственный необъяснимый факт, одно-единственное проявление иррационального?

— Боюсь, что да, понимаю. — Я чувствовал себя подавленным и дезориентированным, к тому же Милтону почти удалось меня убедить, и это не нравилось мне больше всего. Слишком часто мне приходилось читать об ученых, которым не хватало способности к нетрадиционному, непредвзятому мышлению, чтобы решить ту или иную загадку. А как было бы здорово добиться успеха там, где спасовал такой башковитый парень, как Милт!

Потом мы вышли из бара на улицу, и впервые в жизни я почувствовал очарование ночи — почувство-

вал сам, без того, чтобы какой-нибудь болван-писатель насильно вбивал его мне в башку в своих писательских целях. Я смотрел на чистенький, к звездам тянущийся кубистический ландшафт вокруг Радио-Сити, на живые змеи его неоновых реклам, и неожиданно мне на ум пришел рассказ Эвелин Смит, главная идея которого была такова: «После того как всем стало известно, что атомная бомба была создана не наукой, а магией, из своих потайных укрытий выбрались все колдуны и колдуньи, которые приводили в действие холодильники, посудомоечные машины и городскую телефонную сеть». Потом я почувствовал на щеке дыхание ветра и спросил себя, что это дышало? Я услышал сонное сопение огромного мегаполиса, и на одно ужасное мгновение мне показалось, что вот сейчас город заворочается, откроет глаза и... заговорит.

На углу я сказал Милтону:

— Спасибо, ты немного прочистил мне мозги. Наверное, я в этом нуждался. — Я посмотрел на него. — Но, клянусь Богом, мне бы очень хотелось найти, в чем ты ошибся.

— Я буду только рад, если тебе это удастся, — серьезно ответил он.

Я хлопнул его по плечу.

— Ну вот, так всегда! Всегда ты получаешь все на блюдечке!

Милтон не ответил. Вскоре он остановил такси и укатил, а я пошел дальше один. В эту ночь я еще долго бродил по улицам, не имея никакой особой цели, и думал о множестве вещей. Когда я, наконец, вернулся домой, у меня в спальне зазвонил телефон. Это был Келли.

Пожалуй, я не стану подробно, слово в слово, пересказывать вам весь наш разговор с Келли. Через полчаса после его звонка мы встретились в крошечной гостиной той самой квартирки, которую он снял после того, как Гэл заболел (раньше Гэл жил в другом месте), и проговорили до самого утра. Впрочем, умолчу я только о том, что Келли говорил о брате и что вам и так уже известно: о том, как сильно он привязан к Гэлу, о том, что состояние его безнадежно и что он непременно найдет что или кто в этом виноват, и разберется с ним по-своему. Что ж, даже очень сильный человек имеет право на минутную слабость, которой он может поддаться где пожелает и когда пожелает, и это будет только еще одним доказательством его силы. Но если это случается в угрюмом и безрадостном месте, в котором приходится постоянно поддерживать атмосферу бодрости и оптимизма и где необходимо всхлипывать и вздыхать как можно тише, чтобы не потревожить умирающего в соседней комнате, то рассказывать об этом не очень приятно. Так что какие бы чувства я ни испытывал к Келли теперь, я не стану описывать ни его переживания, ни его чувства, ни то, в какие слова он их облекал. В конце концов, это принадлежит ему и только ему.

Он, впрочем, сообщил мне имя девицы и где ее можно найти, однако я узнал, что он вовсе не считает ее виноватой. Правда, в какой-то момент мне показалось, что кое-какие подозрения у него все же возникли, однако при ближайшем рассмотрении это оказалась просто глубокая уверенность Келли в том, что дело не в болезни и не в каком-либо внутреннем функциональном расстройстве. И тогда я

невольно подумал, что если бы ненависть и бесконечная решимость могли решить эту задачу, Келли сумел бы с ней справиться. Если бы нужны были научная подготовка и логика, то ответ на этот вопрос смог бы найти Милтон. Но они спасовали, значит, проблему должен решить я. Если только смогу...

Она работала гардеробщицей в грязном ночном клубе, расположенном в том отдаленном районе, где Квинс и Бруклин, смыкаясь, по обоюдному согласию принимают название Лонг-Айленда. Завязать знакомство оказалось проще простого: я подал ей свою весеннюю куртку таким образом, чтобы видна была фирменная этикетка на подкладке. Это была очень хорошая этикетка, которая говорила сама за себя. Когда же девица повернулась, чтобы повесить куртку на крючок, я окликнул ее и пьяненьким голосом попросил достать из правого кармана деньги. Она пошарила в кармане куртки и сразу нашла искомое. Это была сотенная.

— У чертова таксиста наверняка нет сдачи, — пробормотал я и схватил деньги прежде чем она оправилась настолько, что оказалась в состоянии продемонстрировать мне фокус с исчезновением банкноты. Не переставая пьяно ухмыляться, я достал бумажник и небрежно затолкал в него смятую сотенную, проделав это настолько неловко, чтобы девица могла заметить внутри еще две банкноты такого же достоинства. Убирая бумажник за пазуху, я специально положил его мимо кармана, и, когда он выпал, повернулся, чтобы идти в зал.

К счастью, я успел вернуться за ним до того, как девица, приподняв на петлях часть перил гардероба, сумела им завладеть. Подобрав бумажник, я улыб-

нулся ей самой глупой улыбкой, на какую был способен.

— Если бы кто-нибудь знал, сколько визиток я потерял подобным образом, — сказал я и, правдоподобно покачиваясь, сфокусировал на ней взгляд.

— Эй, да ты просто чудо!.. — «Чудо» было одним из тех кратких, эмоционально насыщенных слов, которые характеризовали ее лучше всего. — А как нас зовут?..

— Черити*, — сказала она. — Только пусть это не наводит тебя на всякие мысли...

Она была так густо напудрена, что я никак не мог разобрать черт ее лица, зато мне были хорошо видны следы помады на ее бюстгальтере, ибо теперь Черити стояла наклонившись вперед и опираясь локтями о перила гардероба.

— Я еще не выбрал свой любимый вид благотворительности, — пробормотал я. — Ты постоянно здесь работаешь?

— Нет, — кокетливо ответила она. — Время от времени я ухожу домой.

— И во сколько это бывает?

— В час.

— Давай сделаем так, — сказал я заговорщическим тоном. — Встретимся у входа в четверть второго и проверим, кто кого перепьет. О'кей?

Не дожидаясь ответа, я отправился в главный зал, предварительно засунув бумажник в задний карман брюк так, чтобы пиджак зацепился за него фалдой, и она могла его видеть. Пока я шел, я чувст-

---

* Черити — благотворительность, отзывчивость, любовь к ближнему *(англ.)*.

вовал устремленный на бумажник взгляд ее глаз, похожих на блестящие от жира шляпки только что поджаренных грибов, и в результате чуть не потерял его по настоящему, наткнувшись в дверях на старшего официанта.

В четверть второго она была на месте, да я и не сомневался, что она придет. С шеи у нее свисало боа из поредевших желтоватых перьев, каблуки были такими тонкими и острыми, что их можно было забивать в сосновые доски, а руки до самых локтей скрывали блестящие латунные и хромированные браслеты, позвякивавшие при каждом движении.

Когда мы оказались в такси, Черити сразу бросилась на меня, хищно разинув свой ярко-алый ротик. Я никогда не отличался особенно хорошей реакцией, но на сей раз я не сплоховал и так быстро наклонил голову, что она чувствительно врезалась скулой мне в лоб. Черити возмущенно пискнула, но я сказал, что я, кажется, снова уронил бумажник, и она поспешила принять участие в поисках.

Довольно долго мы кочевали по барам и ночным заведениям, которых Черити знала великое множество. В каждом таком месте ей, не задавая лишних вопросов, приносили то херес, то виски, без зазрения совести удваивая стоимость заказов и подавая совершенно фантастические счета, по которым я без малейшего звука расплачивался. В одном баре я оставил официанту восемь долларов на чай, но Черити ухитрилась прикарманить пять из них. В другой забегаловке она вытащила у меня из кармана кожаную записную книжку, приняв ее за бумажник, который к этому времени я для пущей безопасности спрятал в трусах, и все же мне пришлось расстаться с авто-

ручкой и одной эмалевой запонкой со вставкой из горного хрусталя.

Это была настоящая дуэль. Я был по брови нагружен цитратом кофеина и тиамингидрохлоридом, однако изрядная порция алкоголя все же просочилась сквозь эту блокаду, и я держался из последних сил. К счастью, мне удалось довести мою игру до логического завершения. Перекрывая Черити все возможные пути к отступлению, я в конце концов поставил ее в такое положение, что она вынуждена была пригласить меня к себе. Ей просто не оставалось ничего другого, и это привело Черити в ярость, которую она не особенно старалась скрыть.

Помогая и поддерживая друг друга, мы долго поднимались по едва освещенным первыми лучами рассвета ступеням, то и дело пьяно шикая и прикладывая палец к губам. На самом деле мы оба были гораздо трезвее, чем казалось по нашим движениям и жестам, и каждый втихомолку клялся себе не дать другому того, что подразумевала ситуация. Наконец мы достигли нужной двери, и Черити, относительно быстро справившись с замком, распахнула ее передо мной.

Откровенно говоря, я не ожидал, что в квартирке будет так чисто и так холодно.

— Окно открылось! — жалобно воскликнула Черити. Быстро подойдя к окну, она захлопнула створку и поплотнее замотала шею своим боа. — О, как неудачно вышло... — простонала она.

Я тем временем успел оглядеться по сторонам. Это была длинная комната с низким потолком и тремя окнами. В дальнем ее конце, отгороженная подъемными жалюзи, угадывалась кухня. Дверь во внутренней стене вела, очевидно, в ванную.

Черити перешла к кухонным жалюзи и подняла их.

— Сейчас будет теплее, — пообещала она.

Я оглядел открывшуюся моему взгляду кухоньку.

— Как насчет кофе? — спросил я, когда она зажгла небольшую плитку.

— Хорошо, хорошо, — хмуро отозвалась она. — Только говори потише, ладно?

— Ш-ш!.. — Я помахал возле губ пальцем и обошел комнату кругом, мимоходом отметив дешевый проигрыватель с набором пластинок, телевизор с крошечным экранчиком, широкий кожаный диван казенного вида и книжный шкаф, где вместо книг на полках красовались пыльные фарфоровые собачки. Вероятно, понял я, грубовато-примитивные манеры Черити способны были привлечь не так много клиентов, как ей хотелось.

— Эй, мне нужно попудрить нос! — заявил я.

— Ванная вон там, — ответила она. — Ты не можешь потише?

Я прошел в ванную комнату. Она оказалась совсем крошечной. В углу находилась мелкая сидячая ванна, над которой был укреплен металлический обруч с веселенькой пластиковой занавеской, испещренной крупными ярко-алыми розами.

Прикрыв за собой дверь, я осторожно заглянул в аптечку. Ничего необычного здесь не было, и я так же бесшумно ее закрыл, стараясь, чтобы не щелкнул замок. Во встроенном шкафу тоже ничего кроме полотенец не оказалось.

«В комнате, наверное, есть чулан, — подумал я. — Придется проверять все шляпные картонки, чемоданы, сундуки. А где бы я спрятал дьявольскую куклу, если бы хотел напустить на кого-нибудь порчу?»

«Я бы не стал убирать ее далеко», — ответил я себе. Объяснить это я не мог, но я действительно держал бы подобную вещь под рукой, почти на открытом месте.

Машинально я сдвинул в сторону душевую занавеску, потом снова задернул. Ванна была квадратной, а обруч над ней — круглым.

Есть!..

Я снова сдвинул занавеску, собрав ее у внешнего края ванны, и увидел в углу, прямо на уровне глаз, треугольную металлическую полку. На ней стояли четыре грубых фигурки, вылепленных, судя по всему, из глины и пчелиного воска. На головах у трех из них топорщились пряди волос, прилепленные с помощью капелек воска со свечи. Четвертая фигурка была лысой, но зато ее пальцы заканчивались слегка изогнутыми роговыми чешуйками, в которых я признал обрезки ногтей.

Несколько мгновений я в задумчивости рассматривал эту странную выставку. Потом, выбрав лысую куклу, я повернулся к двери, но вовремя остановился. Спустив воду в унитазе, я снял с вешалки полотенце и, развернув, небрежно бросил на край ванны и только потом вернулся в большую комнату.

— Эй, крошка, смотри, что я нашел! — радостно провозгласил я.

— Ты не можешь не орать? — с досадой откликнулась она. — Сколько раз тебе повторять! И положи, пожалуйста, эту штуку на место.

— А все-таки, что это такое?

— Не твое дело, — отрезала она. — Положи на место, я сказала.

Я погрозил ей пальцем.

— Ты обещала быть со мной нежной и ласковой, — проговорил я обиженно.

Черити не без усилия взяла себя в руки и, вооружившись остатками терпения, сказала:

— Это просто... игрушка. Дай-ка ее сюда.

Я отдернул руку.

— Нет, ты все-таки не хочешь быть со мной нежной и ласковой! — С этими словами я запахнул куртку и стал неловко застегивать ее одной рукой, продолжая удерживать куклу вне пределов досягаемости Черити.

Она со вздохом закатила глаза и шагнула ко мне.

— Ну ладно, пупсик, идем пить кофе, и давай не будем ссориться. — Она потянулась к кукле, и мне снова пришлось отдернуть руку.

— Ты должна сказать мне, — надулся я.

— Но это... личное.

— Вот и скажи, чтобы я знал, как ты ко мне относишься.

— Хорошо... — Она снова вздохнула. — Когда-то я снимала квартиру пополам с одной девчонкой, которая умела делать такие куколки. Она говорила, что, если тебе кто-то разонравился или ты с кем-нибудь поссорилась, надо сначала слепить такую куклу, потом взять волосы или обрезки ногтей твоего дружка и... Вот, допустим, тебя зовут Джордж. Кстати, как твое имя?

— Джордж, — быстро сказал я.

— Хорошо. В общем, я называю куклу Джорджем и начинаю втыкать в нее иголки или вязальные спицы. И все. А теперь дай мне ее сюда.

— А это кто?

— Это Эл.

— Гэл?

— Эл. Но Гэл у меня тоже есть, ты его наверняка видел в ванной. Его я ненавижу больше всего.

— Ага, ясно... — пробормотал я. — А что бывает с Элом, Джорджем и прочими, когда ты втыкаешь в них иголки и булавки?

— Считается, что они должны заболеть. И даже умереть.

— А они...?

— Нет, никто из них не заболел, — сказала Черити совершенно искренним тоном. — Говорят тебе, это просто игра, вернее — не совсем игра, но что-то вроде... Если бы это срабатывало, то, можешь мне поверить, старина Эл уже давно бы истек кровью. Но он по-прежнему жив и здоров, хозяйничает в своей кондитерской.

Я молча отдал ей куклу, и Черити посмотрела на нее с сожалением.

— Честно говоря, мне хотелось бы, чтобы колдовство иногда срабатывало. По временам я как будто даже верю в это. Представляешь, я втыкаю в них иглы, и они просто *орут!*

— А ну-ка, представь меня своим друзьям! — потребовал я.

— Что?

— Представь меня Элу, Гэлу и Джорджу, — повторил я, пьяно усмехаясь, и, схватив ее за руку, потащил в ванную. Черити раздраженно фыркнула, но подчинилась.

— Это — Фриц, это — Бруно, а это... А где же еще один?

— Который?

— Может быть, он упал за... — Черити встала коленями на край ванны и заглянула за нее, в узкий

промежуток между ней и стеной. Когда она выпрямилась, ее лицо было пунцовым от усилий и гнева.

— Что тебе от меня надо? — прошипела она. — Прекрати валять дурака, слышишь?

Я только развел руками.

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, хватит... — сказала она сквозь зубы и ловко ощупала сначала мою куртку, потом — пиджак. — Куда ты ее спрятал?

— Кого? — удивился я. — Здесь было только четыре куклы. — Я показал пальцем. — Эл, Фриц, Бруно и Гэл. Кстати, я так и не понял, который из них Гэл? Вон тот, крайний?

— Это Фредди, — отрезала Черити. — Он дал мне двадцатку, а сам вытащил у меня из сумочки двадцать три доллара. Грязная, грязная... Нет, Гэла здесь нет, а ведь он был самым лучшим. Ты точно не врешь, пупсик?

Внезапно она с размаху хлопнула себя по лбу.

— Окно!.. — воскликнула она и выбежала в комнату.

Я опустился на четвереньки, чтобы еще раз заглянуть под ванну, и только тут понял, что имела в виду Черити. В последний раз оглядевшись по сторонам, я вышел вслед за ней. Черити стояла возле открытого окна и, заслонив глаза ладонью, смотрела вниз.

— Кто бы мог подумать! — проговорила она в недоумении. — Кому могла понадобиться эта безделица?..

Я почувствовал, как под ложечкой у меня засосало от предчувствия неудачи.

— Ну и черт с ней, — продолжала Черити. — Я слеплю нового Гэла, хотя, конечно, у меня он вряд ли

выйдет таким уродом. Идем, кофе уже, наверное... Эй, что с тобой, тебе нехорошо?

— Да, мне нехорошо, — ответил я.

— Из всех вещей, которые можно было украсть, — проговорила она уже из кухни, — этот ворюга выбрал именно восковую куклу. Хотела бы я знать, кто бы это мог быть?

Неожиданно я понял, кто это мог быть и, хлопнув кулаком по раскрытой ладони, расхохотался.

— Что с тобой? Ты спятил?

— Да, — ответил я. — У тебя есть телефон?

— Нет. Эй, ты куда?..

— Домой. Прощай, Черити.

— Постой, дорогой, не уходи. Я же только что сварила тебе кофе!

Я распахнул дверь, но она схватила меня за рукав.

— Ты не можешь уйти просто так! Как насчет того, чтобы дать Черити что-нибудь на память?

— Никак. Завтра ты подцепишь нового кавалера и наверстаешь все, что упустила сегодня. Если, конечно, после сегодняшних коктейлей из виски и хереса тебя не замучит похмелье, — бодро ответил я. — И не забудь те пять долларов, которые ты стащила с тарелки для чаевых. На твоем месте я бы в этом кабаке больше не появлялся — по-моему, официант видел, как ты лишила его честно заработанной пятерки.

— Ты не пьян!.. — ахнула она.

— Да и ты не такая уж красавица, — парировал я с ухмылкой и, послав ей воздушный поцелуй, выскользнул за дверь.

Наверное, я еще долго буду помнить ее такой, какой она была в этот момент — ее удивление и обиду,

ее карие глаза, жалобно вытаращенные вслед уплывавшим из рук долларам, даже жалкое и бесполезное движение бедрами, которое она послала мне вслед, как последнюю мольбу.

Вы когда-нибудь пробовали найти телефонный автомат в пять часов утра? Мне пришлось пройти не меньше девяти кварталов, прежде чем я поймал такси. А к тому времени, когда мы с водителем отыскали, наконец, работающий аппарат на одной из ночных бензоколонок, мы уже переехали мост Триборо и оказались в Квинсе.

— Алло? — послышалось в трубке, когда я набрал номер.

— Келли! — радостно завопил я. — Почему ты ничего мне не сказал? Я бы сэкономил не меньше шестидесяти долларов и избавил бы себя от самого сомнительного удовольствия, какое я только...

— Это не Келли, — сказал в трубке голос Милтона. — Гэл только что умер.

Это сообщение застало меня с открытым ртом, и я, наверное, некоторое время оставался в таком положении. Во всяком случае, когда я его закрыл, во рту у меня было холодно и сухо.

— Я сейчас приеду, — пробормотал я.

— Лучше не надо, — ответил Милтон. Голос у него дрожал, и я понял, что ему не вполне удается владеть собой. — Если только ты не хочешь... Нет, лучше не приезжай. Ты все равно ничем не сможешь помочь, а я в ближайшее время буду... очень занят.

— А где Келли? — прошептал я.

— Я не знаю.

— Ну хорошо, — вздохнул я. — Позвони мне, когда освободишься.

Я снова сел в такси и велел везти меня домой. Дороги я не запомнил.

Иногда я думаю, что в то утро Келли мне просто приснился.

Большое количество спиртного, сильное волнение и тридцать часов без сна способны вырубить человека как наркоз, после которого он ничего не помнит. И все же просыпался я неохотно, чувствуя, что этот мир — далеко не самый лучший и не самый счастливый, чтобы спешить к нему возвращаться. Во всяком случае, не сегодня.

Несколько минут я лежал, тупо разглядывая свой книжный шкаф. Потом я закрыл глаза и, перевернувшись на другой бок, зарылся головой в подушку. Когда я снова их открыл, то увидел Келли, который с непринужденной грацией расположился в моем кресле: длинные ноги свободно вытянуты, длинные руки лежат на поручнях, зоркие глаза до половины прикрыты веками.

Я не стал спрашивать, как он попал в квартиру — какой смысл, раз он все равно уже вошел? Я вообще ничего не сказал, ожидая, пока он заговорит сам, ибо мне вовсе не хотелось быть первым, кто сообщит Келли о смерти брата. К тому же я еще не совсем проснулся, так что я просто лежал и смотрел на него.

— Милтон мне сообщил, — сказал Келли. — Я этого ждал, так что все в порядке.

Я кивнул.

— Я прочел твой рассказ, — неожиданно добавил Келли. — Я нашел и другие твои рассказы, и прочел их тоже. У тебя богатое воображение.

Он сунул в рот сигарету, тотчас прилипшую к его нижней губе, и не торопясь прикурил.

— Милт много знает, и до какого-то момента вы оба соображаете очень неплохо. Но потом знания заставляют Милтона отклоняться к северо-западу, а твое воображение уводит тебя на северо-восток...

Некоторое время он молча курил.

— Я способен удерживать прямой курс, — сказал он наконец. — Но, чтобы дойти до цели, мне требуется время.

Я потер глаза.

— Не понимаю, — сказал я. — О чем ты говоришь?

— Неважно, — отозвался Келли. — Я хочу добраться до того, что убило Гэла.

Я закрыл глаза и увидел перед собой смазливое, пустое, злобное личико Черити.

— Я провел с ней большую половину сегодняшней ночи, — сказал я.

— Жаль, что ты не видишь ее сейчас.

— Слушай, Келли, — начал я. — Если ты собираешься ее наказать, то лучше оставь эту затею. Черити, конечно, просто мерзкая маленькая шлюха, но на самом деле она еще ребенок, которому с самого начала не повезло в жизни. Она не убивала Гэла.

— Я знаю, что не убивала, и она мне совершенно безразлична. Но я знаю, *что* убило Гэла, и не остановлюсь ни перед чем. И, насколько мне известно, у меня есть только один путь...

— Ну хорошо, — сказал я, снова роняя голову на подушку. — Что же его убило?

— Милтон рассказал тебе о гаитянской кукле, которую Гэл ей подарил?

— Да, разумеется, рассказывал, но, можешь мне

поверить, это пустой номер. Для того чтобы стать жертвой сглаза или порчи, Гэл сам должен был верить в колдовство.

— Хе-хе, Милтон и мне рассказывал то же самое. Мы проговорили с ним несколько часов.

— Тогда в чем же дело?

— Ты наделен богатым воображением, — повторил Келли спокойно. — Давай повоображаем вместе. Милт рассказывал тебе о людях, которые умирают, даже если выстрелить в них из ружья, заряженного холостыми патронами?

— Нет, но я, кажется, где-то об этом читал. Общая идея, разумеется, та же.

— А теперь вообрази, что все перестрелки или убийства с применением огнестрельного оружия, о которых ты когда либо слышал — все были именно такими, то есть, стрельба велась только холостыми патронами.

— Ну, вообразил. И что дальше?

Но он как будто не слышал меня.

— Представь, что каждый раз, когда кого-нибудь убивают, — сказал Келли, — ты собираешь множество свидетельств, улик, экспертных оценок, которые неопровержимо доказывают, что стреляли именно холостыми и что человек погиб, потому что верил...

— Я понял. Дальше?..

— А теперь давай представим, что в городе появился преступник, чье оружие заряжено настоящими, боевыми патронами. Как ты думаешь, какая для пули разница, кто во что верит?

Я молчал.

— На протяжении долгого времени люди лепили

кукол и пронзали их булавками. Там, где в это верят, это непременно начинается снова. А теперь представь, что кому-то в руки попала кукла, с которой были скопированы все остальные фигурки. *Настоящая кукла.*

Я продолжал лежать неподвижно.

— Тебе вовсе не обязательно знать, что именно у тебя в руках, — неторопливо продолжал Келли. — И не обязательно обладать какими-то особенными способностями. Тебе не надо понимать, как работает эта механика, не надо даже ни во что верить. Все, что тебе нужно, это задать кукле определенное направление и слегка подтолкнуть.

— Как? Как ее подтолкнуть? — шепотом спросил я.

Келли пожал плечами.

— Назвать куклу чьим-нибудь именем. Или ненавидеть ее.

— Господи Иисусе, Кел, ты спятил!.. Откуда ты знаешь? Ведь этого просто не может быть!

— Ты ешь бифштекс, — медленно сказал Келли. — Откуда твой желудок знает, что нужно усвоить, а что — выбросить вон? *Ты* это знаешь?

— Некоторые люди знают.

— Но не ты. И тем не менее твой желудок работает нормально. Существует множество естественных законов, которые действуют вне зависимости от того, понимает ли кто-нибудь механизм их действия или нет. Сколько матросов стоит у штурвала, даже не зная толком, как устроен рулевой механизм? Так и я... Я знаю, куда идти и знаю, что достигну своей цели. Какое мне дело, как это действует, и верит в это кто-нибудь, или нет.

— Хорошо, — согласился я. — И что ты собираешься делать?

— Я должен прикончить то, что прикончило Гэла.

Голос его по-прежнему звучал сонно, почти лениво, но тон его показался мне очень серьезным, и я не решился расспросить Келли поподробнее. Вместо этого я не без раздражения спросил:

— А зачем ты мне все это рассказываешь?

— Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал.

— Что?

— Во-первых, тебе придется некоторое время молчать о том, что я только что тебе говорил. Кроме того, я хочу, чтобы ты сохранил для меня одну вещь.

— Какую? И как долго?

— Я тогда тебе сообщу.

Я, наверное, вскочил бы и как следует на него рявкнул, если бы Келли не выбрал это же самое мгновение, чтобы встать и выйти из спальни.

— Что мне не дает покоя, — сказал он из соседней комнаты, — это мысль о том, мог ли я догадаться об этом полгода назад, или не мог.

Потом я уснул, даже сквозь сон стараясь уловить момент, когда он уйдет. Но Келли двигался тише, чем любой другой человек его габаритов.

Когда я проснулся во второй раз, было уже за полдень. Кукла сидела на каминной полке и злобно смотрела на меня. Такого уродства я не видел еще никогда в жизни.

В следующий раз я встретился с Келли на похоронах Гэла. После похорон мы втроем, включая Милтона, слегка выпили за упокой его души. О куклах никто из нас не говорил. Насколько мне известно, вскоре после этого Келли ушел в рейс — так, во всяком случае, думаешь о моряках, когда они вдруг надолго пропадают. Что касается Милтона, то он

был занят как всякий доктор, то есть — очень, и мне так и не удалось спросить у него, что он обо всем этом думает.

Чудовищную куклу я оставил на каминной полке, где она пролежала неделю или две. И все это время я гадал, когда Келли вернется, чтобы взяться за осуществление своего плана. Мне казалось, что он явится за куклой, как только будет готов. Выполняя свое обещание, я никому не рассказывал о том, что он мне поведал, и когда ко мне пришли какие-то гости, убрал куклу на верхнюю полку стенного шкафа. Там она и осталась, и со временем я стал о ней забывать.

Примерно месяц спустя я заметил, что в комнатах появился какой-то странный запах. Он был еще очень слаб, и мне не удалось сразу определить, что это такое. Я знал только одно: что бы это ни было, запах мне не нравится. В конце концов я определил, что он исходит из стенного шкафа, и вспомнил о кукле.

Встав на цыпочки, я снял ее с верхней полки и понюхал.

Запах действительно исходил от нее, и меня едва не стошнило. Это был тот самый запах, который многие люди тщетно стараются забыть — запах некротического разложения, как определил бы его Милтон, и я едва сдержался, чтобы не отправить куклу в мусоросжигатель. Но обещание — есть обещание, и я положил куклу на стол, где она сразу же повалилась на бок. Ее странная податливость и мягкость были отвратительны. Одна нога оказалась сломана чуть выше колена и выглядела так, словно у куклы было два коленных сустава. Вся она каза-

лась распухшей и не вызывала ничего, кроме омерзения.

Где-то в кладовке у меня хранился высокий стеклянный колпак, которым когда-то накрывали часы. Я отыскал его, положил куклу на кусок мозаичного линолеума и накрыл колпаком, чтобы не сойти с ума от запаха.

Некоторое время я напряженно работал, встречался с людьми (один раз даже пообедал с Милтоном), и дни летели незаметно. И вот как-то вечером мне пришло в голову снова взглянуть на куклу.

Состояние ее было весьма плачевным. Я старался держать колпак в прохладном месте, но кукла продолжала таять и оплывать, растекаясь по линолеуму омерзительной лужей. В первый момент я подумал о том, что скажет мне Келли, но потом проклял и его, и его мстительные планы, и отнес куклу в подвал.

Со дня смерти Гэла прошло почти два месяца, когда я впервые спросил себя, с чего я вообще решил, что Келли должен вернуться за своей кошмарной куклой *до* того, как начнет осуществлять свой замысел. Он сказал, что собирается разделаться с тем, что погубило Гэла, и, насколько я его понял, гаитянский божок и был истинным виновником смерти его брата.

Что ж, он добрался до куклы, и я нисколько об этом не жалел. Однажды я даже принес из подвала часовой колпак и, подставив к лампе, вгляделся в то, что осталось от куклы. В луже на линолеуме еще можно было угадать очертания человеческой фигурки и какие-то не до конца оплывшие куски, но все остальное превратилось в отвратительную, гниющую массу.

— Ай да Келли! — злорадно воскликнул я. — Добей его, дружище!

Потом мне позвонил Милтон и спросил, могу ли я встретиться с ним у Руди. Голос его мне очень не понравился, но я не знал, что могло случиться. За последнее время мы только раз с ним выпили, да и то немного.

Когда я вошел, Милтон сидел в самом дальнем углу и, втягивая то одну, то другую щеку, нервно закусывал их зубами. Губы у него были какими-то серыми, и, поднося к ним стакан, он расплескал его содержимое.

— Что это с тобой? — ахнул я.

Милтон страдальчески сморщился.

— Я знаменит, — сказал он, и я услышал, как стекло звякнуло о его зубы. — Я так часто приглашал к Гэлу консультантов, что теперь меня считают чем-то вроде эксперта по этой... по подобным состояниям.

И Милтон двумя руками поставил стакан на стол. Он явно пытался улыбнуться, и я сказал, что лучше бы он этого не делал. Тогда он бросил насиловать себя и чуть не заплакал.

— Пойми! — почти выкрикнул он. — Я не могу, просто не могу выхаживать еще одного такого больного. Я просто не выдержу!

— Скажешь ты наконец, что случилось? — резко спросил я. Иногда подобные приемы оказываются самыми действенными.

— Д-да... Да. Недавно в отделение общей патологии привезли... еще одного такого больного. Естественно, вызвали меня. Клиническая картина в точности такая же, как у Гэла. *В точности!..* Все дело

только в том, что я не могу снова заниматься этим. Не могу и не хочу! К счастью, через шесть часов она умерла.

— Она?.. Это была женщина?

— Знаешь, что нужно сделать с человеком, чтобы довести его до такого состояния? — спросил Милт, не ответив на мой вопрос. — Нужно туго перевязывать конечности и ждать, пока они не омертвеют и не начнут разлагаться. Нужно сдирать кожу рашпилем, расплющивать ткани дубинкой и втирать в раны грязь, чтобы вызвать заражение. Нужно ломать кости тисками, нужно...

— Ну хорошо, хорошо, но ведь никто не...

— ...И все это нужно было повторять ежедневно на протяжении, наверное, двух месяцев, — закончил Милтон и принялся тереть кулаками глаза. Он проделывал это с таким ожесточением, что я не выдержал и схватил его за запястья.

— Я *знаю,* что никто этого не делал! Разве я сказал, что это — дело человечески рук? — рявкнул Милтон. — Разве Гэла кто-нибудь тронул хоть пальцем?

— Выпей, — сказал я, но он не стал пить. Вместо этого он наклонился вперед и зашептал:

— Каждый раз, когда с ней кто-нибудь заговаривал, она отвечала одно и то же. Например, когда ее спрашивали, что случилось и кто сделал с ней такое, она отвечала только одно: «Он называл меня куколкой». Вот и все, что она говорила: «Он называл меня куколкой»!..

Я встал из-за стола.

— Пока, Милт.

Он ошарашенно поглядел на меня.

— Постой, куда же ты? Не уходи! Ты должен...

— Мне пора идти, — сказал я и вышел не оглядываясь. Мне необходимо было как можно скорее остаться одному, чтобы задать себе несколько вопросов и как следует пораскинуть мозгами.

Кто виноват в убийстве, спрашивал я себя, ружье, или тот, кто спустил курок?Я вспоминал пустое, смазливое, маленькое личико, алчный взгляд карих глаз и слова Келли, который сказал: « Она мне совершенно безразлична».

Потом я подумал, что испытывала кукла, когда Черити ломала, выкручивала, колола ее. Готов спорить, она об этом даже не задумывалась.

Я думал: «Действие: девушка бросает в человека вентилятором. Ответное действие: человек бросает девушку в вентилятор. Проблема: колесо не снимается с оси. Решение: выбить ось».

Это — образ мышления.

Как убить человека? Использовать восковую куклу.

А как убить куклу?..

Кто виноват: ружье, или тот, кто спустил курок?

Он называл меня куколкой.

Он называл меня куколкой.

Он называл меня куколкой...

Когда я вернулся домой, в комнате надрывался телефон.

— Привет...

Это был Келли.

— С ней покончено, — сказал я. — Твоя кукла умерла. И еще, Келли... Знаешь, держись от меня подальше.

— Хорошо, — ответил Келли.

Летающая тарелка одиночества

Если она мертва, со страхом подумал я, мне уже никогда не отыскать ее среди этого половодья серебристо-белого лунного света, заливающего собой и белесое, окаймленное широкой пенной полосой море, и белые, белые дюны песчаного пляжа. Почти всегда самоубийцы, прежде чем прострелить себе сердце или заколоться, тщательно обнажают грудь, и тот же самый необъяснимый инстинкт побуждает собирающихся утопиться раздеться догола, прежде чем войти в воду.

Ах, если бы чуть раньше или чуть позже, размышлял я, и на дюны легли бы тени, а ночной бриз унес прочь проклятую пену прибоя. Теперь же единственной на всем берегу тенью была моя, крошечным пятнышком лежавшая под самыми моими ногами. Она была черной и густой, и напоминала тень дирижабля, парящего высоко над землей и отбрасывающего на песок легкий, бегучий след.

Да, поспеть бы мне раньше, подумалось мне, и я, возможно, увидел бы, как она бредет по серебряному берегу, отыскивая уединенное местечко, чтобы умереть. Чуть попозже, и мои ноги сами отказались бы бежать по вязкому, сводящему с ума песку, который предательски раздается под тобой, как только начинаешь двигаться хоть немного быстрее.

Мои ноги действительно вскоре взбунтовались, и я неожиданно упал на колени, часто, со всхлипом,

---

Пер. изд.: Sturgeon T. A Saucer of Loneliness: в сб. Sturgeon T. E Pluribus Unicorn. — Ballantine Books, 1965.

дыша. Но плакал я не по ней — пока не по ней. Мне просто не хватало воздуха. Вокруг царил настоящий хаос: неистовствовал ветер, водяные брызги летели, казалось, со всех сторон, и в глазах рябило от налагавшихся друг на друга красок и тонов, которые вовсе не были красками, а были лишь оттенками белого, белесого и серебристо-белого. Если бы этот цвет мог превратиться в звук, он прозвучал бы как шорох воды по песку; если бы мои уши обладали зрением, они смогли бы увидеть его.

Я скорчился на песке в самом центре этого водоворота света, и лежал до тех пор, пока на меня не накатилась приливная волна. Сначала она была мелкой и стремительной; коснувшись моих колен, она вскипела и разбилась на тысячу пляшущих на поверхности цветочных лепестков, но уже в следующий момент упругая стена бурлящей воды промочила меня до пояса.

Мне пришлось протереть глаза кулаком, чтобы они снова обрели способность видеть. Соленая морская вода у меня на губах по вкусу напоминала слезы, и казалось, будто эта светлая ночь плачет и кричит в полный голос.

Потом я увидел ее.

Ее белые округлые плечи слегка выдавались над холмами водяной пены. Должно быть, она почувствовала мое присутствие (возможно, я закричал), ибо обернулась и увидела меня, стоящего на коленях на берегу. В следующий миг ее кулачки взлетели к вискам, лицо страшно исказилось, и, издав пронзительный вопль, в котором смешались ярость и отчаяние, она шагнула вперед и с головой ушла под воду.

Вскочив, я сбросил башмаки и ринулся за ней в волны прибоя. Я что-то кричал и беспомощно шарил в воде руками, хватая качавшиеся на волнах серебристые лунные блики, которые превращались у меня под пальцами просто в соленую морскую прохладу. Я преследовал ее по пятам, и в конце концов ее тело, подхваченное волнами, тяжело ударило меня в бок, а налетевший пенный вал хлестнул по лицу и опрокинул нас обоих.

Окунувшись с головой в плотную, густую воду, я невольно ахнул, открыл глаза и, переворачиваясь, увидел, как качнулась куда-то в сторону вытянутая, зеленовато-белая луна. Потом я снова почувствовал под ногами жадный, проваливающийся зыбучий песок, и вдруг понял, что моя рука запуталась в ее всплывающих волосах.

Отступающая волна потащила ее прочь, и на мгновение я ощутил, что ее волосы выскальзывают из моей судорожно сжатой ладони, точно истекающий из свистка пар. В этот миг я был совершенно уверен, что она мертва, но тут она тоже почувствовала дно и, отталкиваясь от него ногами, стала яростно бороться.

Удар пришелся мне по уху. Увесистый, мокрый, смачный, он заставил меня покачнуться от острой боли, пронзившей всю голову. Стараясь вырваться, она ринулась прочь, но моя рука так основательно запуталась в ее волосах, что я не смог бы выпустить ее, даже если бы захотел. Когда налетела следующая волна, она повернулась ко мне и снова пустила в ход кулаки и ногти, одновременно продолжая отступать на глубину.

— Не надо! Прекрати. Я не умею плавать!.. — за-

кричал я, но она снова полоснула меня ногтями по лицу.

— Оставь меня! — взвизгнула она. О, Господи, почему ты не можешь *оставить,* — (сказали ее ногти), — *меня,* — (сказали ее ногти), — *одну!* — (закончил ее маленький твердый кулак).

Я потянул ее за волосы и, крепко прижав ей голову к белеющему плечу, дважды ударил ребром ладони по натянувшейся шее. Она сразу обмякла, ее тело всплыло, подхваченное новой волной, и я сумел вытащить ее на мелководье.

Там я взял ее на руки и отнес туда, где высокий песчаный бархан скрывал нас и от шумливого, широкого, жадно вытягивающегося языка прибоя, и от ветра, проносившегося теперь высоко над нашими головами. Впрочем, в этой уютной ложбинке было так же светло, как везде. Растерев ей запястья, я погладил ее по щеке и сказал: «Все хорошо!», и «Смотри!», и назвал несколько имен, которыми я когда-то называл свой волшебный сон, свою мечту, поселившуюся в моем сердце задолго до того, как я впервые услышал об этой женщине.

Она лежала на песке совершенно неподвижно; только дыхание со свистом вырывалось сквозь стиснутые зубы, да губы слегка кривились в улыбке, которую крепко зажмуренные и запечатанные сетью морщин и кожных складочек глаза делали мучительной. Я знал, что она давно пришла в себя, однако дыхание ее оставалось свистящим и хриплым, а подрагивающие веки оставались крепко сжатыми.

— Зачем ты это сделал? — спросила она наконец и, открыв глаза, посмотрела на меня. В них было столько горя, столько отчаяния, что для страха про-

сто не оставалось места. Потом глаза закрылись, и она тихо сказала:

— Ты ведь знаешь, кто я такая?..

— Да, знаю, — ответил я.

Тогда она зарыдала.

Я терпеливо ждал. Когда рыдания стихли, между песчаными дюнами уже появились тени, и я понял, что она плакала долго.

— Ты не знаешь, кто я, — промолвила она. — И никто не знает.

— Твоя история была в газетах, — ответил я.

— Ах это!.. — Она медленно открыла глаза, и ее взгляд пропутешествовал по моему лицу, по плечам, ненадолго остановился на губах и на краткую долю секунды встретился с моим. Потом она закусила губу и отвернулась.

— Никто не знает, кто я, — повторила она.

Я долго ждал, пока она шевельнется или снова заговорит, и, наконец, не выдержал.

— Тогда скажи мне... — начал я.

— А кто *ты* такой? — спросила она, по-прежнему не глядя на меня.

— Я — один из тех, кто...

— Кто...?

— Не сейчас, — быстро сказал я. — Может быть, позже...

Она неожиданно села и попыталась прикрыть свою наготу.

— Где мое платье?

— Я его не видел.

— Ах да, — спохватилась она. — Я вспомнила. Я сняла платье и туфли и закопала с подветренной сто-

роны дюны, чтобы их как следует засыпало песком. Словно их никогда не существовало... Я ненавижу песок. Мне хотелось утонуть в нем, но он не захотел меня принять...

— И перестань смотреть на меня! — закричала она неожиданно. — Я не желаю, чтобы ты на меня пялился... — Она принялась быстро озираться по сторонам в поисках убежища. — Я не могу оставаться здесь до утра в таком виде! Что мне делать? Куда идти?!

— Сюда, — сказал я.

Она позволила мне помочь ей подняться, потом вырвала руку и замерла, стыдливо отвернувшись.

— Не смей ко мне прикасаться! И вообще — отвяжись от меня, слышишь?

— Иди за мной, — повторил я и зашагал по дюне туда, где за посеребренным луной гребнем, окутанным легким облачком сорванных ветром песчинок, начинался спуск к пляжу.

— Иди сюда, — снова сказал я, указывая ей место за гребнем.

Наконец она послушалась и последовала за мной. Сначала она осторожно выглянула из-за гребня, который закрывал ее до самой груди, потом прошла еще немного, но, когда песчаный холм достиг ее колен, снова остановилась.

— Туда? — уточнила она.

Я кивнул.

— Тут так темно, — боязливо проговорила она и, перешагнув через гребень бархана, вступила в чернильный мрак лунных теней. Я слышал, как она отступает все дальше, — туда, где дюна была выше, — и осторожно ощупывает песок босой ногой. Потом она присела и словно растворилась в темноте. Я то-

же сел на песок, но так, чтобы лунный свет освещал меня.

— Держись от меня подальше! — сердито сказала она из темноты.

Я послушно поднялся и отступил на несколько шагов назад.

— Не уходи! — донеслась из мрака ее тихая мольба.

Я немного подождал и увидел, как из геометрически правильной, четкой тени вынырнула ее белая рука.

— Туда, — сказала она. — Вон туда. Сядь в темноте. Я хочу... Нет, только не подходи. Будь просто голосом — и все.

Я сделал, как она хотела, и сел в тени бархана футах в шести от нее.

И тогда она рассказала мне все. Рассказала так, как все было на самом деле, а не так, как писали об этом газеты.

Когда это случилось, ей было, наверное, не больше семнадцати. Однажды она отправилась погулять в Центральный парк, что в Нью-Йорке. Стояла ранняя весна, но день выдался необычайно теплым, почти жарким, и на изрытых, коричневых склонах праздничнo зеленела легкая пыльца молодой травы — такая же прозрачная, как изморозь, выступившая на камнях после сегодняшних ночных заморозков. Но изморозь давно исчезла, растаяла, и храбрая трава сманила несколько сот пар ног покинуть городской асфальт и бетон, чтобы немного походить по настоящей земле.

Она тоже поддалась этому зову травы и была одной из тех, кто пришел в этот день в парк. Просыпаю-

щаяся, влажная, насыщенная молодой жизнью почва удивила ее так же сильно, как чистый, теплый весенний воздух, и ее ноги очень скоро перестали ощущать надетые на них туфли, тело забыло о платье и легком пальто, и она впитывала новые ощущения голой кожей. И, определенно, это был один из тех редких дней, которые способны заставить коренную горожанку поднять голову, чтобы полюбоваться небом. Именно так она и поступила.

Но когда она запрокинула голову, то прямо над собой увидела летающую тарелку.

Она была прекрасна. Она была золотой, но не блестящей, а матовой, какими бывают недоспелые гроздья Конкорда. Тарелка издавала негромкий звук, похожий на гармонический аккорд, составленный из двух тонов и легкого шуршания, похожего на шорох ветра, проносящегося над полем высокой ржи. Она стригла воздух, как ласточка, то взмывая высоко в небо, то падая чуть не до верхушек деревьев; она описывала круги, и опускаясь, замирала на месте, горя на солнце, словно рыба в кристальночистых струях ручья. Тарелка была очень похожа на живое существо, но кроме естественной грации и красоты в ней угадывалась и выверенная гармония рукотворной машины, форма которой тщательно рассчитана, поверхности отполированы, а сопряжения проверены по самым совершенным лекалам.

Поначалу девушка совсем не удивилась. Летающая тарелка разительно отличалась от всего, что ей доводилось видеть, и она решила, что это не может быть ничем иным, как миражем, обманом зрения, оптической иллюзией, заставляющей ее преувеличивать размеры, скорость и расстояние, и что не

пройдет и нескольких секунд, как странный предмет окажется просто солнечным бликом, самолетом или задержавшимся на сетчатке отблеском сварочной дуги.

Тогда она опустила голову и неожиданно обнаружила, что и другие люди тоже видят тарелку — или по крайней мере видят *что-то,* ибо многие вокруг нее остановились, замолчали и, запрокинув головы, пристально всматривались в небо. Ее саму словно окружала сфера молчаливого изумления, за границами которой смутно угадывался обычный шум большого города — астматического гиганта, который только сипит, но никак не может отдышаться.

Потом она снова посмотрела вверх и постепенно начала понимать, как далеко от нее была летающая тарелка, и какой она была огромной. Нет, наоборот: какой она была маленькой, и как близко было до нее... Своими размерами она едва ли превышала самый большой круг, который девушка могла описать двумя руками, и парила на высоте не более полутора футов над ее головой.

Только тут она почувствовала страх. Машинально отпрянув, она заслонилась локтем, но летающая тарелка просто висела в воздухе. Тогда девушка наклонилась в сторону, отвернулась, потом отскочила и обернулась назад, чтобы посмотреть, удалось ли ей отделаться от летающей тарелки. Сначала она ничего не увидела, но когда подняла глаза повыше, то обнаружила ее прямо над собой. Тарелка, покачиваясь, матово поблескивая боками и негромко гудя, висела над самой ее головой.

От испуга девушка едва не прикусила язык.

Уголком глаза она видела, как какой-то мужчина перекрестился. «Он сделал это, потому что увидел у меня над головой золотое сияние», — подумала она, и это показалось ей самым замечательным, что когда-либо случалось в ее жизни. До сих пор еще ни один человек не смотрел на нее с таким... уважением. Никогда, ни единого разочка. И эта приятная мысль с легкостью просочилась к ней в душу даже сквозь барьеры ужаса, изумления и паники, и затаилась там, чтобы служить ей утешением в минуты крайнего одиночества и отчаяния.

Впрочем, в эту минуту основным чувством, владевшим ею почти безраздельно, был панический страх. Неотрывно глядя вверх, она продолжала пятиться, словно отплясывая какой-то нелепый кекуок*. При этом она совершенно не смотрела по сторонам и, рано или поздно, должна была непременно налететь на кого-то из собравшихся вокруг зевак, которые глядели на происходящее во все глаза, и ахали, и вытягивали шеи, но этого так и не произошло. Когда же она с некоторым недоумением обернулась, то с ужасом увидела, что представляет собой центр толпы, которая, пуча глаза и дружно отступая каждый раз, когда она делала еще один шаг, указывала именно на нее.

Между тем негромкое гудение, издаваемое тарелкой, сделалось глубже и басовитее. Слегка накренившись на бок, она вдруг опустилась еще на дюйм или два ниже. Кто-то испуганно вскрикнул, и любопытные в панике бросились в рассыпную. Отбежав на некоторое расстояние, казавшееся им безопасным,

---

* Кекуок — название танца.

они, однако, снова остановились, образовав вокруг нее новый, более широкий круг, размеры которого определялись шатким равновесием между страхом и давлением множества новых зевак, спешивших к толпе со всех концов парка и мешавшим оказавшимся в первых рядах толпы сделать этот круг еще шире.

А тарелка все гудела, и наклонялась, наклонялась...

Девушка открыла рот, чтобы закричать, но ноги ее неожиданно подкосились и она упала на колени. И тут тарелка совершила резкий бросок.

В какую-то долю секунды она опустилась к самому ее лбу и прижалась к нему. Казалось, тарелка собирается оторвать ее от земли. По-прежнему стоя на коленях, девушка выпрямилась и даже сделала слабую попытку оттолкнуть тарелку от себя, но ее руки вдруг опустились — опустились сами, помимо ее воли — и остановились, немного не доставая до земли.

Секунды полторы тарелка удерживала ее в этом подобии паралича. Потом тело девушки один раз крупно вздрогнуло и обмякло. Она упала навзничь, тяжело и болезненно навалившись задом на собственные каблуки.

Тарелка рухнула на землю рядом с ней; сначала она покатилась вокруг девушки по небольшой дуге, потом загарцевала на ребре и, наконец, остановилась. Тусклая, неподвижная, холодная, она казалась мертвой или по крайней мере пустой.

Чувствуя, как сильно у нее кружится голова, она лежала и смотрела в подернутую серой прозрачной дымкой голубизну погожего весеннего неба. Смутно,

как сквозь слой ваты, до ее слуха доносились далекие свистки.

И какие-то запоздалые крики.

И громкий, дурацкий голос, который твердил над самой ее головой: «Воздуху, дайте ей воздуху!», отчего толпа смыкалась еще теснее.

Потом небо, которое она рассматривала даже с некоторым упоением, вдруг исчезло, заслоненное чьей-то внушительной тушей. Человек, затянутый в голубой с золотыми пуговицами мундир, держал в руках ледериновый блокнотик и бормотал:

— О'кей, о'кей, что случилось? Да разойдитесь, разойдитесь же ради Бога!..

Интересны и разнообразны были расходящиеся кругами по толпе умозаключения, толкования и объяснения происшедшего:

— Оно сбило ее с ног.

— Какой-то парень сбил ее с ног.

— Он сшиб ее на землю.

— Какой-то парень толкнул ее так, что она упала.

— Прямо среди бела дня, у всех на глазах, этот парень...

— Нет, этот парк с каждым днем становится все опаснее...

И так далее, и так далее, до тех пор, пока искаженные факты вовсе не перестали соответствовать действительности, ибо щекочущие нервы эмоции в конечном итоге всегда оказываются важнее истины.

Еще сколько-то времени спустя в круг протолкался еще один персонаж, явно обладавший более крепкими, чем у остальных, плечами. Он тоже держал наготове блокнот, в который то и дело заглядывал, готовясь вычеркнуть «красивую брюнетку» и перепра-

вить ее на «привлекательную» для вечернего выпуска, так как считается, будто эпитет «привлекательная» в своей пошлой затасканности вполне адекватно (и вместе с тем — никого не задевая) отражает внешний вид любой женщины, фигурирующей в качестве жертвы в вечерней сводке новостей.

Блестящая бляха и широкое красное лицо наклонились ниже.

— Как ты себя чувствуешь, сестренка? Ты сильно пострадала?

И по толпе, как эхо, понеслось:

— ...Сильно пострадала, сильно пострадала, пострадала сильно, она искалечена, он избил ее до потери сознания...

Еще один человек, одетый в светло-коричневое габардиновое пальто — с ямочкой на подбородке и тенью щетины на щеках, узкоплечий и целеустремленный, как бурав, — появился из толпы.

— Гм-м, вы говорите — летающая тарелка? О'кей, сержант, я принимаю командование.

— А кто ты, черт возьми, такой, чтобы здесь командовать?..

Сверкнула на солнце коричневая кожа футляра со значком, и какой-то человек, стоявший так близко к габардиновому пальто, что почти упирался ему в плечо подбородком, благоговейно ахнул:

— Это ФБР!..

Эта новость тоже разнеслась по толпе, подобно расходящимся по воде кругам, и полицейский кивнул, причем кивнул не одной головой, а как бы всем своим вдруг заколыхавшимся телом.

— Вызовите помощь и удалите посторонних, — распорядился габардиновый.

— Слушаюсь, *сэр!* — ответил полицейский.

— ФБР, ФБР... — заволновалась толпа, и над девушкой снова появился клочок чистого голубого неба.

Она вдруг села, и ее лицо осветилось радостью.

— Летающая тарелка говорила со мной! — проговорила она певуче.

— Ну-ка, заткнись, — сказал ей габардиновый. — У тебя еще будет возможность поговорить.

— Да, помолчи лучше, сестренка, — поддакнул полисмен. — В этой толпе может быть полным-полно красных...

— И ты тоже заткнись, — оборвал его фэбеэровец.

А кто-то в толпе сказал соседу, что на девчонку напали коммунисты, другие же, напротив, утверждали, что ее избили за то, что она сама была коммунисткой.

Она попыталась подняться, но чьи-то заботливые руки заставили ее снова лечь. К этому времени на место происшествия прибыло уже три десятка полицейских.

— Я могу идти, — сказала она.

— Не волнуйтесь, пожалуйста, вам необходим покой, — ответили ей.

Потом рядом с ней поставили носилки, переложили ее на них и накрыли большой простыней.

— Я могу ходить, — снова повторила она, пока ее несли сквозь толпу.

Какая-то женщина бросила на нее взгляд, побледнела и со стоном отвернулась.

— Боже мой, какой кошмар!

Какой-то средних лет коротышка с круглыми глазами таращился и таращился на нее, и, не переставая, облизывал свои толстые губы.

Подкатила «Скорая».

Ее втиснули внутрь; габардиновый был уже там.

— Как это случилось, мисс? — спросил ее какой-то человек в белом халате с дочиста отмытыми розовыми руками.

— Никаких вопросов, — перебил фэбеэровец. — Государственная тайна.

Потом была больница.

— Мне нужно вернуться на работу, — сказала она.

— Снимите и сдайте вашу одежду, — ответили ей.

Впервые в жизни у нее была отдельная комната, но каждый раз, когда входная дверь открывалась, она видела в коридоре дежурного полицейского. Дверь открывалась часто, и внутрь входили мужчины в гражданских костюмах, которые были вежливы с военными, и военные, которые держались подчеркнуто любезно с некоторыми гражданскими.

Она не понимала, ни что они все делают, ни чего от нее хотят. Каждый день ей задавали четыре миллиона пятьсот тысяч вопросов. По-видимому, все эти люди вообще никогда не разговаривали друг с другом, потому что вопросы были одни и те же:

— Как ваше имя?

— Сколько вам лет?

— В каком году вы родились?

Порой эти вопросы звучали более чем странно:

— Вы говорили, что ваш дядя женился на женщине родом из Центральной Европы. Где находится Центральная Европа?

— В каких клубах или землячествах вы состоите членом?

— Ах, да, как насчет банды «Низкопробные Де-

шевки» с Шестьдесят третьей улицы? Кто стоял за ними *на самом деле?*

И снова они возвращались к происшествию в Центральном парке.

— Что вы имели в виду, когда сказали, что летающая тарелка говорила с вами?

— Только то, что она говорила со мной, — отвечала она.

— И что она вам сказала? — интересовались они.

Но она только отрицательно качала головой.

Некоторые из задававших вопросы свирепо орали на нее, но некоторые были добрыми. Еще никто никогда не был так добр к ней прежде, но вскоре она сообразила, что они вовсе не добры. Они просто хотели, чтобы она успокоилась, расслабилась и начала думать о другом, и тогда они неожиданно выстреливали в нее своим главным вопросом:

— Что вы имели в виду, когда сказали, что тарелка говорила с вами?

Очень скоро она начала чувствовать себя с ними в точности так же, как чувствовала себя в доме матери, в школе и в любом другом месте, поэтому она просто сидела и молчала, пока они орали и грозили ей. Однажды они несколько часов продержали ее на очень жестком стуле, и не давали ей пить, и направляли в глаза нестерпимо яркую лампу, но ей это было нипочем. Дома над дверью ее спальни было застекленное окно, и каждую ночь до самого утра ей в лицо бил яркий свет из кухни, который мать специально оставляла, чтобы девочку не мучили кошмары. Так что эта жалкая лампочка ее нисколько не беспокоила.

В конце концов ее выписали из больницы и от-

правили в тюрьму. В каком-то отношении там было даже лучше. Во-первых, еда. Постель тоже оказалась вполне сносной. Сквозь зарешеченное окно она видела множество женщин, которые каждый день гуляли во внутреннем дворе, и ей объяснили, что у всех у них гораздо более жесткие койки.

— Вы — очень ценная молодая леди.

Сначала она почувствовала себя польщенной, однако скоро ей опять стало ясно, что на самом деле им на нее наплевать. Просто они продолжали обрабатывать ее разными хитрыми способами. В один прекрасный день к ней в камеру даже принесли летающую тарелку, которая лежала в большом деревянном сундуке с висячим замком в петле, внутри которого находился стальной сейф с патентованным автоматическим замком. Сама тарелка вряд ли весила больше пары фунтов, но когда ее упаковали подобным образом, потребовалось двое здоровых мужчин, чтобы нести сундук, и еще четверо вооруженных охранников, чтобы присматривать за ними.

Они заставили ее в точности повторить, как все было, и несколько солдат держали летающую тарелку у нее над головой, только тарелка была уже не та. Кто-то насверлил в ней отверстий и выпилил в разных местах множество крошечных кусочков, к тому же теперь тарелка была мертвого серого цвета. Ее спросили, знает ли она, что случилось, и она впервые ответила им:

— Теперь она пуста, — сказала она.

С самого начала единственным, с кем она была не прочь поговорить, был невысокий человек с округлым животиком. Когда они впервые остались одни, он сказал ей напрямик:

— Я считаю, что с тобой здесь обращаются просто по-свински, но я должен делать свою работу, а моя работа заключается в том, чтобы выяснить, почему ты не хочешь никому рассказывать, что сообщила тебе летающая тарелка. Меня самого это нисколько не интересует. Я не хочу знать, что она тебе сказала, и никогда не буду тебя об этом спрашивать. Я не желаю даже, чтобы ты сказала мне это сама. Давай просто выясним, почему ты держишь это в секрете, о'кей?

Способ, которым он это выяснял, оказался довольно странным. Они часами беседовали о том, как она болела в детстве воспалением легких, о цветочном горшке, который она своими руками сделала во втором классе и который мать разбила о пожарную лестницу, о том, как ее «забывали» забрать из школы, и о ее заветной мечте, а мечтала она о том, как будет держать обеими руками бокал с вином и улыбаться поверх него какому-нибудь красивому молодому мужчине.

Однажды она сказала ему, почему ей не хочется рассказывать о том, что сообщила ей летающая тарелка — сказала теми же словами, какими объясняла это себе.

— Потому что она говорила только *со мной,* и это больше никого не касается.

Она даже рассказала ему о мужчине из парка, который перекрестился, глядя на нее. Это была вторая тайна, которая принадлежала только ей одной.

Мужчина с брюшком действительно был честным человеком. Именно он предупредил ее о суде.

— Я не имею права говорить тебе этого, но тебя собираются судить по всей строгости закона — с прокурором, присяжными и прочим. Но ты не бойся и

говори только то, что тебе хочется — не меньше, но и не больше, ясно? И не позволяй им вывести себя из равновесия. У тебя есть право на свою личную жизнь.

С этими словами он поднялся и, негромко выругавшись, ушел.

Накануне суда к ней пришел какой-то мужчина, который долго говорил с ней о том, что Земля может быть атакована из космоса существами гораздо более развитыми и сильными, чем люди, и что у нее в руках, возможно, находится ключ к спасению всей планеты. Следовательно, заключил он, ее долг — отдать свою тайну людям. Но если даже земля не подвергнется нападению из космоса, добавил он, она должна подумать о том решающем преимуществе, которое она могла бы дать своей стране в борьбе с врагами. Потом он помахал пальцем у нее перед носом и сказал, что ее упрямство может быть классифицировано как *пособничество* врагам родины. В конце концов она узнала, что этот человек будет защищать ее на суде.

Но все обошлось. Присяжные признали ее виновной в неуважении к суду, и судья прочел длиннейший список наказаний, которые он мог бы применить к ней в данном случае. Потом он выбрал одно из них и осудил ее условно, с отсрочкой приговора. После суда ее еще на несколько дней отвезли в тюрьму, а затем выпустили на свободу.

Сначала все складывалось крайне удачно. Она нашла работу в ресторане и сняла недорогую меблированную комнату, так как газеты столько о ней писали, что родная мать просто не пустила ее на порог. Мать давно и сильно пила, и имела обыкновение время от времени ставить на уши весь квартал, однако у

нее были вполне определенные взгляды на то, что значит быть респектабельной. Тот факт, что ее дочь попала в газеты, да еще в связи с обвинениями в шпионаже, плохо сочетался с ее понятиями о приличиях и безупречной репутации, поэтому она приклеила на почтовый ящик внизу кусочек картона со своей девичьей фамилией, а дочери заявила, что жить она здесь больше не будет.

В ресторане она познакомилась с мужчиной, который вскоре пригласил ее на свидание. Это было первое в ее жизни свидание, и она потратила все деньги, что у нее были, на красную лакированную сумочку, отлично сочетавшуюся с ее красными туфлями. Правда, туфли и сумочка были немного разного оттенка, но по крайней мере и то, и другое было красным.

В назначенный день они вместе отправились в кино, но после сеанса новый знакомый не попытался ни поцеловать ее, ни подтвердить свои намерения каким-либо иным способом. Вместо этого он принялся допытываться, что же все-таки сообщила ей летающая тарелка. Но она ничего ему не сказала, а, вернувшись домой, проплакала до утра.

В следующий раз она обратила внимание на то, что двое мужчин, сидевших в одном из полукабинетов, замолкают и хмурятся каждый раз, когда она проходит мимо или направляется в их сторону. Наконец один из них вызвал владельца ресторана, и они долго говорили втроем. Потом хозяин объяснил ей, что эти двое были инженерами-электронщиками, работавшими на правительство, и что они боялись разговаривать о делах, пока она была поблизости, ибо, по их мнению, она вполне могла оказаться шпион-

кой или чем-нибудь похуже. Дело кончилось тем, что ее уволили.

Спустя какое-то время, зайдя в одно дешевое кафе, чтобы перекусить, она увидела свое имя на панели музыкального автомата. Опустив в прорезь пятицентовую монету и нажав нужную кнопку, она услышала развеселую песенку о том, как в один прекрасный день «летающая тарелка спустилась с небес», и с тех пор у нее «под юбкой завелся бес». Было там и еще что-то вроде «что сказала мне тарелка никому не расскажу, приходи ко мне, красавчик, все в натуре покажу», и пока она слушала эту белиберду, один из посетителей забегаловки узнал ее в лицо и назвал по имени. Ей пришлось спасаться бегством, но четверо подвыпивших молодчиков шли за ней до самого дома, где она снимала комнату, и, ложась спать, она придвинула к двери платяной шкаф.

Иногда ей выпадали и спокойные периоды, которые могли продолжаться месяцами, но рано или поздно кто-нибудь снова приглашал ее на свидание. В трех случаях из пяти за ней и ее кавалером следили какие-то люди. Один раз мужчина, с которым она пошла прогуляться в парк, арестовал того, кто следил за ними. Дважды люди, которые следили за ними, арестовывали человека, пригласившего ее на свидание. В пяти случаях из пяти ее кавалеры пытались выведать у нее что-либо о летающей тарелке, и хотя, идя с кем-нибудь в кафе или в кино, она изо всех сил пыталась притвориться, будто это *настоящее* свидание, ей это удавалось плохо.

В конце концов она переехала на побережье и нашла новую работу, заключавшуюся в том, что по

ночам она убирала в магазинах или в конторах. Работы было совсем немного, но для нее это означало только то, что она будет меньше сталкиваться с людьми, способными узнать ее по фотографиям в газетах, ибо шумиха, связанная с происшествием в Центральном парке, никак не могла улечься. Каждые одиннадцать месяцев какой-нибудь ретивый обозреватель с регулярностью часового механизма снова поднимал эту неприятную для нее тему в журнале или воскресном приложении, а если кому-нибудь случалось заметить вдали прожектор или метеозонд, освещенный лучами закатившегося за горизонт солнца, то их сразу объявляли неопознанными летающими объектами, и тогда кто-нибудь не без язвительности вспоминал древнюю историю «летающего блюдечка, которое делится с людьми своими секретами». После каждого такого случая, она старалась пореже выходить на улицу в дневное время.

Однажды ей показалось, что она нашла выход. Люди не хотели с ней знаться, и она начала читать. Некоторое время книг ей вполне хватало, но очень скоро она обнаружила, что большинство романов ничем не лучше фильмов, в которых почему-то рассказывается исключительно о белокурых красотках, которым принадлежит весь мир и которые вертят им,как хотят.

Тогда она попыталась поближе познакомиться с деревьями или животными. Мерзкий маленький бурундучок, запутавшийся в проволочной изгороди, пребольно укусил ее, когда она попыталась его освободить. Из этого она заключила, что даже животные не хотят иметь с ней никаких дел. Деревьям же она была совершенно безразлична.

Именно тогда ей пришла в голову идея с бутылками. Она собрала их столько, сколько сумела найти, положила в каждую по записке и плотно заткнула. С тех пор она часто уходила на много миль вверх или вниз по побережью и, найдя подходящее место, бросала бутылки в воду, стараясь зашвырнуть их как можно дальше от берега. Она верила, что если такая бутылка попадет в руки подходящему человеку, он получит единственную вещь в мире, которая сможет ему помочь.

Затея с бутылками поддерживала ее полных три года. Каждому человеку необходим свой собственный секрет, свое маленькое дело, которое он может делать втайне ото всех. Но в конце концов пришел день, когда она поняла, что продолжать бессмысленно. Можно сколько угодно пытаться помочь кому-то, кто *может быть* существует, однако рано или поздно наступит момент, когда ты уже не в силах будешь лгать себе, что такой человек действительно есть. И тогда все. Конец.

— Ты не замерзла? — спросил я, когда она закончила свой невеселый рассказ. К этому времени шорох прибоя почти затих, а лежащие на песке тени заметно удлинились.

— Нет, — отозвалась она из темноты и внезапно добавила: — Ты, наверное, подумал, что я злюсь на тебя, потому что ты видел меня голой?

— У тебя есть полное право сердиться.

— А знаешь, мне на самом деле все равно. Я просто... То есть, я бы не хотела, чтобы ты увидел меня даже в вечернем платье или в простом рабочем комбинезоне. Мое тело не прикроешь, оно здесь... бо-

лее или менее. Я просто не хотела, чтобы ты видел *меня.*

— Именно я, или любой другой человек?

Она слегка заколебалась.

— Ты.

Я встал и, слегка потянувшись, прошелся туда-сюда по песку, размышляя.

— Разве ФБР не мешало тебе бросать эти бутылки?

— Разумеется, мешало. Страшно подумать, сколько денег честных налогоплательщиков они потратили, чтобы их собрать. Время от времени они все еще устраивают, так сказать, выборочные проверки, однако даже им это начинает надоедать. Ведь в каждой записке — одни и те же слова...

Она рассмеялась, изрядно удивив меня. Я не думал, что она все еще на это способна.

— Чему ты смеешься?

— *Над* чем, вернее — над кем, — поправила она. — Над ними всеми — над судьями, тюремщиками, музыкальными автоматами — над людьми. Ты, наверное, думаешь, что, если бы я с самого начала сказала им всю правду, это избавило бы меня от многих неприятностей? Поверь, это не так.

— Не так?

— Нет. Мне бы просто не поверили. Им нужно было только одно — новое оружие. Сверхзнания сверхнарода из далекой галактики, чтобы, если получится, вышибить дух из этого сверхнарода. А если не получится, то из нашего... Все эти умные головы... — Она фыркнула, но скорее недоуменно, чем насмешливо. — Когда все эти генералы и высокопоставленные чиновники думают о «сверхрасе», они имеют в виду сверхнауку. Неужели никто из них ни

разу не задумался о том, что сверхнарод — это еще и сверхчувства: сверхсмех или, например, суперголод?

Она немного помолчала.

— Почему ты не спрашиваешь, что сказала тарелка? — спросила она неожиданно.

— Я сам тебе скажу, — выпалил я.

«То одиночество, что в нас порой таится,
Другим и в страшном сне не снится.
Его мы рады б разделить,
Как делят воду с тем, кто хочет пить.
Так одинок и я. Так знай же, брат,
Что в бесконечности, где только свет блуждает,
Всегда найдется кто-то, кто себя
Стократ ненужней и слабей считает...»

— Господи Иисусе! — с глубоким и искренним волнением воскликнула она и снова заплакала. — А как... кому оно было адресовано?

— «Самому одинокому»...

— Откуда ты знаешь? — прошептала она.

— Разве не эти строки ты отправляла в своих бутылках?

— Да, — сказала она. — Когда становится невмоготу, когда никому нет до тебя никакого дела, и никто... Тогда ты бросаешь в море бутылку с запиской и чувствуешь, как твое одиночество становится чуточку меньше. И ты сидишь и думаешь о ком-то, кто когда-нибудь, где-нибудь ее подберет. Подберет и впервые узнает, что даже самое страшное можно както понять, объяснить...

Луна клонилась к дюнам, и прибой совсем замолчал. Мы сидели, подняв головы, и смотрели на звезды. Потом она сказала:

— Мы даже не знаем, на что похоже одиночест-

во. Все думали, что летающая тарелка — это тарелка, но на самом деле это была бутылка с запиской. Ей пришлось пересечь самый большой океан — весь космос — и шансы на удачу были ничтожными... Одиночество?.. Нет, мы не знаем настоящего одиночества!

Когда мне показалось, что она достаточно успокоилась, я спросил, почему она решила покончить с собой.

— То, что сказала мне летающая тарелка, — ответила она, — очень помогло мне. И я решила... отплатить тем же. Я чувствовала себя недостойной никакой помощи, но мне необходимо было убедиться в том, что я не настолько плоха, чтобы не иметь права помогать другим. Я никому не нужна? Пусть так. Но знать, что никто, ни один человек в мире не нуждается в моей помощи... Этого я уже не вынесла.

Я глубоко вздохнул.

— Я нашел одну из твоих бутылок два года назад. С тех пор я искал тебя — изучал карты течений, метеосводки и... странствовал. Наконец я услышал о тебе и твоих бутылках. Кто-то сказал мне, что ты больше не пускаешь их по волнам, но часто гуляешь по дюнам ночью. Я сразу понял — почему. И всю дорогу бежал бегом...

Мне потребовался еще один глоток воздуха, чтобы продолжить.

— У меня изуродована нога. Я умею мыслить ясно, но слова, которые я произношу вслух, совсем не те, что звучат в моей голове. Мой нос похож на баклажан! У меня никогда не было женщины. И еще ни разу меня не приняли на работу, где хозяевам

пришлось бы смотреть на меня при дневном свете. А ты ... прекрасна, — закончил я. — Ты — прекрасна!

Она ничего не сказала, но мне показалось, будто от нее исходит свет — гораздо более яркий и чистый, чем отбрасывает искушенная луна. И, кроме всего прочего, это означало, что и одиночество когда-нибудь кончается для тех, кто был одинок целую вечность.

Сокамерник

Здесь первым делом тебя спросят: «Приходилось когда-нибудь сидеть в тюрьме?» Спросят и заржут. Люди любят позубоскалить на эту тему. На самом деле в тюряге довольно паршиво, особенно если тебя замели за то, чего ты не делал. Еще хуже, коли тебя сцапали за дело: чувствуешь себя полным дураком, что попался.

Но самое поганое, это когда попадается такой сокамерник, как Кроули. Тюрьма нужна, чтобы на время упрятывать туда плохих парней, а вовсе не для того, чтобы они там сходили с ума.

Итак, его звали Кроули, но он нисколько не был похож на кролика. Наоборот, у меня от него мурашки по спине бегали. На вид это был парень как парень, загорелый и не слишком высокий. Ноги и руки у него были тонкими, как спички, шея — худой и длинной, но зато он обладал самой большой грудной клеткой, какую мне только приходилось видеть у человека его габаритов. Не знаю, как ему удалось подобрать себе рубаху: возьми он большой размер, и манжеты закрыли бы ему руки, а маленькая просто не сошлась бы на его чудовищной груди.

Нет, честно, я еще никогда не видел ничего подобного! Кроули был из тех типов, которым достаточно выйти на улицу, чтобы все движение сразу остановилось. Он был похож на горбуна, только горб у него был спереди, если вы понимаете, что я хочу ска-

---

Пер. изд.: Sturgeon T.Cellmate: в сб. Sturgeon T. E Pluribus Unicorn. — New York: Ballantine Books, 1965.

зать. И вот такого-то урода я получил в подарок, не отсидев в камере и двух недель. Впрочем, мне вообще везет, как утопленнику. Я из породы людей, которые срывают в скрино* крупный куш, но по пути в кассу падают и ломают шею. Я нахожу на улице стодолларовую купюру, и в первую же облаву меня хватают как фальшивомонетчика. Я получаю в соседи по камере разумных пауков типа Кроули.

Разговаривал он как человек, которому вырвали ногти на ногах, а дышал так, что его просто невозможно было не слышать. Любого нормального человека этот шум мог заставить пожелать, чтобы Кроули перестал дышать, а через некоторое время вы уже начинали испытывать сильнейшее желание *помочь* ему в этом, потому что Кроули не дышал, а свистел, хрюкал, клокотал и сипел.

В камеру его приволокли двое охранников. Обычно для одного заключенного достаточно одного охранника, но их, я думаю, напугала его огромная грудь. В самом деле, кто знает, на что может быть способен человек такого сложения? Но в действительности Кроули был таким слабаком, что, наверное, не смог бы поднять и куска мыла. И, судя по запаху, он действительно никогда этого не делал. Ни один человек в нашей уютной, чистой тюряге не смог бы так зарасти грязью, если бы из принципиальных соображений не отказывался от мытья с тех самых пор, как его пропустили через вошебойку при входе в наше милое заведение.

---

* Скрино — разновидность лото, которая получила широкое распространение во времена Великой депрессии. Розыгрыши тиражей часто показывали в кинотеатрах перед началом сеансов — отсюда название лотереи.

Поэтому я сказал:

— В чем дело, начальник? Я пока не жаловался на одиночество...

— На что охранник мне ответил:

— Закройся, придурок. Этот тип заранее зарезервировал у нас номер и оплатил его авансом.

С этими словами они втолкнули Кроули в камеру.

— Твоя койка наверху, — сказал я и отвернулся к стене. Охранники сразу ушли, и довольно долгое время не происходило ничего интересного.

Потом он начал чесаться. Ничего из ряда вон выходящего в этом, разумеется, не было, если не считать того, что мне еще ни разу не приходилось слышать, чтобы это порождало эхо. Оно рождалось у него внутри, словно его огромная грудная клетка была пустой, как контрабас.

Я повернулся и посмотрел на него. Кроули снял рубаху и ожесточенно скреб свою колоссальную грудь. Поймав мой взгляд, он перестал, и даже сквозь загар я увидел, как он покраснел.

— Что это ты, черт побери, делаешь? — спросил я.

Он ухмыльнулся и покачал головой. У него были крепкие, очень белые зубы, и выглядел он полным идиотом.

— Тогда прекрати, — сказал я.

Между тем время подходило к восьми вечера, и радиоприемник в атриуме под ярусами блоков орал во всю мочь, передавая нескончаемую мыльную оперу о множестве испытаний и несчастий, которые свалились на какую-то мисску, имевшую неосторожность выйти замуж во второй раз. Лично мне эта пьеска не нравилась, но зато ее обожали охранники, так что мы волей-неволей слушали ее каждый вечер. Впрочем, к таким

вещам быстро привыкаешь, а через неделю-другую сам начинаешь невольно следить за всеми перипетиями сюжета, так что я быстренько слез с койки и подошел к решетке послушать. Кроули не двинулся с места. Вот уже минут двадцать он сидел в дальнем углу камеры и молчал, что, впрочем, меня вполне устраивало.

Радиопьеса тянулась и тянулась, и очередная серия закончилась, как обычно, очередным каверзным поворотом в судьбе несчастной героини. Разумеется, нам всем было начхать на нее с высокой колокольни, однако, как и многие другие, завтра я собирался послушать продолжение — хотя бы просто для того, чтобы узнать, будет ли оно таким нудным, как я предвидел. Между тем, было уже 8:45, а свет гасили ровно в девять, поэтому я подошел к своей койке, раскатал одеяло, а сам стал умываться в маленькой раковине возле двери. Без десяти девять я уже был готов давить подушку, и только тут обратил внимание, что Кроули и не думает готовиться ко сну.

Я сказал:

— Ты что, собираешься не спать всю ночь?

Он вздрогнул.

— Я... нет. Просто мне не залезть на эту верхнюю полку.

Я снова оглядел его с ног до головы. Его ноги и руки выглядели как зубочистки и, похоже, неспособны были выдержать и воробья, не говоря уже о том бочонке, который Кроули завел себе вместо грудной клетки. Грудь у него была такой мощной, что казалось, она способна не только пройти насквозь сквозь двадцатифутовую стену, но и протащить за собой все остальное. Впрочем, наверняка знать было нельзя.

— Ты хочешь сказать, что не сможешь взобраться наверх?

Он покачал головой. Я сделал то же самое и улегся.

— И что ты собираешься делать? — поинтересовался я. — Через пару минут сюда придет надзиратель, и если ты не будешь лежать в койке, то окажешься в карцере. Один раз я уже там побывал, и мне здорово не понравилось. И тебе тоже не понравится. Там ты сидишь совершенно один, вокруг темно и воняет. Ни радио, ни кого-то, с кем можно перемолвиться словечком, там нет, так что лучше напрягись и попробуй все-таки взять этот Эверест.

И я отвернулся к стене.

Примерно через минуту Кроули, так и не двинувшись из своего угла, сказал:

— Не стоит и пробовать, все равно ничего не выйдет.

Ничего не происходило до без трех минут девять, когда свет в блоке мигнул в знак предупреждения.

— Черт!.. — воскликнул я и перелез на верхнюю полку, предварительно переместив под матрас своего счастливого костяного слоника. Кроули — не сказав ни единого слова (во всяком случае «спасибо» он не сказал точно), улегся на мое место за секунду до того, как на балконе нашего блока раздались шаги надзирателя. Вскоре свет погасили совсем, и я заснул, гадая, с чего это мне вздумалось оказывать любезность такому очаровашке, как Кроули.

Утром сигнал подъема не разбудил Кроули, и мне пришлось его растолкать. Вообще-то, мне, конечно, следовало оставить его спать. Кто он мне — сват? брат? — чтобы лишать надзирателя удовольствия оп-

рокинуть на него ковш холодной воды или помассировать ему пятки утяжеленной дубинкой? Но, видно, так уж я по-дурацки устроен, что мне всегда жалко бессловесную тварь. Однажды я даже раздробил скулу человеку, который избивал башмаками несчастную дворняжку (кстати, потом она меня же и укусила).

Короче, я спрыгнул с койки (чуть не убился — забыл, что теперь сплю на верхней), и повернулся к Кроули, который высвистывал своими легкими что-то вроде фокстрота для паровой сирены. Я уже протянул руку, чтобы как следует тряхнуть его за плечо, как вдруг увидел такое, что внутри у меня все похолодело, и я на мгновение замер.

У Кроули в груди была дыра. Нет, не от ножа и не от пули, а такая, знаете, аккуратная щель, словно грудь у него была на петлях — точь-в-точь раковина моллюска-разиньки на рыбном рынке. И точно так же, как этот моллюск, она закрывалась у меня на глазах — закрывалась все больше и больше с каждым его богатырским вздохом.

Как-то осенью при мне выловили из реки парня, который утонул еще в начале лета. Это было кошмарное зрелище, но то, что я увидел сейчас, было стократ хуже. Я дрожал как осиновый лист. Я обливался потом. Наконец я вытер верхнюю губу тыльной стороной запястья и, попятившись назад, схватил Кроули за ноги и повернул так, что он скатился с койки на пол.

Падая, он вскрикнул, а я сказал:

— Слышишь этот звонок, кореш? Он означает, что пора вставать. Запомнил?

После этого я пошел и сунул голову под кран, и мне сразу полегчало. Я даже понял, что на минутку

испугался этого типа, но теперь я не чувствовал ничего, кроме раздражения. Кроули мне просто не нравился — только и всего.

Он поднимался с пола целую вечность, поочередно подбирая под себя свои тонкие ноги, едва выдерживавшие его вес. Кроули вообще двигался как человек с пустым желудком и двухсотфунтовым тюком за спиной. Чтобы встать, ему пришлось помогать себе обеими руками; только перебирая ими по стойке нашей двухэтажной кровати, он сумел, наконец, выпрямить свои ноги-макаронины и подняться.

Нет, силы в нем точно было не больше, чем у мышонка. Встав с пола, что для другого было бы раз плюнуть, Кроули минуты две отдувался, сипя и свистя на все лады, потом сел, чтобы натянуть штаны, а ведь чтобы надевать штаны сидя, нужно быть либо тяжело больным, либо ленивым до безобразия.

Я как раз вытирал лицо и наблюдал за ним сквозь тонкое бумажное полотенце.

— Ты, часом, не больной? — спросил я; он поднял голову и сказал, что нет.

— Тогда что с тобой?

— Ничего. Я же сказал тебе еще вчера. Да и какое тебе, собственно, дело?

— Попридержи язык, приятель. Там, откуда я родом, меня прозвали Бешеным. Однажды я оторвал одному типу руку и лупил по голове ее окровавленным концом, пока он не свалился замертво. Он был до странности похож на тебя, Кроули! А все началось с того, что он не извинился, когда толкнул меня в дверях.

Но Кроули воспринял весь этот треп достаточно спокойно. Он просто сидел на койке, смотрел на ме-

ня своими мутными глазами и молчал. От этого я разозлился еще больше.

— Вот что, Кроули, — сказал я. — Ты мне не нравишься. Видишь вон ту трещину в полу. Да-да, вон ту... Так вот, это будет моя половина, а та — твоя. Если залезешь на мою сторону — получишь трепку. Уяснил?

С моей стороны это, конечно, был довольно-таки грязный трюк. На моей половине остались кран с водой и дверь в камеру, к которой Кроули непременно должен был подойти, чтобы получить свою порцию тюремной шамовки. И койка тоже была на моей территории, поэтому Кроули неуклюже поднялся и отошел к окну. Там он остановился и, повернувшись в мою сторону, стал на меня смотреть. При этом он не казался ни рассерженным, ни особенно испуганным; он просто таращился на меня, с виду тихий и послушный, как пес, но на самом деле исполненный терпения и скрытой ненависти, как разжиревшая кошка. Но я только фыркнул и, повернувшись к нему спиной, взялся за решетку, ожидая, пока появится раздатчик с тележкой.

По тюремным правилам, если кто-то не хочет есть, никто его заставлять не будет. Если человек не хочет есть, значит, он просто не подойдет к решетке, когда тележку повезут вдоль камер. Если кто-то болен, он может заявить об этом на десятичасовом медицинском обходе. Но парня, которого перевели на свободный режим и доверили возить тележку с баландой, все это не касается. Он кормит всех, кто протягивает ему сквозь решетку свою миску с ложкой и жестяную кружку.

Пока я дежурил у решетки, Кроули подпирал собой противоположную стенку, и я чувствовал спиной его взгляд. И шарики у меня в башке крутились и крутились, вот только мысли были немного странные. Вот что, к примеру, я думал:

«Ей-богу, мне положена компенсация за то, что я сижу в одной камере с этим шутом гороховым. Да-да, компенсация! Вот здесь у меня два прибора — его и мой. Благодаря этому, я... *Нет, я точно чувствую этот взгляд!* Благодаря этому я смогу получить зараз четыре черносливины, четыре ломтя хлеба и — если повезет — двойную порцию сливового джема, чтобы как следует подсластить мерзкий здешний кофе. Ах, черт меня возьми, ведь завтра же среда, а это значит, что я получу два яйца вместо одного! Да я его просто голодом уморю... если, конечно, раньше его не переведут отсюда к чертовой бабушке. Только пусть этот таракан-переросток дотянет до воскресенья и полюбуется, как я уплетаю две порции мороженого, вместо одной. И пусть попробует вякнуть — я ему шею сверну и под ремень заткну. *Но как он смотрит — словно у него четыре глаза вместо двух!*»

Но вот на балконе показалась тележка с шамовкой, и я просунул между прутьями решетки свой прибор.

Плюх! На одну сторону тарелки кормило бросил ложку овсянки, сваренной на жидком, разведенном водой сгущенном молоке. На вторую сторону он положил два чернослива и картонку с джемом, плеснул в кружку кофе и накрыл ее двумя ломтями хлеба.

Я быстро выставил между прутьями второй прибор. Даже не поглядев в мою сторону, раздатчик на-

полнил и его, и двинулся дальше, а я, пятясь задом, отступил от решетки, держа по прибору в каждой руке. Обернуться я боялся. Позади меня был только один человек, но я ясно чувствовал, что на меня устремлены взгляды *двух* пар глаз. Я даже пролил несколько капель кофе из кружки, что держал в левой руке, и только тут заметил, что меня трясет. Я трясся и стоял, как дурак, лицом к решетке, потому что мне было страшно обернуться!

Но потом я сказал себе — какого черта! Парень не в силах выдернуть морковку из грядки, а у тебя уже очко играет! Поставь жратву на пол и покажи ему, где раки зимуют. Если тебе не нравятся его глаза, сделай так, чтобы они закрылись навсегда — все (тут я сглотнул) *четыре*!

И тут я снова совершил что-то совершенно непонятное. Я подошел к Кроули и со словами «на, возьми» протянул ему его прибор. Кроме того, я зачем-то переложил в его тарелку несколько ложек своей каши. Я разрешил ему сесть на койку и поесть, и научил, как подсластить кофе с помощью джема. Почему я это сделал — не знаю. Я даже ни разу не напомнил ему о границе, которую сам же установил. А Кроули по-прежнему молчал — даже не сказал мне чертово «спасибо»!

Я позавтракал и вымыл свою миску еще до того, как он дошел до половины. Ел он страшно медленно, а жевал будто за двоих. (Наверное, в глубине души я уже тогда подозревал, что Кроули — это не один человек, а по крайней мере — полтора.) Закончив есть, Кроули поставил свою миску на пол рядом с койкой и уставился на меня. Потом вдруг встал и опять отошел к окну. Мне очень хотелось сказать ему

что-нибудь по этому поводу, но я решил оставить парня в покое.

Но снаружи было пасмурно, шел дождь, и я почувствовал, как настроение у меня падает. В ясный день, часов около двух, нас всегда выводили во двор на часовую прогулку; в непогоду же приходилось гулять в атриуме под балконами, и не час, а всего тридцать минут. Никаких других развлечений режимом предусмотрено не было. Правда, тот, у кого водились деньжата, мог позволить себе покупать в тюремной лавке конфеты, курево или журналы с картинками, но у большинства денег не было или почти не было. Лично у меня оставалось всего двадцать центов, и я всячески себя ограничивал, стараясь растянуть их, чтобы хватило подольше. На свободе у меня не осталось никого, кто мог бы ссудить меня наличностью. К счастью, мне припаяли всего два месяца тюрьмы за один незначительный проступок, о котором и говорить-то не стоит, и при известной экономии этих двадцати центов мне должно было хватить на курево до самого конца.

Как бы там ни было, в дождливые дни у нас можно просто подохнуть со скуки. От нечего делать начинаешь то так, то эдак перекладывать одеяло на койке, стараясь застелить ее покрасивее. Когда это надоедает, можно попытаться найти какую-нибудь интересную тему, чтобы потрепаться с сокамерником. Есть и еще один способ убить время. Обычно, если твоя камера выглядит более или менее нормально, тебе никто слова не скажет, но в нашем блоке — да и во всей тюрьме — камеры так и сияют чистотой, полы отдраенны до белизны, а все хромированные части — краны там, или спинки кроватей — сверкают

так, что глазам больно, потому что никаких иных занятий, кроме уборки, все равно нет.

И вот, после того как я битых полтора часа тупо сидел на койке, курил (выкурил я даже больше, чем мог себе позволить) и ломал башку над тем, что бы еще придумать новенького, я так осатанел, что схватил ведерко с водой, щетку и принялся драить пол.

Идея, пришедшая мне в голову, была проста, как все гениальное. Я решил вымыть ровно половину камеры, зная, что, когда в десять тридцать дежурный надзиратель придет проверять санитарное состояние помещений, невымытая половина непременно покажется ему грязной по сравнению с тем участком, который я чуть не языком вылизал. И, по моим расчетам, этого — да еще грязной миски на полу — должно было быть вполне достаточно, чтобы Кроули получил серьезный втык. За себя я не боялся — все надзиратели уже давно знали, какой я чистюля.

Я был почти счастлив, что мне в голову пришла эта светлая мысль, и, не щадя коленей, усердно ползал на карачках, налегая на щетку всем своим весом. Дойдя до середины камеры, я поменял воду и начал сначала, но возле грязной тарелки Кроули остановился. Подняв посудину с пола, я тщательно вымыл ее и убрал. Кроули тем временем перешел на чистую половину камеры, и я продолжил работу с еще большим воодушевлением.

Когда я закончил, пол выглядел идеально. Весь. И не спрашивайте почему...

Убрав щетку и ведро, я присел передохнуть. Сначала я пытался убедить себя в том, что должен испытывать удовлетворение, оттого что утер нос этому

ленивому уроду, но очень скоро понял, что никакого удовлетворения я не чувствую. Скорее наоборот. Кроули использовал меня, сделал из меня мальчика на побегушках... Да как он посмел?!

Я поднял голову и посмотрел на него с угрозой, но Кроули молчал, и я остался сидеть. Черт с ним, в конце-то концов! Я просто не буду с ним разговаривать, и это будет моя маленькая месть. Пусть этот бесполезный ублюдок сгниет заживо, если ему так хочется — ни словечка ему не скажу!

Некоторое время спустя я спросил:

— Ты на чем подзалетел?

Кроули вопросительно поднял на меня взгляд.

— За что тебя загребли? — повторил я.

— За бродяжничество.

— За «без средств к существованию», или за «без определенного места жительства»?

— «Без средств».

— И сколько тебе припаяло пугало в черном?

— Я еще не представал перед судьей и не знаю, сколько за это дают.

— Значит, ты ждешь суда?

— Да. Заседание назначено на пятницу, но я должен выйти отсюда раньше.

Я рассмеялся.

— У тебя есть адвокат? Сколько ты ему платишь?

Но Кроули только покачал головой.

— Послушай, — попытался я ему втолковать. — Ведь ты попал сюда не по жалобе физического лица — округ тебя засадил, округ и будет судить, так что на отзыв обвинения рассчитывать нечего. Какой назначили залог?

— Три сотни.

— У тебя есть три сотни? — уточнил я, и он снова покачал головой.

— Можешь ты достать эти деньги?

— Нет. Никак не могу.

— Ну вот... А говоришь, «должен выйти»!..

— И выйду.

— Выйдешь, только никак не раньше пятницы, а много позже.

— Ф-фу! — Он с такой силой выдохнул воздух, что мне показалось, будто по камере пронесся маленький смерч. — Выйду. До пятницы. Держись рядом со мной, и увидишь...

Я посмотрел на него — на его тонюсенькие ручки и ножки.

— За все сорок два года, что стоит эта тюрьма, отсюда еще никто никогда не убегал. Во мне шесть футов три дюйма, я выжимаю на силомере двести двадцать фунтов, и то я бы не стал пытаться. Сам посуди, какие шансы у тебя...

Но он только снова сказал:

— Держись рядом, и увидишь.

Некоторое время я сидел, раздумывая об услышанном, и мне не верилось, что он это серьезно. Парень едва мог подняться с пола без посторонней помощи; удар у него, наверное, был не сильнее, чем у клопа, а мужества — и того меньше, и все же он собирался рвать когти из нашего милого заведения с его двадцатифутовыми каменными стенами и решетками из закаленной стали. Ну разумеется, я буду держаться поблизости!

— А ты и правда такой тупой, как кажешься? — заметил я. — Во-первых, даже думать о том, чтобы вырваться из нашей бастилии — идиотство. А во-вто-

рых, идиотство линять отсюда не дожидаясь суда, который ничем тебе не грозит. Ну получишь ты свой срок — не больше двух месяцев, кстати, — зато выйдешь отсюда чистеньким.

— Ты не понимаешь, — ответил Кроули, и в его глухом, стонущем голосе мне почудилось странное напряжение. — Я же сказал, что еще только жду суда! Меня не фотографировали, не брали отпечатков пальцев и не осматривали. Если меня приговорят, — а меня обязательно приговорят, если я только предстану перед судом — мне придется пройти медосмотр, а любой врач, даже тюремный коновал, непременно настоит на рентгене, как только увидит это...

Кроули постучал по своей огромной грудной клетке.

— Достаточно им увидеть мои снимки, и мне уже никогда не вырваться...

— А что у тебя за болезнь?

— Это не болезнь. Просто я так... устроен.

— Как — так?

— А так... Не хуже твоего! — неожиданно огрызнулся он, и я заткнулся. Я и правда понял, что лезу не в свое дело, а кроме того, меня потрясла длиннейшая речуга, которую старина Кроули только что задвинул. Я и не знал, что он может говорить так много.

Потом был обед, и Кроули снова получил свою пайку, и опять — с персональной добавкой. Я и сам не понял, с чего это мне вздумалось его подкармливать. Кроули, во всяком случае, ни о чем таком меня не просил. Казалось, его вообще ничто не колышет, хотя любой, кто дожидается суда, должен немного волноваться. Тот, кто задумал побег, должен мандражировать, как цуцик, но не Кроули. Кроули был спо-

коен, как слон. Он просто тупо сидел на койке и ждал, зато я волновался за двоих.

В два часа лязгнули замки на двери, и я сказал:

— Идем, Кроули, разомнем ноги. Если у тебя есть бабки, можешь купить в лавке книжку или курево.

— Мне и здесь хорошо, — отозвался Кроули. — Кроме того, у меня нет денег. А в лавке продают конфеты?

— Да.

— А у тебя есть деньги?

— Угу. Двадцать центов, но их должно хватить мне на табак на оставшиеся недели. При условии, конечно, что я буду выкуривать не больше двух-трех самокруток в день. У меня нет ни одного лишнего цента, ни для чего... и ни для кого.

— К чертям табак. Принеси четыре шоколадных батончика: два с зефиром, один с кокосом и один — со сливочной помадкой.

Я только расхохотался ему в лицо и вышел, думая о том, что на этот раз у меня будет для парней забавная история, которая поможет им справиться с хандрой. Но, как ни удивительно, мне не удалось рассказать о Кроули ни одному человеку. Объяснить это я не могу. Только я заговорил с одним из ребят, как его подозвал охранник. Не успел я поздороваться с другим, как он велел мне засохнуть — как я понял, у него было паршивое настроение и ему было не до меня. Один раз я почти начал говорить, да и парень был склонен меня выслушать (это был наш местный стукач), но как только я сказал: «Ты обязательно должен послушать, что за птичку фараоны подсунули ко мне в клетку», — как прозвенел звонок, означавший, что пора возвращаться

по камерам, и я едва успел заскочить в лавку, прежде чем продавец опустил жалюзи. Вернувшись на свой ярус, я вручил Кроули его шоколадные батончики, и он спокойно взял их, не сказав ни «да», ни «нет», ни «до свиданья», ни «спасибо».

За несколько часов, что прошли до отбоя, мы едва ли обменялись двумя словами. Лишь один раз Кроули спросил меня, как сделать так, чтобы одно одеяло грело как два. Я показал. Потом я запрыгнул на свою верхнюю койку и сказал:

— Постарайся спать сегодня ночью, о'кей?

— А в чем дело? — спросил Кроули.

— Ты разговариваешь сам с собой во сне.

— Я не разговаривал сам с собой! — возмутился он.

— Не знаю, с кем ты там разговаривал, кореш, но это точно был не я.

— Я разговаривал с моим... братом, — сказал Кроули и засмеялся.

Боже, что это был за смех! Его как будто клещами из него вытаскивали, и он хрипел, и визжал, и закатывался все сильнее и сильнее. И никак не мог остановиться. На мгновение мне даже показалось, что это никакой не смех, и что у Кроули — какой-нибудь припадок, и я свесился с койки, чтобы посмотреть, в чем дело. Лицо Кроули было бледным и напряженным, глаза зажмурены, но самое главное — его рот был закрыт! Я отчетливо видел, что губы его не просто сомкнуты, они были сжаты, но, черт побери, он продолжал смеяться *с закрытым ртом*! Этот смех шел у него откуда-то изнутри, из его чертовой груди, и я готов поклясться, что ничего подобного я никогда прежде не слышал.

Я просто не мог выносить этот хохот. Я был уве-

рен, что, если Кроули сей секунд не прекратит покатываться, я просто перестану дышать, или мое сердце перестанет биться. Казалось, сама жизнь выходит из меня через поры на коже и превращается в крупные капли пота.

А жуткий смех становился все более высоким и пронзительным, оставаясь при этом таким же громким. И все же каким-то образом я понял, что слышим его только мы с Кроули, и никто больше. Скоро он сделался таким высоким, что я перестал его слышать, но я все равно знал, что он продолжает звучать, и знал, когда он оборвался. Зубы у меня ныли — с такой силой я их стискивал все это время. Потом я отключился, и мой обморок, видимо, перешел в сон; во всяком случае я не помню ни как погас в девять часов свет, ни как надзиратели проверяли, все ли заключенные лежат по своим койкам.

Мне не раз случалось бывать в жестоких переделках, и я хорошо знаю, как чувствует себя человек после нокаута. Когда я очнулся после своего странного обморока, все было по другому, так что я, наверное, действительно немного поспал. Как бы там ни было, когда я открыл глаза, было часа три-четыре, и рассветом еще даже не пахло. В окно я видел тощенький серпик луны, которая болталась над старыми стенами тюрьмы и указывала белесым пальцем на нас — на меня и на Кроули.

Несколько минут я не двигался. Потом до меня донесся какой-то тихий звук. Кроули с кем-то разговаривал. И этот кто-то ему отвечал!

Кроули говорил что-то насчет денег.

— Нам просто необходимо раздобыть денег, Баб. Черт, ну и положеньице!.. Мы-то думали, они нам не

понадобятся, потому что мы и так могли получить все, что нам нужно, а теперь видишь, что получилось? Этот коп привязался к нам просто потому, что я мало похож на победителя конкурса красоты, а в результате мы оказались здесь. И теперь нам надо как-то отсюда выбираться. Да, я знаю, мы сумеем сделать это, но деньги нам все равно понадобятся, чтобы впредь подобное не повторялось. Ты ведь сможешь что-нибудь придумать, правда, Баб?

Потом я услышал ответ. Это был тот же скрипучий, визгливый голос, который несколько часов назад так жутко смеялся, и он не принадлежал Кроули — в этом я готов был поклясться.

Но ведь этого не могло быть! Одна камера — два заключенных, одна койка — один человек — этот закон я очень хорошо знал, и все же я ясно слышал разговор двух человек, хотя сам не произносил ни слова! Ей-богу, от всего этого мои мозги начинали подпрыгивать и шкворчать словно яичница в большом количестве раскаленного масла.

— О, конечно! — визгнул внизу чужой голос. — Деньги можно достать без проблем. Надо только действовать с головой, а не так, как мы, Кроули, хи-хи-хи!

Тут они захихикали, а мне показалось, что кровь замерзает у меня в жилах. Я не смел даже пальцем пошевельнуть из боязни, что мои вены лопнут, как стеклянные. Между тем голос продолжал:

— Кстати, насчет побега... Ты знаешь, как именно мы должны действовать?

— Да, — отозвался Кроули. — Эх, Баб, что бы я без тебя делал! Что за башка у тебя, что за мозги!..

— Без меня ты пропадешь ни за понюх табаку, —

ответил голос. — Ги-ги-ги! И не вздумай даже пытаться от меня отделаться — увидишь, что будет!»

Я глубоко вздохнул и, бесшумно приподнявшись, свесил голову вниз, стараясь разглядеть, что творится на нижней койке.

Ничего подобного я в жизни не видел! И еще никогда не испытывал такого потрясения и такого страха. После этого меня смело можно было списывать в расход, потому что каждый человек живет на земле ради одной единственной минуты, порой — ради одного мига. Как, например, тот старенький доктор, который выкинул в пикете квинту*. Ничего подобного он никогда раньше не делал, и никогда ничего подобного с ним больше не случалось, но с этого момента он был конченым человеком.

Или взять детектива из книжки, который расследует преступление. Там тоже все завязано на одном: кто преступник? И как только фараон это узнает — все. Книгу можно хоть выбросить.

Так и я... Со мной было кончено в тот самый момент, когда я увидел брата Кроули. Это была кульминация моей жизни.

Да, это был его брат. Они были близнецами наподобие сиамских, только один из них был большим, а другой — маленьким, как младенец. Я видел только его голову и хилый торс, потому что он рос прямо из огромной груди Кроули, словно специально созданной для того, чтобы малыш прятался внутри. Она охватывала его со всех сторон, открываясь и закрываясь наподобие сундука или раковины моллюска. О, Боже!..

---

* Квинта — секвенс из пяти карт одной масти *(карточн.)*.

Я, кажется, сказал, что он был похож на младенца? Я имел в виду только размеры, кроме которых в нем не было от ребенка абсолютно ничего. Голова Кроули-младшего поросла густой курчавой щетиной; лицо было длинным и худым, с тяжелыми, гладкими веками; кожа казалась очень темной, а в уголках рта торчали маленькие, изогнутые клыки — два сверху, два снизу. Уши у него были слегка заостренными, хотя это могло мне просто показаться.

Но самое главное — эта тварь обладала собственным разумом и была порочной до мозга костей. Я имею в виду — по-настоящему порочной. Передо мной был преступный мозг Кроули, в то время как сам он был для этой твари просто вьючной лошадкой. Кроули переносил это маленькое чудовище с места на место и делал все, что бы оно ни захотело. Он безоговорочно подчинялся этому своему, с позволения сказать, брату, и не только он. Эта тварь способна была подчинить своей воле *кого угодно*! Например — меня. Мои табачные деньги, мытье полов в камере, моя забота о том, чтобы Кроули как следует питался, — все это сделал его маленький близнец, не я. Я был здесь совершенно ни при чем. Еще никто никогда не помыкал мною с такой легкостью!

Потом тварь увидела меня. Запрокинув назад свою уродливую голову, она визгливо расхохоталась, указала на меня своей высохшей, как у старика, лапкой и пропищала:

— Эй ты! Спать! *Живо*!..

И я починился.

Я и сам не знаю, как все произошло. Бог свидетель — я совершенно не помню, что я делал с этой минуты и до двух часов дня. Если бы я проспал подъ-

ем, надзиратели мигом сволокли бы меня в карцер, но я не спал — я просто ничего не помню. Должно быть, братья Кроули как-то меня загипнотизировали или одурманили. Как бы там ни было, я не только встал по сигналу побудки, но сумел одеться и даже умыться. Наверняка я позавтракал и, готов спорить, что и в этот раз Кроули не пришлось мыть за собой посуду.

Первое, что я помню, это щелчок замка на двери камеры. Я стоял прямо перед ней, а Кроули подошел сзади, так что спиной я чувствовал взгляд всех его четырех глаз.

Потом он сказал:

— Ну, что стоишь? Выходи...

— Ты что-то со мной сделал, — ответил я. — Что?..

— Вперед.

Это было все, что он сказал.

Мы вместе вышли из камеры, прошли по балкону и спустились по двум железным лестницам на площадку первого этажа. Не успели мы пройти и десяти шагов, как Кроули шепнул:

— Действуй!..

Я был словно начинен зарядом сильнейшего взрывчатого вещества. Порох был насыпан на полку, капсюль — вставлен, и, когда меня ужалил боек его голоса, я взорвался. Передо мной были двое охранников. Я схватил их за шеи и так стукнул головами друг об друга, что их черепа вмялись, как картонные. Потом я заорал и, круто развернувшись, ринулся обратно по лестнице, то вопя, то хохоча.

Заключенные бросились врассыпную. На первой площадке на меня прыгнул охранник, но я схватил его поперек пояса и, вскинув на плечо, понесся дальше.

Позади меня раздался выстрел, другой. Две пули с чавканьем впились в тело охранника, который висел у меня на плече. Он вскрикнул и схватился за перила, но я рванулся и услышал, как хрустнуло его запястье. В следующий момент тело обмякло, и я швырнул его через ограждение, угодив в другого охранника, который целился в меня снизу.

От неожиданности охранник выпалил почти наугад, и пуля, срикошетировав от железных ступенек, угодила в рот одному из заключенных второго яруса. Как он вопил!.. Но я кричал гораздо громче.

В три прыжка я добрался до третьего яруса и принялся кругами носиться по балкону, гримасничая, хихикая и бормоча какую-то бессмыслицу. Потом остановился, перелез через ограждение и уселся на перилах, беспечно болтая ногами над пустотой.

Двое надзирателей открыли по мне ураганный огонь, но стреляли они паршиво, поскольку из двенадцати пуль в меня попали только три. Меня это так возмутило, что я встал на нижнюю перекладину ограждения, уперся коленями в верхнюю и, размахивая освободившимися руками, принялся выкрикивать оскорбления, которые вылетали из моего рта вместе с кровью.

Между тем надзиратели, сгонявшие оказавшихся на нижних ярусах заключенных в камеры — по шесть-восемь человек в каждую, неожиданно расступились, словно придворные, уступая дорогу его величеству человеку с автоматом.

И его автомат спел для меня. Это была серенада для одинокого титана на балконе — серенада, исполненная седым менестрелем на волшебной дудочке, певшей удивительно глубоким и проникновенным

голосом. И я не смог устоять перед этой чарующей музыкой и поспешил ей навстречу, то переворачиваясь в воздухе, то громко хохоча, то кашляя, то рыдая на лету.

Вы ведь все смотрели только на меня, плоскостопые болваны? Вы схватили свои пистолетики и бросились ко мне от всех дверей, из всех комнат, из всех кабинетов и казарм? И, конечно, вы оставили двери открытыми, не так ли?..

Теперь Кроули на свободе. Он торопиться не станет. Кроули умеет подчинять себе людей, где бы ни находился. Он всегда найдет себе других помощников — таких, как я.

Взгляните на меня... Я выполнил за него всю работу. Я чуть не погиб из-за него, а Кроули даже не сказал мне «спасибо»...

Быстрый, как молния, гладкий, как шелк...

Возле Соленых Топей стоит одна деревушка, а в ней есть Большой Дом. В Большом Доме жил богатый сквайр, который владел землями и сокровищами, а кроме них у него была дочь по имени Рита.

А в самой деревне жил некто Дел, и, когда он пил в деревенской таверне, его голос гремел подобно грому. Тело у него было сильным и жилистым, словно обвитым канатами; кожа — золотистой, а светлые волосы так сверкали, что их блеску могло позавидовать и солнце.

Болотная вода Топей была ржавой и противной на вкус, но в самом сердце трясины пряталось озеро чистейшей воды, заслоненное плакучими ивами и осинами — озеро с берегами из мха чудесного голубого оттенка. Здесь росла мандрагора, и в середине лета из земли доносились странные писки. Но никто никогда их не слышал — никто, кроме одной девушки, чья красота еще не расцвела и была совсем не заметна. Девушку звали Барбара.

И вот, как-то раз, когда на землю пали зеленоватые вечерние сумерки — такие тихие, что на деревьях не шевелился ни один листок, — Дел, возвращавшийся домой своей обычной дорогой — по аллее, что вела вдоль ограды усадьбы сквайра, вдруг увидел, что за оградой, набранной из высоких железных пик, медленно движется какая-то белая

Пер. изд.: The Silken-Swift: в сб.: Sturgeon T. E Pluribus Unicorn. — New York: Ballantine Books, 1965.

тень. Он остановился; тень приблизилась и обернулась Ритой.

— Подойди к воротам, — сказала она. — Я тебе открою.

Ее светлое платье было похоже на облако, а на голове блистал серебряный обруч. В волосах Риты словно запутался ночной мрак; лицо светилось в темноте, точно озаренное луной, а в глазах утонула тайна.

— Но у меня нет к сквайру никакого дела, — возразил Дел.

— Отца нет, — ответила Рита. — А слуг я отослала. Подойди же к воротам...

— Мне не нужны ворота. — С этими словами Дел легко подпрыгнул, схватился за верхнюю перекладину решетки, подтянулся и одним движением перебросил свое тело через острые пики. В следующее мгновение он уже стоял рядом с ней.

Рита посмотрела на его руки: на одну, на другую, и перевела взгляд на его волосы. Потом она крепко сжала свои маленькие, изящные кисти и издала короткий, тихий смешок. А секунду спустя она уже шла прочь между аккуратно подстриженными деревцами сада — шла легко, быстро, не оглядываясь назад, и Дел, сам не зная зачем, последовал за ней. Каждый его шаг равнялся трем ее шагам, но, когда он поравнялся с Ритой, его сердце стучало громко и часто, а на шее вздувались толстые жилы.

Так они пересекли газон и поднялись на широкую мраморную террасу. Дел сразу увидел открытую дверь, но, войдя в нее, остановился в нерешительности, ибо Риты нигде не было. Потом он услышал, как позади него с негромким щелчком закрылась дверь, и стремительно обернулся.

Рита была там. Она стояла, прижавшись спиной к деревянной облицовке стены, и, подняв голову, насмешливо улыбалась ему в полутьме. Дел думал, что сейчас она бросится в его объятия, но Рита, не отрывая глаз от его лица, скользнула мимо, пройдя так близко, что он почувствовал исходящий от нее запах фиалок и сандала.

Он послушно пошел за ней и оказался в просторной гостиной — совершенно темной, но полной неярких бликов от полированного дерева, финифти, выделанной кожи и вышитых золотом гобеленов. Там Рита распахнула еще одну дверь, ведущую в другую, меньшую комнату, где пол был застлан толстым розовым ковром, а на столе в центре горели свечи. Стол был накрыт на двоих; перед каждым прибором стояло пять бокалов из драгоценного хрусталя и поблескивало массивное столовое серебро — такой же признак роскоши, как и ограда из железных пик вокруг усадьбы. К овальному окну в стене вели шесть ступеней из полированного тика.

— Здесь, — сказала Рита, указывая на окно, — взойдет для нас луна.

Потом она знаком велела Делу сесть в кресло, а сама подошла к буфету, где выстроились в ряд графины с вином: с красным, как рубин, и с белым; со странного вида игристым напитком, пузырьки в котором были почти коричневыми; с розовым и с янтарно-желтым. Взяв первый из них, Рита налила вино в бокалы, потом подняла крышки со стоявших на столе блюд, и в тот же миг воздух наполнился дивными, чарующими ароматами. Здесь были горячие сладости, маринады, редкие морские лакомства, нарезанная ломтиками дичь и особым образом приготов-

ленное мясо, каждый кусочек которого был искусно обернут цветочными лепестками и нашпигован заморскими фруктами и мягкими морскими моллюсками. Но особенно хороши были специи, каждая их которых имела свой собственный голос, ясно различимый в общем букете, как бывают различимы отдельные голоса в слитном рокоте толпы в отдалении, и Дел узнал шафран и кунжут, кумин, майоран и мускатный орех.

И все это время он в изумлении следил за Ритой — за тем, как свет свечей, падая на ее лицо, делал его похожим на лунный лик, и удивлялся уверенной сноровке ее рук, которые исполняли все необходимое без всякой помощи со стороны глаз. Рита казалась Делу очень собранной, и в то же время губы ее как будто слегка подрагивали от беззвучного сдерживаемого смеха, а грудь вздымалась от множества волнующих тайн и секретов, которые вскипали и бурлили в ее крови.

Потом они сели к столу, и овальное окно то желтело, то темнело по мере того как свечи разгорались ярче или пригасали. Рита наливала в бокалы все новые и новые вина из буфета, и Дел обнаружил, что каждое из них подходит к каждому новому кушанью как майское тепло — крокусу, и как первые заморозки — поздним яблокам.

Дел догадывался, что это — какое-то колдовство, но поддался ему без возражений и сомнений, зная, что приторная сладость будет в нужный момент перебита чем-то резким и острым, и что его искусственно вызванная жажда будет утолена. Видел он и то, что Рита тоже за ним наблюдает, и что от нее не укрылся ни жаркий румянец на его щеках, ни даже возбуж-

денное покалывание в кончиках его пальцев. Правда, удивление Дела с каждой минутой становилось все больше, но он не боялся — нет, не боялся.

За все время Рита произнесла едва ли несколько слов, но наконец трапеза была закончена, и они поднялись. Девушка потянула свисающий со стены шелковый шнурок, и деревянная панель отворилась; столик бесшумно скользнул в какую-то темную выемку в стене, и панель сама встала на место. Потом Рита жестом указала Делу на изогнутый угловой диванчик, и, как только он сел рядом с ней, обернулась назад и сняла со стены лютню, висевшую на стене над ее головой. А Дел, который уже потянулся к Рите, чтобы заключить ее в свои объятья, замер в смущении, ибо не знал, как обнять девушку с инструментом. Она же лишь насмешливо сверкнула глазами, не сделав ни малейшей попытки разрешить его затруднение.

Потом Рита наконец заговорила, и пальцы ее бегали по ладам лютни, а слова выстраивались друг за другом, словно сходясь и расходясь в такт музыке. В эти минуты у Риты прорезались как будто десятки голосов, и Дел невольно спрашивал себя, который же из них действительно принадлежит дочери сквайра. Порой она принималась петь, а иногда просто выводила голосом мотив без слов. Временами Рита казалась где-то очень далеко от него, озадаченного неожиданным скачком ритма или перерывом мелодии, а иной раз — так близко, что казалось, будто она в состоянии расслышать биение и шум крови у него в ушах, и тогда она начинала аккомпанировать ему, выводя быстрый, слегка насмешливый ритмический рисунок. И снова она пела слова, которые Дел почти понимал:

Нужна пчела цветам, нектаром полным,
А мыши — кошка, дождь — кустам,
И мы с тобой нужны друг другу
Как звезды — солнечным лучам...

Или выводила непонятное:

Эйк йа рандефл, рандефл фай,
Орель йа рандефл коун,
Эн йе, эн йе, йа бандерби бай,
Эн сор, эн се, ен соун.

Но и это Дел тоже почти понимал.

А потом — еще одним своим голосом — она рассказала ему историю о гигантском мохнатом пауке и крошечной розовощекой девочке, которая нашла это чудовище между листами полуоткрытой книги, и сначала Дел испугался за девочку и пожалел ее, но потом, когда Рита — очень красочно и подробно — описала ему, какие страдания довелось пережить насекомому, чей дом был разрушен этим визжащим от страха и любопытства гигантом (а пауку даже самая маленькая девочка должна была показаться настоящим великаном), Дел уже сам смеялся над собой и чуть не плакал от жалости к бедному паучку.

Так незаметно пролетело несколько часов, и где-то в промежутке между песнями Рита все же оказалась в его объятиях, но уже в следующее мгновение она очень ловко вырвалась из рук Дела. А когда он невольно ахнул от неожиданности и разочарования, она сказала ему новым голосом — голосом низким и мрачным:

— Нет, Дел. Мы должны дождаться луны.

Тут его чресла заломило от невыносимой тяжести, и Дел внезапно понял, что стоит в самой неудобной и неестественной позе — наполовину приподнявшись с дивана и протягивая вперед судорожно сжатые руки, словно все еще чувствуя в пальцах гладкую и тонкую ткань ее платья, которое проскользнуло сквозь его пальцы, как вода. И, осознав это, Дел с негромким и странным звуком, нисколько не подходящим к обстановке, упал обратно на диван и несколько раз разжал и сжал пальцы, стараясь избавиться от ощущения, что он все еще касается белой, тонкой, как паутина, ткани. Наконец он поднял взгляд на Риту, и она рассмеялась и высоко подпрыгнула, проделав это так легко, что ему на мгновение показалось, будто на долю секунды она зависла в воздухе и слегка потянулась, и только потом опустилась на пол подле него — опустилась, клюнула в губы поцелуем и снова то ли отпрыгнула, то ли отлетела в сторону.

Шум в ушах Дела и так уже был невыносимо громким; теперь же он обрел вес, словно нечто материальное. От этой тяжести голова его поникла, и он поскорее уперся надбровьями в сжатые кулаки, а локти поставил на колени. Так он ничего не видел, но продолжал отчетливо слышать шелест платья кружившейся по комнате Риты и ощущать запах фиалок и сандалового дерева. Судя по всему, девушка танцевала одна, танцевала, отдаваясь восторгу движения и радости от его близости, и тихо напевала что-то и сбивчиво шептала какие-то слова в такт мелодиям, раздававшимся в ее мозгу.

Наконец Дел понял, что Рита остановилась. Он не слышал больше ни звука, но был уверен, что она по-

прежнему где-то рядом. Медленно, с усилием, Дел поднял голову. Рита замерла в самом центре комнаты, напоминая огромную ночную бабочку, а ее глаза стали совершенно темными, словно все тайны и секреты вдруг поднялись со дна ее души к самой поверхности. Настороженная, выжидающая, она смотрела на окно.

Дел проследил за ее взглядом. Большой овал окна больше не был черным: стекло покрылось словно светящейся серебристой пыльцой. Дел медленно встал. Стекло продолжало туманиться, серебристый налет становился ярче, и наконец в углу окна показался кусочек самой луны, которая вползала на небо, с каждой минутой становясь все больше.

Дел перестал дышать, поэтому он отчетливо слышал, как дышит Рита. Ее дыхание было частым и таким глубоким, что ток воздуха заставлял чуть слышно вибрировать ее гибкие голосовые связки.

— Рита...

Не отвечая ему, Рита подбежала к буфету и наполнила вином два небольших бокала.

— Подожди... — шепнула она. — О, подожди еще немного!..

Как зачарованный Дел следил за тем, как ползет по стеклу белое пятно луны. Он как-то сразу понял, что должен оставаться в полной неподвижности до тех пор, пока весь овал окна не будет озарен прямым лунным светом, и это помогло ему, так как устанавливало ожиданию видимый предел, но он все же страдал, поскольку, как ему казалось, еще ничто в его жизни не двигалось так медленно. В какой-то момент, злясь на себя за то, что согласился участвовать в этом долгом ритуале, Дел уже готов был возмутить-

ся и восстать, но тут он заметил, что темный край серебряного окна становится все меньше и меньше. Сначала он стал шириной в палец, потом сузился до толщины человеческого волоска, а потом, *потом*...

Рита издала коротенький кошачий крик и в два прыжка взлетела по тиковым ступенькам к окну. Лежащий на стекле лунный свет был столь ярок, что на этом фоне ее силуэт напоминал черную камею, а на плечах искусно вышитого платья лежали серебряные эполеты лунного сияния. Рита была так прекрасна, что в глазах у Дела защипало, и комок подкатил к горлу.

— Пей! — прошептала она. — Выпей со мной, милый...

Сначала Дел не понял ее, и лишь несколько мгновений спустя вспомнил о маленьком бокале, который держал в руке. Приподняв бокал в торжественном салюте ее красоте, он выпил вино, и оно показалось ему... странным. После бесконечно богатых и тонких оттенков и обертонов вкуса, которые ему довелось испробовать и узнать за сегодняшний вечер, это вино было удивительно тем, что вовсе не имело вкуса. Делу оно даже показалось совершенно невещественным, нематериальным, к тому же оно не было ни холодным, ни горячим, а как раз таким, какой бывает человеческая кровь.

И Дел с недоумением посмотрел сначала на свой бокал, потом перевел взгляд на девушку, и ему неожиданно померещилось, что она обернулась и глядит на него, хотя черный силуэт на фоне окна даже не шелохнулся.

А потом он испытал еще одно потрясение, потому что лунный свет неожиданно погас.

Луна, окно, комната, Рита — все исчезло в мгновение ока.

В первые секунды Дел стоял не шевелясь и лишь изо всех сил напрягал зрение, стараясь разглядеть хоть что-то в окружившем его мраке. Потом какой-то нечленораздельный звук, какое-то восклицание сорвалось с его губ, и Дел крепко прижал ладони к глазам. Он ясно ощущал судорожные движения век и щекочущие прикосновения упругих ресниц, но, когда Дел отнял ладони от лица, вокруг по-прежнему была темнота. Это была даже больше, чем темнота, или, вернее — не просто темнота. Она даже не была черной. Это было все равно, что стараться увидеть что-то локтем или языком — это было *Ничто*.

Дел упал на колени.

Во тьме звонко рассмеялась Рита.

Какой-то таинственной, не до конца уснувшей частью сознания Дел сумел воспринять и разгадать, что значил этот смех, и ужас и ярость захлестнули все его существо, ибо именно этот самый смех заставлял чуть дрожать губы девушки на протяжении целого вечера, и это был безжалостный, жестокий, уверенный в себе смех. И в тот же момент — то ли благодаря гневу, то ли вопреки ему — в Деле с новой силой вспыхнуло ослепительное желание. Яростно гримасничая и ощупывая воздух вытянутыми вперед руками, он двинулся на звук. Со стороны окна донесся шорох быстрых, шелестящих шагов, и вдруг на Дела обрушилась сверху легкая, как паутина, но невероятно прочная сеть. Он замахал руками, забарахтался отчаянно, стараясь освободиться, и вдруг догадался, что это за пелена. То было удивительное платье Риты, и сперва Дел запутался в нем, но скоро ткань подда-

лась, и, швырнув разорванное платье на пол, он наступил на него ногой.

Потом Дел услышал совсем легкие шаги босых ног и бросился туда, но ничего не поймал и остановился, тяжело дыша.

Рита снова расхохоталась.

— Я ослеп, Рита, — хрипло пробормотал Дел. — Я ничего не вижу!

— Я знаю, — спокойно отозвалась она из-за его спины и опять рассмеялась.

— Что ты сделала?..

— Я увидела, что ты — такое же грязное животное, как все мужчины, — был ответ.

Дел заворчал и снова ринулся на голос, но наткнулся коленом на стул или, быть может, на небольшой сундучок, и тяжело упал на пол. При этом Делу показалось, что его вытянутые вперед пальцы коснулись босой ноги Риты.

— Сюда, любимый, я здесь! — поддразнила она его.

Дел пошарил вокруг себя ища предмет, о который споткнулся; нащупав его, он поднялся, опираясь на него, как на клюку. Выпрямившись во весь рост, Дел с беспокойством огляделся — огляделся чисто машинально, по привычке, ибо зрение так и не вернулось к нему.

— Эй, милый, сюда!..

Дел прыгнул и врезался в косяк двери. В одно мгновение скула, ключица, бедро и колено вспыхнули ослепительной болью, и Дел вцепился пальцами в полированное дерево.

Через несколько мгновений он спросил с мукой:

— Но... почему?..

— Ни один мужчина еще не прикасался ко мне и не прикоснется, — не ответила, а пропела Рита, и Дел почувствовал ее дыхание на своей щеке, но когда он вытянул руку, то снова ничего не поймал. Потом он услышал, как она спрыгнула с пьедестала для статуи, стоявшего возле самой двери, и догадался, что девушка стояла на нем и, наклонившись, разговаривала с ним.

Но ни боль, ни слепота, ни даже сознание того, что на него действует приготовленное Ритой колдовское зелье, не могли заглушить неистовое желание, которое разбередила в Деле ее близость. И ничто не могло обуздать ярость, которая охватывала его, когда он слышал ее смех. Испустив гневный крик, Дел неверной походкой двинулся за ней.

Рита со смехом танцевала вокруг него. Один раз она толкнула Дела на железную стойку для каминных щипцов, и та с грохотом опрокинулась. В другой раз она схватила его сзади за локоть и сильно дернула, заставив закружиться на месте. А в третий раз она совершила высокий и длинный прыжок и, пролетая мимо Дела, успела поцеловать его прямо в губы.

Дел чувствовал себя так, словно оказался в самом настоящем аду. Уверенный и быстрый топот легких босых ног и мелодичный, холодный смех доносились, казалось, со всех сторон одновременно. Он бросался на голос и падал, разбивал в кровь лицо и ползал на четвереньках, скуля, как собака. Его яростные вопли и нечленораздельный рев неожиданно разбудили гулкое эхо, и Дел догадался, что они, должно быть, перебрались в большую гостиную залу. Здесь на его пути то и дело оказывались стены и предметы, которые не просто не поддавались, а, казалось, наносили ответный удар всякий раз, когда

Дел со всего размаха налетал на них. Даже деревянные панели, на которые он все чаще опирался спиной, чтобы отдышаться, неожиданно оказывались дверями, отворявшимися от малейшего прикосновения. Но самым страшным для него по-прежнему оставались черное ничто перед глазами, дразнящее «шлеп-шлеп» твердых босых ступней по гладким плитам пола, да неистовая ярость, которую Дел никак не мог утолить.

Потом эхо куда-то исчезло, и разгоряченное лицо Дела вдруг овеяло прохладой. Он услышал шорох ветра в листве и понял, что оказался на террасе. Но новое «Иди ко мне, любимый!» обожгло ему ухо горячим дыханьем, и Дел прыгнул, собрав последние силы. Он снова промахнулся, но, вместо того чтобы растянуться на каменном полу террасы, все падал, и падал, и падал в никуда. И когда Дел уже почти перестал ждать боли, на него вдруг обрушился град жестоких ударов; то было мраморное крыльцо террасы.

Должно быть, сознание не до конца покинуло его, ибо Дел смутно слышал, как Рита приближается к нему, и даже ощутил осторожное прикосновение ее маленькой руки, которая чуть тронула его за плечо, коснулась губ и груди. Потом рука исчезла, и Рита снова рассмеялась, а, может, этот смех ему только почудился.

А в глубине Соленых Топей, где вода была ржавой и противной на вкус, лежало озеро чистейшей воды, заслоненное плакучими ивами и молодыми, стройными осинами — озеро с берегами из мха чудесного голубого оттенка. Здесь росла мандрагора, и в середине лета из-под земли неслись тоненькие писки, но их не слышал ни один человек, кроме одной тихой

девушки, чья красота еще не расцвела и была почти не видна. Девушку звали Барбарой.

Никто не замечал Барбару, и она жила совершенно одна, без привязанности, без любви. И все же ее жизнь была полной и насыщенной, ибо Барбара была рождена для того, чтобы получать. Большинство людей появляется на свет только с *желанием* получать, поэтому они нацепляют на лица яркие маски и издают громкие, радостные звуки наподобие цикад или опереточных артистов, дабы заставить окружающих дать им желаемое. Но органы чувств Барбары всегда были широко распахнуты, всегда готовы воспринимать, и потому ей не нужно было никакой замены ни солнечному лучу, просвечивающему сквозь лепесток тюльпана, ни шороху карабкающегося по живой изгороди пурпурного вьюна, ни кисло-сладкому запаху муравьиной кислоты — этому единственному предсмертному крику, доступному крошечному, бессловесному существу, ни множеству других вещей, которые обычно не замечают люди, наделенные лишь *желанием* получать.

У Барбары был небольшой огород и сад, полный фруктовых деревьев, и по мере необходимости она возила на рынок овощи и фрукты; все же остальное время она занималась тем, что получала, впитывала в себя все, что другие отдавали ей. В ее огороде росли сорняки, но, поскольку Барбара была рада им, сорная трава поднималась только там, где она могла защитить от солнечных ожогов нежные бока арбузов. Кролики грызли морковь, салат и помидорную ботву лишь с нескольких специально отведенных для них грядок, и никогда не трогали остальное, ибо и они были в этом саду желанными гостями. Даже золотар-

ник вымахивал только возле грядок с фасолью и горохом, чтобы помочь нежным зеленым плетям взобраться повыше, а птицы склевывали инжир и персики лишь с самых тонких верхних ветвей, в благодарность за это собирая с нижних гусениц и жуков. И если какой-нибудь фрукт мог созреть недели на две позже, когда у Барбары появится время, чтобы съездить на базар, а какой-нибудь крот — прорыть тоннель и подвести влагу к корням кукурузы, они с удовольствием делали для нее эту малость.

Но в последние год или два Барбару вдруг охватило необъяснимо сильное желание странствовать по округе. Она была словно зачарована, околдована чем-то, что она не могла даже назвать — если, конечно, она вообще об этом задумывалась. Барбара знала только, что где-то за холмом лежит удивительная и радостная страна, и что было бы очень здорово однажды прийти туда и обнаружить новый холм, новую гряду, за которую тоже обязательно надо заглянуть. Наверное, все дело было просто в том, что Барбара была уже готова полюбить, ибо кто любит, тот получает больше всего. И это может засвидетельствовать каждый, кто был любим, но, не платя взаимностью, принужден был отдавать и отдавать..

Свою любовь Барбара встретила, однако, не во время долгих пеших прогулок, а на деревенском базаре. Но облик ее любви, цвет ее волос и ее голос сформировались в душе Барбары уже так давно, что когда она, наконец, впервые увидела ее вблизи, то совсем не удивилась. И после этого на протяжении долгого времени ей было вполне достаточно того, что этот человек существует. Он щедро одарял ее уже тем, что жил, наполнял воздух раскатами своего могучего голоса, и даже своей изуми-

тельной походкой, которая была точным аналогом того, что конники зовут «безупречной посадкой».

И после того как Барбара увидела его, она стала получать вдвое, вчетверо против прежнего. Дерево вырастает высоким и стройным ради благородной и достойной цели *быть* высоким, но разве прямизна стана и высокий рост не были и *его* врожденным качеством? Теперь иволга давала Барбаре гораздо больше, чем ее песня, а сам ястреб — больше, чем его искусное лавирование в воздушных потоках, потому что разве не было у этих птиц такого же сердца, как у него, такой же горячей крови и такого же желания сохранить их на завтра? И от этого Страна-за-холмом казалась Барбаре все более и более замечательным местом, потому что только там могли встретиться ей и другие вещи, которые напоминали бы ей о нем.

Но, когда в самом сердце Соленых Топей Барбара набрела на озеро чистой воды, таинственная и недосягаемая Страна-за-холмом перестала для нее существовать. В этом волшебном месте не было ни жестокости, ни ненависти, и осины здесь дрожали только от желания сделать пейзаж еще более красивым. Здесь каждый кролик всегда готов был перещеголять соседей в умении шевелить носом, а каждая из водоплавающих птиц умела бесконечно долго стоять на одной ноге и гордилась этим. Лишайники покрывали стволы ив, придавая им тот неповторимый, багрово-алый цвет, какого нет даже среди красок заката, а танагра и кардинал серьезно и обстоятельно спорили между собой о том, что такое настоящий красный цвет.

Сюда-то и пришла Барбара, пришла с легким от счастья и полным любви сердцем, чтобы отдать его голубым мхам берегов. И поскольку любящее сердце

способно получать больше, чем что бы то ни было, именно в нем больше всего и нуждаются окружающие, и с тех пор Барбаре стали доставаться самые звонкие птичьи песни, самые лучшие краски, самые тихие вечера, и множество других вещей, которые стоит дарить в первую очередь. Когда Барбара была голодна, бурундуки приносили ей самые спелые орехи, а когда была сыта — самые красивые камешки; зеленая змея своей выразительной пантомимой показывала, как течет вверх по склону ручей живых изумрудов; три веселых выдры демонстрировали, как сразу возрастает твоя радость, если кубарем скатиться с крутого берега в воду. Комары-дергунцы, медоносные пчелы и шмели, а за ними и яркие колибри время от времени замирали в воздухе и висели совершенно неподвижно, и тогда над водой звенело их чистое, минорное «ля».

В один прекрасный день все вокруг озерца неожиданно затихло, и тогда Барбара узнала, почему вода здесь оставалась чистой.

Сначала перестали дрожать осины.

И все кролики выбрались из кустов и расселись на голубых мшистых берегах, выпрямив спинки, насторожив уши и подняв к небу влажные носы — неподвижные и розовые, как коралл.

Цапли тоже попятились и, словно придворные, встали у края водоема, склонив на бок хохлатые головки и закрыв один глаз, чтобы лучше видеть.

Бурундуки почтительно опорожнили свои защечные мешки и принялись быстро тереть друг об друга свои маленькие лапки, а потом вовсе убрали их с глаз долой и выпрямились, стоя неподвижно как колышки от палатки.

Даже листва на деревьях и кустарниках вокруг озера прекратила свой напористый рост; казалось, трава — и та словно чего-то ждала.

Последним звуком, который можно было расслышать в наступившей тишине, было негромкое «фик!», которое производили веки совы, проснувшейся в своем дупле, чтобы наблюдать, смотреть.

Он явился как облако, и земля мягко проминалась под каждым из его золотых копыт. Остановившись на берегу озерца, он опустил голову, и на один краткий миг встретился взглядом с Барбарой, которая заглянула в его глаза, словно в другую вселенную, полную мудрости и сострадания. И еще ей запомнился безупречный изгиб его могучей шеи и ослепительный блеск золотого рога.

Он пил — а потом он исчез. Всем известно: там, где пьет единорог, вода всегда остается чистой.

Сколько времени он пробыл у пруда? Как давно пропал? Или время тоже замерло, как трава?

— Неужели он не мог остаться?.. — заплакала Барбара. — Неужели не мог?!

Встреча с единорогом — всегда очень грустная встреча. На своем коротком веку человек может никогда больше его не увидеть. И все же, повстречать единорога — это большая удача и счастье.

И Барбара стала сочинять песню о нем.

Было уже поздно, когда Барбара вернулась с болот, — так поздно, что ее восторг остыл от ночной прохлады и бежал к горизонту. Она вышла на проезжую дорогу немного не доходя Большого Дома и двинулась по ней, чтобы, свернув за усадьбой, добраться до своего маленького домика с садом.

За большими воротами усадьбы громко скулило

какое-то животное. Большое животное, больное животное...

Барбара видела в темноте гораздо лучше большинства людей, поэтому очень скоро она разглядела и само это существо, которое, вцепившись в железные пики, карабкалось вверх, издавая тот самый прерывистый кашляющий стон, который привлек ее внимание. На самом верху существо неожиданно сорвалось и повисло со внешней стороны ворот. Некоторое время оно слабо барахталось, потом послышался треск рвущейся материи; темное тело тяжело рухнуло на землю и осталось лежать — неподвижное и молчаливое.

Барбара подбежала к нему, и существо на земле снова заскулило. Это был мужчина, и он плакал.

Да, это был он, человек, которого она любила и который был высоким, стройным и таким живым. Это ее любовь лежала на земле избитая, окровавленная, с исцарапанным лицом и в изорванной одежде — и жалобно стонала.

Для любящей души это была самая замечательная возможность получать — забрать у любимого его боль, его беды и страх.

— О, тише, тише! — прошептала Барбара, и легко, словно птица крылом, коснулась кончиками пальцев синяков и ссадин на его лице. — Все кончилось. Теперь уже все позади.

Перевернув раненого мужчину на спину, она опустилась рядом с ним на колени, чтобы помочь ему сесть. Для этого ей пришлось приподнять его крупную руку — большую и сильную руку — и положить себе на плечи. Он был очень тяжел, но и Барбара была очень сильной. Негромко ахнув, раненый привалился спиной к воротам, и девушка быстро посмот-

рела вперед и назад вдоль освещенной последними лучами луны дороги. Никого и ничего. В Большом Доме тоже не видно было ни огонька, но на противоположной стороне дороги темнела живая изгородь, которая, как казалось Барбаре, могла укрыть их от пронизывающего ночного ветра.

— Идем, любимый, идем туда, — шепнула она и почувствовала, как мужчина вздрогнул.

Почти таща его на себе, Барбара перенесла возлюбленного через дорогу, переправила через неглубокую канаву и протащила через дыру в изгороди. Там она чуть было не упала вместе с ним, но, скрипнув зубами от напряжения, нашла в себе силы, чтобы бережно опустить его на землю. Прислонив раненого спиной к живой изгороди, она наломала молодого ракитника и разложила его на земле, чтобы получилось упругое, мягкое ложе. Накрыв ветки уголком своего плаща, Барбара уложила мужчину на землю, так что его голова оказалась на куче ветвей, как на подушке. Остальным плащом она тщательно укутала раненого, так как его тело показалось ей слишком холодным.

Поблизости не было никакой воды, а Барбара не решалась оставить возлюбленного. В конце концов ей удалось с помощью платка кое-как счистить с его лица запекшуюся кровь, но он все еще не согрелся, и его кожа все еще была холодна.

— Ты ведьма, — неожиданно пробормотал раненый. — Проклятая, маленькая ведьма...

— Ш-ш-ш! — снова ответила Барбара и, улегшись рядом с ним на земле, нежно обвила его голову обеими руками. — Потерпи немного, сейчас ты согреешься.

— Стой, где стоишь! — проворчал он с угрозой. — Не смей больше убегать от меня.

— Я никуда не убегу, — шепнула Барбара. — О, милый мой, как сильно тебя ранили! Я не оставлю тебя, клянусь — не оставлю!

Раненый не шевельнулся, и только снова негромко зарычал.

— Я расскажу тебе одну удивительную и прекрасную историю, мой милый, — ласково проговорила Барбара. — А ты слушай и постарайся представить себе все, о чем я буду говорить, — добавила она нараспев. — В самом сердце трясины есть озеро чистой воды, где растут на просторе прекрасные деревья — осины, березы и плакучие ивы, где царят удивительные мир и покой, и даже цветы, вырастая, никогда не роняют своих лепестков. Мох по берегам озера — серебристо-голубой, а вода прозрачна, как алмаз...

— Ты опять говоришь со мной на тысячу голосов и рассказываешь какие-то сказки, — пожаловался раненый.

— Шш-ш!.. Молчи и слушай, любимый. Это не сказка — такое место действительно существует. Стоит только пройти четыре мили к северу от деревни и взять немного западнее, и с вершины холма, где растут рядом два карликовых дуба, ты увидишь эти деревья. И я знаю, почему в этом озере вода такая чистая! — вскричала она радостно. — Я знаю, знаю почему!..

Но раненый ничего не сказал. Он только глубоко вздохнул, и от этого ему, наверное, снова стало очень больно, так как Барбара почувствовала, что он опять дрожит.

— Туда ходит пить единорог, — прошептала она прямо ему на ухо. — И я видела его своими глазами!

Но он снова промолчал, и Барбара сказала:

— Я сложила об этом песню. Послушай, вот она:

Чу — Он! Пришел и ослепил,
Осколком дня ворвавшись в сумрак леса,
Виденье, тайна, чудо, тень,
Как сон — полуденный, чудесный...

Истаял он. И лишь часы спустя,
Мной овладели радость, боль, отчаянье,
Явился — промелькнул — пропал,
Как мягкий шелк, как молнии сверканье.

Явился — промелькнул — пропал,
Со мной не захотел остаться,
Но в дальний путь меня позвал,
Искать, надеяться, скитаться.

Он вереницей долгих дней,
Ведет меня к мечте моей,
На топи, в поле, под холмом,
Вновь повстречаться с волшебством...

Дыхание раненого сделалось более мерным, и Барбара тихо закончила:

— Я *правда* его видела...

— Я ослеп! — проговорил он. — Ослеп, совсем ослеп!..

— О, мой дорогой...!

Раненый пошевелил рукой и ощупью отыскал ее ладонь. Потом — очень медленно — поднял вторую руку. Двумя руками он ощупывал, поворачивал, сжимал тонкие пальцы Барбары. Внезапно он снова с угрозой зарычал и попытался приподняться.

— Почему?! — выкрикнул он. — Почему, почему, почему?! Зачем ты это сделала? За что ты ослепила меня?!

Каким-то чудом ему удалось сесть, и он, скорчив

свирепую гримасу, схватил Барбару за горло своей большой и сильной рукой.

— Зачем все это, если...

Окончание фразы слилось в неразборчивый, звериный рык. Вино и колдовство, ярость и мука вскипели в его крови.

Один раз Барбара негромко вскрикнула.

Один раз всхлипнула.

— Вот теперь, — проговорил Дел, отталкивая ее, — тебе *никогда* не поймать единорога. Пошла прочь от меня!

И он ударил ее по лицу.

— Ты не в себе! Ты болен!.. — жалобно воскликнула Барбара.

— Прочь! — с угрозой повторил он.

Барбара в испуге вскочила. Он подхватил ее плащ и швырнул в темноту, и Барбара, которая с беззвучным плачем бросилась прочь, запуталась в нем и едва не упала.

А некоторое время спустя из-за живой изгороди снова послышались жалобные стоны и всхлипы.

Через три недели Рита отправилась на рынок. Внезапно чья-то сильная рука схватила ее сзади за плечо и рывком втиснула в угол, образованный стеной ближайшего дома, но Рита не испугалась. Подняв взгляд, она узнала Дела и сказала сдержанно:

— Не прикасайся ко мне.

— Я хочу, чтобы ты мне кое-что рассказала, — промолвил он. — И ты мне это расскажешь!

Его голос был таким же суровым и жестким, как и рука, сжимавшая ее руку выше локтя.

— Я расскажу тебе все, что ты хочешь, — ответила Рита. — Только, пожалуйста, не прикасайся ко мне.

Дел немного поколебался, потом выпустил ее плечо, и девушка небрежно повернулась к нему.

— Ну, в чем дело?.. — Взгляд Риты скользнул по его лицу, на котором еще видны были почти зажившие шрамы, и уголок ее губ чуть заметно дрогнул в улыбке.

Глаза Дела превратились в щелочки.

— Я хочу узнать вот что: зачем ты устроила все это?.. Приятный вечер вдвоем, угощение, яд... Неужели все это ради меня? Ведь чтобы получить меня, вовсе не обязательно было так стараться.

Рита улыбнулась.

— Ради тебя?.. Нет. Просто пришел твой черед — только и всего.

Дел, казалось, был искренне озадачен.

— Ты хочешь сказать... такое случалось и раньше?

Она кивнула.

— Каждый раз, когда наступало полнолуние, и сквайра не было дома.

— Ты лжешь!

— Не забывайся! — сказала она резко, потом слегка улыбнулась и добавила: — Как бы там ни было, это — правда.

— Но тогда бы пошли разговоры, слухи...

— Вот как? А скажи-ка, скольким друзьям ты рассказал о своем приключении? О своем *унизительном* приключении?

Дел опустил голову, и Рита кивнула.

— Вот видишь!.. Все они уходили и пережидали, пока раны не заживут, а потом возвращались и ничего не говорили. И они всегда будут возвращаться и молчать.

— Ты — дьявол!.. — прошептал Дел. — Настоящий дьявол во плоти! Но зачем ты делаешь это? Зачем?

— Я говорила тебе, — честно сказала она. — Я — женщина, и как каждая женщина я поступаю так, как мне хочется. Впрочем, ни один мужчина никогда не коснется меня. Я — девственница и останусь ею.

— Ты — *кто?..* — заорал Дел.

Рита предостерегающим жестом подняла руку в тонкой надушенной перчатке.

— Прошу тебя, тише... — проговорила она и слегка поморщилась.

— Слушай, — проговорил Дел гораздо более тихим, но таким напряженным голосом, что Рита невольно попятилась, впервые отступив перед ним. А Дел даже закрыл глаза, словно напряженно думал о чем-то.

— Ты говорила об озере... Об озере, из которого пьет единорог. Ты еще сложила песню... Постой, как там было?.. «Как мягкий шелк, как молнии сверканье...». Помнишь? А потом... Потом я позаботился о том, чтобы ты *никогда* не поймала единорога!

Рита отрицательно покачала головой, и на лице ее отразилось искреннее недоумение.

— Как мягкий шелк, как молнии сверканье... Мне это нравится, — промолвила она. — Это звучит очень мило, но — честное слово! — я не имею к этому никакого отношения.

Дел наклонился и приблизил свое лицо к ее лицу, и хотя он говорил шепотом, слова вылетали, как пули:

— Лжешь! Все лжешь! Я не мог забыть. Я был ранен, болен, ты опоила меня, но я помню, что я делал и чего не делал.

И с этими словами он круто повернулся и зашагал прочь.

Большим пальцем в перчатке Рита задумчиво прикоснулась к верхним зубам, потом бросилась за ним.

— Дел!..

Он остановился, но не обернулся, и Рите пришлось обойти его, чтобы встать с ним лицом к лицу.

— Я все равно не заставлю тебя поверить, — с дрожью в голосе сказала она. — Но это... это единственное, что у меня осталось.

Дел даже не попытался скрыть своего удивления. Рита же, не без труда придав своему лицу спокойное выражение, добавила:

— Прошу тебя, Дел, пожалуйста, расскажи мне еще немного. Ну, об озере, о песне, о том, что произошло...

— Ты не помнишь?

— Я просто *не знаю!* — вспыхнула Рита. Она была глубоко взволнована, и Дел сказал с напускной кротостью:

— Ты рассказала мне об озере в Топях — об озере, из которого пьет единорог. Ты сказала, что ты сама видела, как он приходит туда. Ты сложила об этом песню. А потом я...

— Где? Где это было?

— Ты уже забыла? Так скоро?!

— Где же все-таки это произошло?

— На лугу. Через дорогу от ворот усадьбы, за живой изгородью, куда ты последовала за мной, — ответил он. — Там, где с восходом солнца ко мне вернулось зрение.

Рита тупо посмотрела на него снизу вверх, потом ее лицо начало медленно меняться. Сначала на нем проступила сдержанная улыбка, которой не терпе-

лось вырваться, а потом... потом Рита снова стала собой и расхохоталась. Это был тот мелодичный и звонкий смех, который так мучил и пугал Дела, и Рита продолжала смеяться до тех пор, пока он не заложил за спину сначала одну, потом другую руку, и она не увидела, как от еле сдерживаемого желания убить ее на месте вздуваются на его плечах могучие мышцы.

— Ты — животное, — сказала она почти добродушно. — Ты хоть знаешь, что ты сделал? О, какое же ты... *животное!*

Тут она огляделась, желая увериться, что никто не услышит ее слов.

— Я оставила тебя на земле возле крыльца, — объяснила она, и глаза ее блеснули. — И ворота были заперты. Должно быть, ты...

— Не смейся, — сказал он тихо, но Рита не смеялась.

— Там кто-то был, — добавила она тихо, но убежденно. — Кто — я понятия не имею. Знаю только, что это была не я.

Дел побледнел.

— Я помню, ты пошла за мной.... — сказал он неуверенно.

— Клянусь моей душой — нет! — торжественно произнесла Рита, подавляя новый взрыв смеха.

— Но... этого не может быть, — пробормотал Дел. — Не мог же я...

— Ты ничего не видел, — напомнила она. — Ты был слеп и не в себе, мой Дел-любовник!

— Берегись, дочь сквайра! — прошипел Дел и провел по волосам своей большой рукой. — Нет, этого не может быть, — повторил он. — Прошло уже три недели. Меня бы уже давно обвинили в...

— Среди женщин нашлось бы немало таких, кто бы этого не сделал, — улыбнулась Рита. — А, может, она еще даст о себе знать... в свое время.

— Я еще никогда не встречал такой мерзкой твари, как ты, — произнес Дел ровным голосом, глядя ей прямо в глаза. — Ты лжешь, я знаю, что ты лжешь!..

— Что мне сделать, чтобы доказать тебе это? Кроме, разумеется, того, что я поклялась не делать ни с одним мужчиной?

Губы Дела насмешливо изогнулись.

— Поймай единорога, — сказал он.

— Если я сделаю это, ты поверишь, что я — девственница?

— Придется поверить, — кивнул Дел и, повернувшись, пошел прочь. На мгновение он остановился и бросил через плечо:

— Но... ты?..

Рита задумчиво смотрела ему вслед, пока Дел не покинул базарную площадь, и ее глаза сверкали. Потом она быстро пошла в ювелирную лавку и заказала там плетеную из золотых нитей уздечку.

Если таинственное озеро скрыто где-то в Топях, рассуждала Рита, значит, кто-то из тех, кто хорошо знает болотистые пустоши, должен был слышать о нем. Тогда она составила в уме список тех, кто часто ходил на болота, и сразу поняла, у кого ей следует спросить об озере в первую очередь. А из этого первого умозаключения Рита с легкостью вывела и другое, и пока она шла через базарную площадь, ее смех привлекал к ней многие взгляды.

У овощных рядов Рита остановилась. Девушка за прилавком подняла глаза и посмотрела на нее с тупой

покорностью во взгляде, и Рита несколько секунд стояла перед ней, слегка похлопывая себя по запястью тонкой дорогой перчаткой.

— Так значит, это была ты....

Рита так внимательно изучала это невзрачное, спокойное, обращенное внутрь себя лицо, что в конце концов Барбара не выдержала и отвела взгляд. И тогда Рита сказала без всяких предисловий:

— Я хочу, чтобы через две недели ты показала мне озеро, куда ходит пить единорог.

Тут Барбара снова подняла на нее глаза, и на сей раз настал черед Риты отворачиваться. Глядя в сторону, она сказала:

— Конечно, я могу нанять людей, которые найдут его для меня. Так что если ты не захочешь...

Она говорила очень ясно и громко, и многие люди оборачивались в их сторону и прислушивались, переводили взгляд с Риты на Барбару и обратно, и ждали.

— Хорошо, я согласна, — чуть слышно ответила Барбара. И как только Рита, все еще улыбаясь, ушла, она собрала свой товар и в задумчивости отправилась домой.

Деревенский ювелир не делал, разумеется, никакого секрета из своего удивительного заказа; это, да еще слухи, распускавшиеся теми, кто слышал разговор между Ритой и Барбарой, привели к тому, что экспедиция к озеру превратилась в настоящее шествие. Вся деревня вышла в путь, чтобы поглазеть на небывалое зрелище. Взрослые сдерживали мальчишек, чтобы те не забегали вперед Риты, которая, по общему мнению, должна была идти во главе

процессии; деревенские юноши (некоторые из них выглядели чуть менее беспечно, чем можно было бы ожидать) следовали сразу за ней, время от времени фыркая в кулак. За юношами шли девушки; одна или две казались бледными и взволнованными, на лицах же остальных было написано поистине кошачье любопытство, ибо им не терпелось узнать, выйдет ли что-нибудь у дочери сквайра, и если нет, то... Впрочем, золотая уздечка была только у нее.

А Рита несла свою золотую уздечку с великолепной небрежностью; она не была ни во что завернута, и, покачиваясь и ярко блестя на солнце, привлекала к себе множество взглядов. Сама Рита была одета в развевающееся белое платье, подол которого был подрублен несколько короче обычного, чтобы не мешать ходьбе по болоту. Платье было подпоясано широким золотым поясом, на ногах Риты были изящные золотые сандалии, а золотая цепь охватывала ее лоб и волосы, словно царский венец. В нескольких шагах позади Риты, погруженная в свои собственные мысли, молча шла Барбара. Несколько раз она бросала короткие взгляды в сторону Дела, который — сосредоточенный и мрачный — шагал несколько в стороне от толпы.

Вдруг Рита ненадолго остановилась и, дав Барбаре догнать себя, пошла рядом с ней.

— Скажи мне, — негромко спросила она, — зачем ты пошла? Ведь не одна ты могла указать сюда дорогу.

— Я — его друг, — пояснила Барбара и быстро прикоснулась кончиком пальца к уздечке. — Единорога...

— О! — сказала Рита. — Единорога.

Она насмешливо посмотрела на Барбару.

— Тебе бы не хотелось предавать своих друзей, верно?

Барбара задумчиво и без всякого гнева вернула взгляд.

— Если... Когда ты поймаешь единорога, — начала она осторожно. — Что ты с ним сделаешь?

— Какой странный вопрос! Оставлю у себя, разумеется.

— Я надеялась, что мне удастся уговорить тебя отпустить его.

Рита улыбнулась и перевесила уздечку на сгиб другой руки.

— Ты не сможешь.

— Я знаю, — вздохнула Барбара. — Просто я подумала: вдруг... Вот почему я пошла.

И, прежде чем Рита успела ей ответить, она замедлила шаг и снова отстала.

Прошло еще немного времени, и вытянутый гребень холма — того самого, что возвышался над озером единорога, — огласился восхищенными вздохами деревенских жителей, которые один за другим поднимались на него. И то, что лежало внизу, было действительно великолепно.

Как ни удивительно, именно Дел взял на себя обязанность остановить деревенских жителей.

— Пусть все ждут здесь! — объявил он своим громовым голосом, и никто не посмел ослушаться. Гребень холма от одного края до другого постепенно заполнялся людьми, которые вытягивали шеи и негромко переговаривались друг с другом, и Дел стал спускаться следом за Ритой и Барбарой.

— Я останусь здесь, — промолвила, наконец, Барбара.

— Подожди, — величественно бросила ей Рита и повернулась к Делу:

— А ты зачем пошел?..

— Чтобы быть уверенным, что все будет по-честному, — проворчал он. — Я знаю о колдовстве совсем немного, но этого вполне достаточно, чтобы оно мне не нравилось.

— Очень хорошо, — спокойно сказала Рита. Потом она вдруг улыбнулась своей особенной, только ей присущей улыбкой. — Пусть будет так. Но я хочу, чтобы Барбара тоже пошла с нами.

Но Барбара колебалась, и Рита добавила:

— Идем, девочка, Дел не причинит тебе вреда. Он даже не подозревает, что ты существуешь.

— О-о..! — озадаченно протянула Барбара.

— Я ее знаю, — проворчал Дел. — Она торгует на рынке овощами.

Рита улыбнулась Барбаре заговорщической улыбкой. Та ничего не сказала, и они втроем продолжили спуск к озеру.

— Не хочешь ли вернуться? — улучив минутку шепнула Рита Делу. — Или тебе мало того унижения, которое ты уже испытал?

Но Дел не ответил.

— Упрямый осел! — вспыхнула Рита. — Неужели ты думаешь, что я зашла бы так далеко, если бы не была уверена?

— Да, — коротко сказал Дел. — Думаю, что да.

Наконец они достигли берега, поросшего серебристо-голубым мхом, и Рита, несколько раз ткнув его кончиком сандалии, с довольным видом села. Барбара осталась стоять в тени ив; Дел, продолжавший держаться несколько особняком, нетерпеливо посту-

кивал кулаком по тонкому стволу молодой осинки. Не переставая улыбаться, Рита разобрала уздечку и разложила ее у себя на коленях, приготовив к броску.

Неспокойно было в роще — неспокойно и тревожно. Они пробыли у озера уже несколько минут, но ни один кролик так и не вышел из зарослей. Когда же Барбара опустилась на колени и подставила руку, лишь один самый храбрый бурундучок выскочил из травы и устроился у нее на ладони.

В этот раз все случилось по-другому. Не было всеобщего затишья, предвещавшего его появление. Вместо этого со стороны холма, где остались зрители, донесся неразборчивый ропот множества голосов, заслышав который Рита — точно бегун на старте — подобрала под себя ноги и слегка приподняла уздечку. Ее глаза стали совсем круглыми и блестели от возбуждения, а между белыми зубами показался розовый кончик языка. Барбара словно окаменела в своей коленопреклоненной позе; Дел привалился к осине спиной и тоже не двигался.

Потом с холма донесся один-единственный, единодушный вздох — и наступила тишина. Даже не глядя туда можно было легко догадаться, что кто-то затаил дыхание и глядит, глядит во все глаза, кто-то опустил голову, а кто-то закрыл лицо руками.

Он появился.

На этот раз он двигался медленно, тщательно выбирая место для своих золотых копыт, словно вышивал ногами какой-то тонкий, волшебный рисунок. Высоко держа свою великолепную голову, он внимательно оглядел неподвижную троицу на берегу, потом на мгновение обернулся, чтобы бросить быстрый взгляд на вершину холма. Наконец единорог подо-

шел к озеру возле ивовой рощи и, достигнув того места, где рос голубой мох, остановился, чтобы заглянуть в воду. Казалось, он один раз длинно и глубоко вздохнул. Потом он наклонился и стал пить, а напившись — вскинул голову, чтобы стряхнуть с губ сверкающие капли.

И снова единорог повернулся к трем людям, которые стояли неподвижно, словно околдованные, и еще раз осмотрел всех по очереди. Наконец он качнулся и пошел, но не к Рите, и не к Барбаре, а к Делу. Приблизившись, единорог заглянул ему прямо в глаза и стал пить из них взглядом, как только что пил воду из озерца — пить неторопливо и серьезно, проникая на большую глубину, и в его глазах были и мудрость, и красота, и сострадание, и еще что-то, что напомнило Делу раскаленную добела искорку гнева. Именно тогда он вдруг понял, что удивительное животное прочло все его мысли и что каким-то непостижимым для людей образом оно знает историю всех троих.

Величие и печаль были в том, как потом повернулся единорог, как склонил свою белоснежную голову и шагнул к Рите. Выдохнув воздух, дочь сквайра чуть привстала, поднимая уздечку, и зверь опустил рог, давая надеть на себя золотую петлю...

...И вдруг единорог резко дернул головой. Уздечка вырвалась из пальцев Риты и взлетела высоко вверх. В последний раз сверкнув на ярком солнце, она упала точно в середину озера.

И не успела уздечка коснуться воды, как чистое озеро превратилось в трясину, и с деревьев с печальным криком взвились в небо птицы. Единорог проводил их взглядом, слегка встряхнулся и, повернув-

шись к Барбаре, опустился перед ней на мох и положил ей на колени свою благородную, сухую, снежно-белую голову.

Руки Барбары так и застыли в воздухе. Лишь взгляд девушки скользил по прекрасной, шелковистой, теплой голове у нее на коленях, поднимаясь до самого кончика длинного золотого рога и спускаясь обратно.

Пронзительный вопль Риты заставил их вздрогнуть. Ее руки были подняты к небу, скрюченные пальцы напоминали когти, а на губах показалась кровь, которая текла из прикушенного языка. Вскрикнув еще раз, дочь сквайра вскочила с побуревшего, высохшего мха и бросилась к единорогу и Барбаре.

— Этого не может быть, слышишь, не может! Она не может быть девственницей! — взвизгнула Рита, наткнувшись на сильную руку Дела, который шагнул вперед, чтобы задержать ее. — Говорю тебе — этого не может быть! Ты и она... я и ты... я и она....

— Я удовлетворен, — сказал Дел глубоким густым голосом. — Ступай прочь, дочь сквайра.

Она отшатнулась от него, потом сделала движение, будто собираясь обогнуть его, и Дел снова загородил ей путь. Тогда Рита жестом крайнего отчаяния прижалась подбородком сначала к одному плечу, потом к другому, и вдруг повернулась и побежала к холму.

— Он мой! Мой! — кричала она. — Он не может быть ее, неужели ты не понимаешь? Я еще никогда, ни с кем, а она... Она...!

Неожиданно Рита замедлила свой бег, потом и вовсе остановилась и замолчала, услышав странный

звук, донесшийся с вершины холма. Сначала он напоминал стук первых капель дождя по плотным дубовым листьям, но постепенно набирая силу, вскоре превратился в беспрерывный ропот, потом — в оглушительный рев. Рита стояла, морщась, силясь понять, в чем дело, и звук омывал ее волной.

Внезапно она отшатнулась и съежилась.

Это был громоподобный хохот множества людей.

Один раз Рита обернулась, и в глазах ее отразилась мольба. Но Дел разглядывал ее с каменным выражением лица, и она снова повернулась к холму. Расправив плечи, Рита зашагала вверх по склону — навстречу смеху, сквозь смех, зная, что он будет преследовать ее до самого дома и до конца жизни.

Дел повернулся к Барбаре, она наклонилась над единорогом и сказала:

— Быстрый, как молния, гладкий, как шелк... Ты свободен!

И единорог поднял свою безупречную голову и поглядел на Дела. Дел открыл рот и неловко шагнул вперед, но тут же остановился снова.

— Т-ты?!.. — вырвалось у него.

На щеках Барбары заблестели слезы.

— Ты не должен был знать, — произнесла она сдавленным голосом. — Я была так рада, что ты... что ты ничего не видишь, потому что ты не должен был знать...

Дел рухнул на колени подле нее. И, когда он сделал это, единорог поднял голову, коснулся лица Барбары своим атласным носом, и вся ее доселе скрытая красота неожиданно засияла ослепительно и ярко.

Потом единорог поднялся с колен и тихонечко заржал. Дел посмотрел на Барбару и увидел, что только

единорог может быть прекраснее нее. Тогда он с неожиданной робостью коснулся шеи удивительного животного и на краткий миг ощутил, как струится между пальцами тончайший шелк его гривы.

В следующий момент единорог попятился, повернулся и, совершив невероятный скачок, в один миг оказался на дальнем краю топи. Еще прыжок — и вот он уже на гребне дальнего холма. Там, словно прощаясь, единорог на мгновение замер, а потом пропал.

— Из-за нас, — сказала Барбара, — он потерял свое озеро, свое прекрасное, чистое озеро!

— Он найдет себе другое, — ответил ей Дел. — Обязательно найдет.

И добавил словно через силу:

— Он... не должен... страдать из-за своей сказочной красоты.

Любимый медвежонок профессора

— Спи, — сказало чудовище. Это было сказано ухом, с помощью запасных губ, скрытых глубоко в складках плоти, потому что его пасть была полна крови.

— Я не хочу спать, я грезю... — ответил Джереми. — Когда я засыпаю, мои грезы убегают. Или просто притворяются грезами. А сейчас я вижу настоящую грёзу.

— А о чем ты грезишь? — поинтересовалось чудовище.

— Я грезю... грежу о том, что я вырос...

— ...И превратился в очень толстого дядю семи футов ростом, — быстро подхватило чудовище.

— Ты глупый, — покровительственно сказал мальчик. — Ростом я буду ровно пять футов, шесть и три восьмых дюйма, на макушке у меня будет лысина, и еще я стану носить круглые очки — толстые, как стеклянные пепельницы. Моя работа будет состоять в том, чтобы читать молодым людям лекции о человеческих судьбах и метемпсихозе* Платона.

— Что такое метемпсихоз? — с жадностью спросило чудовище.

Джереми было четыре года, и он мог позволить себе быть терпеливым.

— Метемпсихоз, — пояснил он, — это такая шту-

Пер. изд.: Sturgeon T. The Professor's Teddy-Bear. в сб. Sturgeon T. E Pluribus Unicorn. — New York: Ballantine Books, 1965.

* Метемпсихоз — учение о переселении душ, карме и прошлых жизнях, в которых человек мог быть животным или растением.

ка, которая получается, когда человек переезжает из старого дома в новый.

— Как было у твоего отца, когда он переехал сюда с улицы Монро?

— Вроде того. Только я имел в виду не обычный дом с крышей, канализацией и всем остальным. Я имел в виду вот такой дом, — сказал мальчик и постучал по своей маленькой груди.

— Ох! — сказало чудовище и вскарабкалось повыше, скорчившись в непосредственной близости от нежного горла ребенка. Сейчас оно как никогда раньше было похоже на плюшевого медвежонка.

— Может, сейчас? — спросило чудовище умоляющим голосом. Оно было вовсе не тяжелое.

— Нет, — нетерпеливо откликнулся мальчик. — Иначе я засну, а мне хочется еще немного посмотреть мою грёзу. В ней есть девушка, которая не слушает мою лекцию. Она думает о своих волосах.

— А что у нее с волосами? — поинтересовалось чудовище.

— Они каштановые, — объяснил Джереми. — И блестящие. А она хочет, чтобы они были золотыми.

— Зачем?

— Некто Берт очень любит, когда у девушек золотые волосы.

— Так давай, сделай ей золотые волосы!

— Не могу! Что скажут остальные?

— А разве это важно?

— Наверное, нет. Значит, все-таки можно, да?

— Кто она? — строго спросило чудовище.

— Просто девушка, которая родится в этом самом доме примерно лет через двадцать, — ответил Джереми.

Чудовище подлезло еще ближе к его пульсирующей шее.

— Если ей предстоит родиться здесь, тогда ты можешь сделать ей золотые волосы. Поспеши же, и давай спать.

Джереми довольно рассмеялся.

— Ну, что там случилось? — тут же спросила тварь.

— Я изменил их, — ответил Джереми. — Девчонка, которая сидела позади нее, запищала как мышь, которой отдавило лапу мышеловкой. И подскочила на целый фут. Это довольно большая аудитория; скамьи студентов расходятся амфитеатром от того места, где стоит лекторская кафедра, и ступеньки в проходах довольно крутые. Она зацепилась ногой за ступеньку...

Джереми разразился радостным смехом.

— А теперь что?

— Она упала и сломала себе шею. Она мертва!

Чудовище сдавленно хихикнуло.

— Это очень смешная галлюцинация. А теперь верни первой девушке прежний цвет волос. Кроме тебя никто этого не видел?

— Никто, — заверил его Джереми. — Впрочем, лекция все равно закончилась, и студенты толпятся возле той, со сломанной шеей. У молодых людей под носами висят капельки пота, а девушки стараются засунуть кулачки себе в рот. Можешь приступать...

Чудовище издало довольное хрюканье и с силой прижало пасть к шее Джереми. Мальчик закрыл глаза.

Дверь в детскую неожиданно отворилась, и на по-

роге появилась мама. У нее было усталое, доброе лицо и улыбающиеся глаза.

— Джереми, дорогой, — сказала мама. — Мне показалось, что ты смеялся.

Джереми нехотя открыл глаза. У него были такие длинные ресницы, что они, казалось, подняли маленький ветер, словно два шелковых опахала. Мальчик улыбнулся, и все три его зуба улыбнулись тоже.

— Я рассказывал Пуззи сказку, мама, — сонно сказал Джереми. — И она ему понравилась.

— Ты — прелесть, — промурлыкала мать и, подойдя к кроватке сына, заботливо подоткнула одеяло, но мальчик тотчас же выпростал из-под него руку, чтобы крепче прижать тварь к себе.

— А Пуззи уже заснул? — спросила мать нарочито серьезным тоном.

— Нет, — ответил Джереми. — Он... выращивает голод.

— Как же это он делает?

— Когда я ем — голод проходит, — объяснил мальчик. — У Пуззи все наоборот.

Мать посмотрела на сына. Она любила его так сильно, что просто не могла — не способна была задуматься.

— Ты — самый замечательный сын, — шепнула она. — И у тебя самые розовые щечки на свете.

— А то как же, — согласился Джереми.

— Вот только смеешься ты странно, — заметила мать, слегка бледнея.

— Это не я, это Пуззи. Он считает, что это ты — странная.

Мама некоторое время стояла, склонившись над кроваткой сына и глядя на него. Но на самом деле на

него смотрели только ее озабоченно сдвинутые брови, в то время как взгляд только скользнул по лицу Джереми и устремился на что-то другое. Затем мать облизнула губы и потрепала его по макушке.

— Спокойной ночи, малыш.

— Спокойной ночи, мамочка.

Джереми закрыл глаза, и мать на цыпочках вышла из комнаты. Чудовище всегда знало, чего оно хочет.

На следующий день, когда настало время послеобеденного сна, мать в сотый раз чмокнула Джереми в лобик и проворковала:

— Ты всегда так хорошо спишь после обеда, милый!

Это была правда. После обеда Джереми всегда отправлялся в постель так же послушно, как вечером. Почему — этого мать, конечно, не знала. Возможно не знал этого и сам мальчик. Пуззи знал, но предпочитал молчать.

Оказавшись в детской, мальчик первым делом открыл ящик с игрушками и достал оттуда Пуззи.

— Готов спорить, — сказал он, — ты не прочь подкрепиться.

— Да. Так что поторопись.

Джереми быстро забрался в кроватку и крепко прижал к себе игрушку.

— Я продолжаю думать об этой девушке, — сказал он.

— О которой?

— Ну, о той, чьи волосы я изменил.

— Быть может, это потому, что ты впервые изменил человека?

— И вовсе не потому! Вспомни того дядьку, который свалился в вентиляционную шахту подземки.

— Тогда ты просто подбросил ему под ноги шляпу. Ту, которую сдуло ветром с головы какой-то дамы. Он наступил одной ногой на поля, другой запутался в тулье и — готово!

— А как насчет той девчонки, которую я толкнул под грузовик?

— Ты к ней даже и не прикасался, — спокойно возразило чудовище. — Она же была на роликовых коньках! Ты только сломал какую-то штучку в одном из колесиков, так что оно не могло вертеться. Вот она и грохнулась на дорогу прямо перед грузовиком.

Джереми задумался.

— А почему раньше я никогда никого не трогал и ничего ни с кем не делал? — спросил он наконец.

— Я не знаю, — проворчал Пуззи. — Но думаю, что это может иметь какое-то отношение к этому дому — к тому, что ты здесь родился.

— Может быть. — Джереми с сомнением пожал плечами.

— Послушай, я голоден, — проговорило чудовище, поудобнее устраиваясь на животе мальчика, который как раз перевернулся на спину.

— Ну хорошо, — вздохнул Джереми. — Следующая лекция?

— Да! — с энтузиазмом воскликнул Пуззи. — Только постарайся грезить поярче. Замечательные штуки эти твои лекции. Они-то мне и нужны; люди, которые их слушают, мне совершенно не мешают. И ты меня тоже не интересуешь. Мне нужно только то, что ты говориш-шь...

Джереми почувствовал в жилах прилив какой-то особенной крови и расслабился. Устремив взгляд на

потолок, он нашел на нем тонкую, не толще волоса, трещинку, на которую всегда смотрел, когда грезил наяву, и заговорил.

— Ну вот, я здесь... Здесь — это значит в большой аудитории. В ней снова собрались все студенты, и эта девушка тоже здесь. Ну, та, у которой блестящие каштановые волосы. Кресло позади нее пустое — раньше там сидела другая девушка — та, которая сломала себе шею...

— Это можно пропустить, — нетерпеливо перебило чудовище. — Что ты говоришь?

— Я...? — Джереми ненадолго задумался, и Пуззи слегка толкнул его.

— Ах да, — спохватился мальчик. — Я говорю о вчерашнем несчастном случае, и добавляю, что как это ни печально, наши занятия должны продолжаться, как то знаменитое представление.

— Так поторопись же! — пропыхтел монстр.

— Сейчас, сейчас, начинаю, — отозвался Джереми с некоторым раздражением. — Вот... Тема сегодняшнего занятия — гимнософисты, чей крайний аскетизм не имел себе равных в писаной истории. Эти странные люди рассматривали одежду и даже пищу как нечто весьма вредное, пагубно влияющее на чистоту мысли. Греки называли их также гилобиоями; это название, как наверняка известно наиболее эрудированным нашим студентам, аналогично санскритскому вана-прасти. Совершенно очевидно, что гимнософисты оказали значительное влияние на Диогена Лаэртия, основателя элизийской школы чистого скептицизма...

Так он бубнил и бубнил ровным, монотонным голосом. Чудовище скорчилось у него на животе. Его

маленькие, круглые уши совершали едва заметные жевательные движения, а порой, когда твари удавалось услышать какую-нибудь особенно смачную подробность из области эзотерических знаний, из его плотных складчатых ушей начинала течь слюна.

В конце концов — примерно час спустя — голос Джереми начал слабеть, а потом и вовсе оборвался, и монстр недовольно завозился.

— В чем дело? — спросил он.

— Снова та девушка, — сказал Джереми. — Пока я говорю, я все время вспоминаю ту девушку.

— Тогда перестань немедленно, я еще не кончил.

— На сегодня все, Пуззи. Я все время мысленно вспоминаю эту девушку и не могу даже продолжать. Сейчас я говорю студентам, какие параграфы в учебнике им следует прочесть и даю задание. Лекция кончилась.

Пасть чудовища была почти полна крови, и оно вздохнуло ушами.

— Что ж, это было не очень много, но все-таки лучше, чем ничего. Теперь можешь спать, если хочешь.

— Я хочу немножко посмотреть картинки.

Чудовище чуть-чуть раздуло щеки — слегка, почти незаметно, так что давление в его пасти было совсем небольшим.

— Валяй. — Оно скатилось с груди Джереми и с мрачным видом свернулось рядом.

Странная кровь поступала в мозг мальчика ритмично и равномерно. Он смотрел в потолок неподвижными, широко раскрытыми глазами и видел себя будущего — худощавого, начинающего лысеть профессора философии.

Он сидел в аудитории и, глядя на то, как студенты поднимаются по крутым ступеням и толпятся у выхода, снова и снова пытаясь найти объяснение своему непонятному желанию снова и снова смотреть на эту девушку, на мисс... э-э-э.... Ах да!..

— Мисс Пэтчелл!

Он вздрогнул, удивляясь самому себе. Он вовсе не собирался окликать ее по имени. Но было уже поздно, и он поспешно собрался и крепко сжал ладони, напуская на себя сухую чопорность, помогавшую ему выглядеть достойнее в своих собственных глазах.

Девушка медленно спускалась по крутым ступенькам прохода. В ее широко расставленных глазах сквозило легкое недоумение. Под мышкой она держала стопку книг; каштановые волосы блестели в неярком дневном свете.

— Да, профессор?

— Я... — Он замолчал и слегка откашлялся. — Я знаю, что занятия закончились, и у вас есть свои планы. Я не задержу вас надолго... А если задержу, — вдруг добавил он, поражаясь своей смелости, — вы вполне можете встретиться с Бертом и завтра.

— С Бертом? О-о... — Девушка очаровательно порозовела. — Я не знала, что вам известно... Как вы догадались?

Он пожал плечами.

— Надеюсь, мисс Пэтчелл, — сказал он, — вы простите своего старого, гм-м... пожилого профессора за его болтовню. Дело в том, что в вас есть нечто такое, что... что...

— Что же? — В ее глазах были настороженность и капелька страха; несколько раз она даже огляну-

лась через плечо — на просторную и уже пустую аудиторию.

Профессор неожиданно хлопнул по кафедре ладонью.

— Нет, я не допущу, чтобы это продолжалось! Я должен объясниться. Вы боитесь меня, мисс Пэтчелл, но вы не правы.

— Пожалуй, я лучше.... — испуганно пробормотала девушка и попятилась.

— Сядьте! — загремел он. За всю свою жизнь он впервые на кого-то закричал, и оттого испытал потрясение едва ли не более сильное, чем сама девушка.

Девушка невольно попятилась и села на одно из кресел в первом ряду; при этом она выглядела намного меньше, чем в действительности. Только ее глаза на побледневшем лице казались огромными.

Досадуя на себя, профессор покачал головой. Потом он поднялся из-за стола и, сойдя с лекторского возвышения, подошел к девушке и сел рядом.

— А теперь успокойтесь и выслушайте меня, — промолвил он, и слегка улыбнулся уголком рта. — Хотя, честно говоря, я даже не знаю, что вам сказать. Что ж, постарайтесь быть терпеливой — это может оказаться очень важным...

Несколько секунд он сидел молча, собираясь с мыслями и стараясь сосредоточиться на тех неясных, расплывчатых образах и картинах, которые теснились в его мозгу. При этом он ясно слышал или, вернее, осознавал, как часто, постепенно замирая, бьется ее сердце.

— Мисс Пэтчелл, — сказал он наконец и повернулся к ней. — Я не заглядывал в ваше личное дело и

не знаю, кто вы такая. До... вчерашнего дня вы были для меня лишь одной из многих — просто студенткой, сдававшей лабораторные работы, которые я должен был проверить и оценить. Я никогда не наводил о вас справок в учебной части, и, насколько мне известно, я впервые разговариваю с вами лично.

— Да, сэр, это так, — негромко подтвердила она.

— Очень хорошо. — Профессор облизнул пересохшие губы. — Так вот, мисс Пэтчелл, вам двадцать три года. Дом, в котором вы родились, был достаточно старым, двухэтажным, с решетчатым эркерным окном в свинцовом переплете на лестничной площадке. Маленькая спальная комната или детская располагалась прямо над кухней, так что когда в доме было тихо, вам был хорошо слышен звон посуды. Этот дом стоял на Базирус-роуд, 191.

— Да, но... Как вы догадались?

Он покачал головой, потом обхватил ее руками.

— Не знаю. Честное слово — не знаю. Я сам жил в этом доме, когда был ребенком. Но я не могу сказать, откуда мне известно, что и вы тоже там жили. В этом доме есть нечто... — Профессор потер лоб. — Мне казалось, что вы могли бы помочь...

Она подняла голову и посмотрела на него. Профессор был человеком деликатного сложения и блестящего ума, но он выглядел усталым и быстро старел, и девушка сочувственно дотронулась до его рукава.

— Мне бы очень хотелось помочь, — сказала она искренне. — Честное слово — хотелось бы.

— Спасибо вам, дитя мое.

— Быть может, если вы расскажете мне больше...

— Я попробую, но... дело в том, что часть моих воспоминаний может показаться вам... очень и очень неприглядной. К тому же, все это было очень давно, теперь я многое забыл, а остальное видится мне, как сквозь туман. И все же...

— Продолжайте, прошу вас.

— Я помню, — почти прошептал он. — Помню вещи, которые случились как бы очень давно, но которые непременно должны найти свой отзвук в настоящем. И недавние события я тоже помню как бы двояко. Одно из воспоминаний — отчетливое и ясное, другое — старое и расплывчатое. И так же неясно, смутно, я *помню* то, что происходит сейчас и то, что только будет происходить.

— Я... не понимаю.

— Мисс Симс... Помните ее? Вчера она погибла в этой самой аудитории.

— Да, помню. Она сидела прямо позади меня, — кивнула мисс Пэтчелл.

— Я знаю это! Больше того, я знал и то, что *должно* с ней случиться. Для меня это знание было как полустертое, смутное, давнее воспоминание — вот что я имел в виду. Я не знаю, мог ли я что-нибудь сделать, чтобы предотвратить этот несчастный случай. Скорее всего — нет, и все же я продолжаю чувствовать себя так, словно она оступилась и упала потому, что я что-то с ней сделал.

— О, нет!..

Профессор чуть тронул руку девушки, без слов благодаря ее за участие, потом жалко улыбнулся.

— Подобное случалось и раньше, — сказал он. — Много, много, много раз. Когда я был сначала мальчиком, а затем — подростком, меня просто пре-

следовали несчастные случаи. Нет, я вовсе не был сорванцом, напротив, я рос тихим и застенчивым ребенком. Я не был особенно силен и подвижен, а книги всегда нравились мне больше бейсбола. И тем не менее мне довелось стать очевидцем доброй дюжины жестоких и, если можно так выразиться, бессмысленных смертей — автомобильных аварий, утоплений, падений с большой высоты, и других случаев... — (тут его голос невольно задрожал) — о которых я не стану упоминать. Кроме этого я был свидетелем множества менее серьезных случаев — на моих глазах люди получали переломы, ножевые ранения и другие увечья. И каждый раз — как и вчера — мне начинало казаться, что это — моя вина, и я... я...

— Не надо, — негромко сказала она. — Прошу вас, не казните себя. Ведь вы были далеко, когда Элен Симс упала.

— В том-то и дело, что я всегда был далеко... достаточно далеко. Но для меня это ровным счетом ничего не значило. Во всяком случае, я продолжал ощущать свою вину. Видите ли, мисс Пэтчелл...

— Кэтрин...

— Да, благодарю вас. Так вот, Кэтрин, существует группа людей, которую работники страховых компаний называют «предрасположенными к несчастным случаям». Безусловно, большинство таких людей попадает в неприятные ситуации исключительно по своей собственной неосторожности или беспечности, или же благодаря каким-то особенностям их психики, которая побуждает таких людей бросать обществу сознательный или бессознательный вызов, чтобы любым способом привлечь к себе внимание. Но есть люди, которые просто присутствуют при разно-

го рода происшествиях, ни в коей мере не участвуя в них. Это, простите за пышное сравнение, своеобразные катализаторы смерти, и я, похоже, один из них...

— Тогда почему же вы ощущаете себя виноватым?

— Я... — Он неожиданно замолчал и посмотрел на нее. У девушки было доброе, нежное лицо, в глазах светилось неподдельное сострадание, и он решился. — Я рассказал вам достаточно много, — промолвил профессор, пожимая плечами. — Вряд ли остальное покажется вам еще более невероятным; вреда от этого, во всяком случае, не будет.

— Обещаю, что бы вы мне ни сказали, вам это не повредит! — сказала она решительно.

Профессор снова улыбнулся ей, на этот раз — в знак признательности, потом опять помрачнел.

— Все эти ужасы — гибель людей, увечья, кровь... Когда-то давно это казалось мне... забавным, занимательным. Должно быть, когда я был ребенком, почти младенцем, кто-то или что-то научило меня подстраивать подобные происшествия и получать удовольствие от смертей и страданий других людей. Я помню... почти помню, когда это прекратилось. У меня была игрушка, у меня была...

Джереми моргнул. Он так долго смотрел на тоненькую, как волосок, трещину в потолке, что от напряжения у него заболели глаза.

— Что это ты делаешь? — спросило чудовище.

— Грежу, — ответил Джереми. — Я стал взрослым, и сижу в большой и пустой аудитории с девушкой, у которой блестящие каштановые волосы. Ее зовут Кэтрин.

— А о чем вы говорите?

— О тех смешных видениях, которые у меня бывают. Только...

— Только — что?

— Не такие уж они смешные.

Чудовище быстро подбежало к нему и легко вскочило на грудь.

— Пора спать, Джереми. Пора спать. Я хочу...

— Нет, — твердо сказал мальчик, прикрывая горло обеими руками. — Пока достаточно. Подожди, пока я досмотрю эту грезу.

— А что бы ты хотел увидеть?

— Не знаю. Пока не знаю. Мне кажется, в этом сне наяву есть что-то...

— Давай лучше повеселимся, — предложило чудовище. — Ведь это *та самая* девушка. Та, которую ты можешь изменять, верно?

— Да.

— Ну так давай, действуй! Пусть у нее исчезнут ноздри. Приделай ей хобот, как у слона. Или бороду. Или — что хочешь. У тебя получится!..

Джереми коротко усмехнулся, потом сказал:

— Не хочу.

— Ну, давай, давай же! Вот увидишь, как весело будет...!

— ...Игрушка, — повторил профессор. — То есть, не совсем. Мне кажется, эта штука могла говорить. О, если бы я только мог вспомнить!

— Не напрягайтесь так. Быть может, если вы не будете стараться специально, все придет само!.. — воскликнула девушка импульсивно хватая его за руку. — Продолжайте, прошу вас.

— Это было что-то... мягкое и не очень большое, — произнес он, запинаясь. — Я что-то не...

— Гладкое? — спросила девушка наугад.

— Нет, оно было такое меховое, пушистое... *Пушистое*! Постойте-постойте, я, кажется, начинаю вспоминать! Я звал его Пуззи. Эта штука действительно была очень похожа на плюшевого мишку, только она умела разговаривать. Ну конечно! Она была живая!

— Быть может, это была не игрушка, а какое-то домашнее животное?

— Нет, — ответил профессор и вздрогнул. — Это была именно игрушка. Во всяком случае, так считала моя мать. И она... это существо заставляло меня грезить наяву.

— Вы хотите сказать — как Питер Иббетсон*?

— Нет, не совсем так.... — Он откинулся на спинку кресла и поднял глаза к потолку. — Дело в том, что обычно я видел самого себя, только более позднего, взрослого. И более раннего тоже. Ох... Должно быть, тогда все и началось. Ведь именно тогда я и начал попадать во всякие истории! Да, да, теперь я вспомнил!

— Успокойтесь, профессор, — проговорила Кэтрин. — Успокойтесь и расскажите мне все по порядку.

Профессор слегка расслабился.

— Итак, Пуззи был чудовищем, монстром, демоном моих кошмаров. И теперь я знаю, что именно он со мной делал! Каким-то образом ему удавалось показать мне меня будущего, я наблюдал со стороны за своим собственным взрослением. Он заставлял меня повторять вслух все, что я узнавал. И он... он ел зна-

---

* Иббетсон, Питер — американский иллюзионист-гипнотизер.

ния! Да, да, именно ел, питался ими. Пуззи испытывал ко мне какую-то странную симпатию, вернее — не ко мне, а к чему-то *во* мне. Он обладал способностью усваивать произносимую вслух информацию и превращать ее в кровь, как растение превращает в клетчатку солнечный свет и воду.

— Я... не понимаю, — снова сказала девушка.

— Не понимаете? Ну разумеется!.. Ни вы, ни я этого не понимаем. Мне только известно, что все было именно так, и мне этого достаточно. Подумать только, что все свои лекции я на самом деле читал плюшевому чудовищу, когда мне было четыре года! Все слова, весь смысл этих лекций каким-то образом попали от меня теперешнего ко мне тогдашнему, и я скармливал их чудовищу, которое поглощало их, как мы поглощаем пищу, а в качестве приправы оно использовало те несчастные случаи, которые оно же заставляло меня устраивать в моих грезах. Однажды Пуззи подучил меня сделать так, чтобы один человек споткнулся — обо что бы вы думали? О шляпу! Абсурд, скажете вы, но это действительно было так! Мужчина споткнулся о женскую шляпку с широкими полями и полетел в вентиляционную шахту подземки. И когда мне исполнилось четырнадцать, я сам оказался поблизости от того места и увидел все своими собственными глазами. И так было и со всеми остальными! Все кошмарные происшествия, при которых мне довелось присутствовать, я, на самом деле, смутно помнил, потому что когда-то я их уже видел! И я не в силах ничему помешать! Скажите, что мне делать, Кэтрин?

В ее глазах стояли слезы.

— А... я? Что насчет меня? — прошептала она больше потому, что ей хотелось помочь ему спра-

виться с отчаянием, чем по какой-либо иной причине.

— Вы... Что-то было и насчет вас. Ах, если бы я только мог припомнить!.. Сейчас мне представляется, что это как-то связано с этим... с этой игрушкой, с этой тварью. Вы росли в том же доме, в том же окружении, что и я, и мне почему-то кажется, что это делает вас особенно уязвимой перед этим существом. Я смутно припоминаю, что оно сделало с вами что-то такое, что... что...

Профессор не договорил. Его глаза округлились от ужаса. Девушка по-прежнему сидела рядом с ним, поддерживала и утешала его. Тон ее голоса нисколько не изменился — изменилась она сама.

Ее лицо ссохлось и съежилось. Глаза удлинились. Уши стали вытягиваться, расти; сначала они сделались длинными, как у осла или кролика, потом превратились в покрытые редкими хитиновыми волосками клешни богомола. Зубы увеличились и стали огромными и острыми, как зубья бороны. Руки сделались длинными, суставчатыми, тонкими, как соломинки, а тело, наоборот, раздалось вширь, как туго набитый мешок.

От нее за версту разило гнилым мясом.

Из открытых лакированных босоножек торчали теперь длинные, мерзкие когти. Кожу покрыли свищи и струпья.

И несмотря на это она — *оно* — продолжало держать его за руку и смотреть на него дружелюбно и с состраданием.

Джереми резко сел и отшвырнул Пуззи в угол кроватки.

— Это не смешно! — крикнул он. — Не смешно, не смешно, не смешно!!! Прекрати немедленно, слышишь?!

Чудовище село и посмотрело на него мягким, ласковым взглядом — ни дать, ни взять настоящий плюшевый медвежонок.

— Не шуми, — сказало оно вкрадчиво. — Оставь от нее мокрое место. Пусть она растечется, как жидкое мыло. Или пусть у нее в животе заведутся шершни. Можно засунуть ее...

Джереми заткнул уши обеими руками и крепко зажмурил глаза. Чудовище продолжало что-то говорить, но мальчик разрыдался и, выскочив из кровати, сбросил Пуззи на пол и наподдал ногой. Чудовище заворчало.

— Вот это — смешно! — выкрикнул мальчик. — Ха-ха!

То всхлипывая, то крича, он наступил обеими ногами на податливый, теплый живот Пуззи и подпрыгнул. Потом подобрал с пола корчащееся тело, швырнул через все комнату и попал в висевшие на стене часы. Часы и чудовище упали на пол почти одновременно, и шестеренки, пружины, осколки стекла и капли крови так и брызнули во все стороны. Джереми бросился к Пуззи и принялся остервенело топтать его, превращая в бесформенную, губчатую массу, и кровь из его изрезанных ступней смешивалась с кровью чудовища — той самой странной кровью, которую Пуззи закачивал в его шейную артерию.

Когда мать Джереми прибежала на шум, она едва не потеряла сознание. С ее губ сорвался отчаянный вопль, но Джереми продолжал смеяться и выкрикивать какие-то нечленораздельные угрозы. Врачу при-

шлось дать ему успокаивающее, и только когда мальчик уснул, он сумел заняться его ногами.

После этого случая Джереми так никогда и не стал крепким, здоровым мальчиком. Но врачам удалось сохранить ему жизнь, на протяжение которой он продолжал смотреть свои странные сны наяву. В конце концов его нашли мертвым в университетской аудитории, где он читал лекции по философии. Глаза его были широко открыты, словно перед смертью он увидел что-то ужасное, и этот нечеловеческий ужас заставил его сердце остановиться.

И молодая студентка, которая первой нашла тело, в страхе бросилась вон из аудитории, во весь голос зовя на помощь.

Шрамы

Бывают порой такие минуты, когда то, что носишь в душе, становится вдруг невыносимо тяжелым, и тогда от этого бремени хочется как-то избавиться. Но мир, увы, устроен так, что то, о чем думаешь и о чем помнишь, нельзя ни поставить на камень у дороги, ни пристроить в развилке дерева, как пристраиваешь порой тяжелый тюк. Только одно способно принять нашу ношу, и это — душа другого человека. Но поделиться сокровенным можно только в те редкие минуты, когда две души объединены общим одиночеством. Ни в отшельническом уединении, ни среди равнодушной толпы человеку еще никогда не удавалось избавиться от этого груза.

Работа по ремонту проволочных изгородей дает человеку одиночество именно такого рода, да так много, что рано или поздно он начинает чувствовать, что сыт им по горло. Это ощущение обычно возникает через две или три недели, когда дни слеплены из жары, укусов надоедливых насекомых и звона сматывающейся с барабана проволоки, а ночи полны звезд и тишины. Порой в такие ночи стрельнет сучок в костре, завоет вдали волк, и человек вдруг поймет, что его напарник тоже не спит и что мысли у него в голове ворочаются, разбухают, растут, с каждой минутой становясь все тяжелее. И если в конце концов они оказываются слишком тя-

---

Пер. изд.: Sturgeon T. Scars: в сб.: Sturgeon T. E Pluribus Unicron. — New York: Ballantine Books, 1965.

желыми, тогда обращаться с ними надо, как с хрупким фарфором, перекладывая вместо стружки долгими периодами молчания.

Вот почему опытный десятник так тщательно подбирает пары ремонтников. Человеку свойственно порой высказывать суждения и мысли, которые растут у него внутри, словно мозоли от кусачек и являются такой же неотъемлемой частью его самого, как порванное ухо или след пулевого ранения на животе. И хороший партнер не должен упоминать об услышанном ни после восхода солнца, ни даже после смерти напарника. А часто — и вообще никогда.

Келлет как раз и был человеком с затвердевшими от кусачек ладонями, с разорванным ухом и с пулевыми шрамами на животе. Сейчас он уже давно умер. Пауэрс никогда не расспрашивал его об этих шрамах. Он и сам был хорошим ремонтником и отличным напарником. Обычно эти двое работали в полном молчании, и лишь одобрительно хмыкали, когда яма для столба оказывалась нужной глубины, или произносили коротенькое «дай-ка...», когда кому-то из них был нужен тот или иной инструмент. Устраиваясь на ночлег, они никогда не говорили «ты собери хворост» или «свари кофе», потому что кто-нибудь из них просто шел и делал, что нужно, не дожидаясь напоминания или просьбы. Поужинав, они сидели у костра и курили, и иногда разговаривали, а иногда — молчали, и порой сказанное было важным для обоих, а иной раз — совсем не важным.

Келлет сам рассказал Пауэрсу о своем ухе, когда однажды готовил для них скромный ужин. Присев на корточки с наветренной стороны костра, он держал над огнем сковороду на длинной ручке и, машинально

наклоняя ее то в одну, то в другую сторону, смотрел на нее взглядом человека, внезапно заинтересовавшегося узором на кольце, которое до этого носил много лет.

— Один раз мне пришлось здорово подраться, — сказал он.

— Из-за женщины, конечно, — отозвался Пауэрс.

— Угу, — согласился Келлет. — Когда я был таким же молодым, как ты, я втюрился в одну портниху из Келсо. Обычно я у нее обедал — она умела здорово готовить мясное рагу с овощами...

Минут через десять, когда оба уже сели ужинать, Келлет продолжил рассказ.

— И тут появляется этот хлыщ с напомаженными волосами. От него так и несло чистотой...

— Мексикашка?

— Не-е... Откуда-то с востока.

Пауэрс промолчал, но его молчание просто заменяло собой ответную реплику, не выражая ни любопытства, ни желания поторопить Келлета.

— Девчонка сразу же зазвала его к себе, выгребла из горшка остаток рагу, который я считал своей законной добавкой, и начала с ним хихикать, да перешучиваться... — Тут Келлет снова замолчал, пережевывая то, что было у него во рту. Проглотив последний кусочек пищи, он решительно сказал:

— Наверное, я вышел из себя. Просто не смог совладать с собой и сказал ему пару ласковых. Парень захотел мне объяснить, что такие слова, дескать, негоже употреблять в присутствии дамы. Короче, мы сошлись, и очень скоро все было кончено. Видишь ухо?..

— Пижон схватился за перо?

Келлет отрицательно покачал своей большой, покрытой шрамами головой.

— Не-а... Он огрел меня сковородой. Чуть-чуть промахнулся — вот и вырвал кусок уха. Зато потом мне потребовалось не меньше часа и целый брусок дегтярного мыла, чтобы отмыть от костяшек этот дурацкий жир, которым он смазывал свои волосы...

Когда однажды после обеда они купались в прохладном быстром ручье, Келлет очень коротко рассказал Пауэрсу, как получилось, что у него на животе две раны, хотя пуля была только одна.

— Когда-то у меня брюхо было, как небольшой бурдюк, — сказал он. — Пуля вошла с одной стороны, а вышла с другой. Сперва я думал, мне конец, и меня остается только добить, спустить кровь, ободрать и закоптить на зиму. Но я сдюжил... Конечно, в больнице с брюхом пришлось расстаться. Чуть не месяц меня кормили одной протертой пищей вроде заварного крема, потому что все кишки у меня были разворочены, и кое-где водопровод даже соединился с канализацией...

А у парня, который лежал на соседней койке, был запас чернослива, и мне все хотелось его попробовать. Однажды ночью он умер. Нас поднимали на завтрак еще до рассвета, и когда я увидел, что чернослив ему больше не понадобится, я взял его и съел. Мне казалось, что об этом никто не узнает... — Он усмехнулся.

Потом, когда они оделись и, взобравшись в седла, отправились осматривать очередную изгородь, Келлет неожиданно добавил:

— Они нашли черносливовые косточки в моих бинтах.

Но только поздним вечером Келлет рассказал главное — то, что росло в нем, как мозоль, и было много глубже шрамов от пули.

На этот раз — просто для разнообразия — первым заговорил Пауэрс. Заговорил, разумеется, о женщинах.

— Они постоянно нас бросают, — пожаловался он, выпрастывая из спального мешка локоть и опираясь на него. И добавил нарочитым скрипучим сопрано, словно передразнивая кого-то: — «Ты нравился бы мне гораздо больше, Джордж, если бы вел себя, как джентльмен»...

Потом он убрал локоть и, саркастически хмыкнув, снова улегся.

— Я знаю, что такое джентльмен, — сказал он. — Это то, чем тебе никогда не стать, даже если ты отрастишь крылышки и обзаведешься золотым сиянием над башкой. Я, во всяком случае, еще ни разу не видел ни одного. Или, иными словами, я еще никогда не видел мужчины, которому женщина не нашла бы повода сказать, что он — не джентльмен...

Пламя в костре поднималось, казалось, да самого неба, потом дрова прогорели, и огонь стал угасать.

— *Я* джентльмен, — сказал Келлет.

Именно в этот момент Пауэрс ощутил *это* — неотступное, громоздкое, давящее воспоминание, которое росло и зрело в его напарнике. Но он ничего не сказал. Он просто лежал молча, прислушивался к дыханию Келлета и думал о том, что и Келлет наверняка знает, что его напарник не спит.

— Ты никогда не бывал в Пушматаге? — спросил Келлет немного погодя. — Впрочем, вряд ли. Там есть одна речушка, называется Киамичи. В тот год я как раз уволился с ранчо у Крутых Ступенек и отправился бродяжить. И вот, переваливаю я через бугорок и направляюсь к этой самой речушке, как вдруг вижу — в воде что-то сверкает. Подъезжаю ближе, глядь — жен-

щина!.. Я так и встал как вкопанный, до того удивился. И не мудрено, ведь она была в чем мать родила.

Наконец она накупалась и пошла к берегу напротив. Когда вода дошла ей до колен, она остановилась, чтобы отжать волосы, и вот тут-то заметила меня! Бедняжка рванулась к берегу и упала — поскользнулась, должно быть, или споткнулась о камень. Так и не знаю, в чем было дело, но она упала и осталась лежать.

Признаться, я почувствовал себя скверно, ведь я совсем не хотел ее пугать. Если бы она не увидела меня, я бы поехал дальше своей дорогой и скоро бы обо всем забыл, но теперь... Что мне было делать? Бросить ее? Но она запросто могла утонуть. К тому же, падая, она могла пораниться, даже убиться...

Короче, я мигом спустился к реке, от души надеясь, что она жива и здорова и просто стыдится. Мне даже думать не хотелось, что она может быть мертва. Но не все оказалось так хорошо, как я рассчитывал. Падая, она ударилась головой о камень.

К счастью, ярдах в ста ниже по течению стоял какой-то дом, вроде фермы. Делать нечего — поднимаю женщину на руки (а весила она не больше теленка) и несу туда. У крыльца я усадил ее на землю и покричал, но никто не вышел — должно быть на ферме никого не было. Тогда я вошел внутрь, нашел кровать и перенес на нее женщину, а сам снова вышел во двор и посвистел моей индейской лошадке, чтобы снять седельные сумки — я как чувствовал, что они мне понадобятся.

Когда я вернулся в дом, у женщины снова шла кровь. Пришлось отыскать полотенце, подложить ей под голову и заняться раной.

Рана мне не понравилась — для женщины она, прямо скажем, была великовата. Падая, она рассекла кожу на голове прямо под волосами, и разрез был не меньше четырех дюймов длиной. Я промывал его чистым виски, а сам любовался ее волосами. Про такие говорят — «как вороново крыло»; обычно они кажутся черными, но на свету начинают отливать синевой. В общем...

Келлет не договорил и молчал довольно долго. Пауэрс тем временем нашел трубку, набил табаком, выбрался из спальника и, достав из потухающего костра уголек, прикурил. Потом, так и не произнеся ни слова, снова вернулся в мешок.

Когда напарник улегся, Келлет сказал:

— Она была жива, но без сознания, и я, черт побери, совершенно не знал, что делать. К счастью, кровотечение скоро прекратилось, но я понятия не имел, то ли растирать ей запястья, то ли ходить перед ней на голове — я ведь не доктор! В конце концов я просто сел рядом и стал ждать. Чего? Я и сам не знал. Может, того, что она очнется; может, того, что кто-нибудь придет. В последнем случае меня, кстати, могли ждать крупные неприятности, и я отлично это понимал, но ведь не мог же я просто взять и уехать!..

Часа через два стемнело, и я зажег лампу — простой фитиль, который обмакнули в глиняную плошку с жиром, потом развел огонь в плите и сварил немного кофе из собственных запасов. Кофе был уже почти готов, когда мне послышался какой-то звук, донесшийся из ее комнаты. Я обернулся. Она сидела на кровати и смотрела на меня, крепко прижимая к себе одеяло, и глаза у нее были величиной с железное кольцо от коновязи. Когда я шагнул к ней, она писк-

нула и, забившись в самый дальний угол кровати, велела мне не приближаться.

«Я не трону вас, мэм, — сказал я как мог вежливо. — Вы поранились, так что вам бы лучше не делать резких движений».

«Кто вы такой? — спросила она. — И что вы здесь делаете?»

Я назвал ей свое имя, потом говорю:

«Смотрите, мэм, вот у вас опять кровь идет. Лягтека лучше обратно и дайте мне заняться вашей раной».

Не знаю, поверила ли она мне, или просто снова потеряла сознание. Как бы там ни было, она упала на подушку, и я положил на рану чистую тряпицу, смоченную холодной водой.

От этого она снова пришла в себя и спросила, что случилось, и я, как мог, рассказал ей, что произошло.

Тут она вроде как разозлилась.

«Я просто купалась, — говорит. — И если бы не вы, я бы не...».

Ну, дальше я не очень слушал. Впрочем, она ничего путного не сказала — только верещала, как рассерженная белка.

Тогда я ей прямо так и говорю, как есть:

«Вы, мадам, упали и шибко ударились головой, и ничего другого не было. Я сделал для вас только то, что должен был сделать. Наверное, — говорю, — тут и моя вина есть, да только я вам вреда не хотел. И вот вам мое честное слово: как только здесь кто-нибудь появится, я сразу же уеду. Когда возвращается ваш муж, мэм?..»

Ну, это ее успокоило, и она немного рассказала мне о себе. Ее ферма была обычным участком поселенца: она владела им с правом первой очереди на

выкуп, и до конца срока оставалось еще восемнадцать месяцев. Муж ее в прошлом году попал в горах под обвал, но перед смертью успел взять с нее клятву, что она сохранит землю за собой. Не знаю, что бы она делала с этой землей потом, но почему-то мне казалось, что свою землю она никому не отдаст и будет держаться за нее зубами и ногтями — столько в ней было мужества...

Тут Келлет снова замолчал. Свет, встающей из-за горизонта луны, уже давно разогнал непроглядную черноту неба, но цепь холмов на востоке была попрежнему укрыта густой тенью. В трубке у Пауэрса неожиданно засипело.

— Когда-то у нее был сосед, в четырнадцати милях ниже по течению, но предыдущей зимой его ферма сгорела до тла, и он подался из тех краев. Другой фермер, который жил в восьми милях выше по течению, уехал с женой к Крутым Ступенькам табунить лошадей и должен был вернуться не раньше, чем через полтора-два месяца. Она жила тем, что выращивала и сушила кукурузу и горох, да держала про черный день немного картофеля. Посторонние в этих краях появлялись редко, почти никогда, поэтому было только естественно, что в жару она купалась нагишом.

Когда я спросил, не боится ли она бродяг — таких как я, или вооруженных бандитов, она сунула руку под кровать и со словами «это для всяких подонков», достала заряженный дерринджер*. Потом она пока-

---

* Дерринджер — крупнокалиберный капсюльный пистолет, популярный на Диком Западе, предназначавшийся для скрытого ношения, и эффективный на коротких дистанциях.

зала мне небольшой острый нож и добавила: «А это — для меня».

Да, именно так она и сказала, и я велел ей держать оружие под рукой, хотя мне было страшно даже подумать о том, что однажды ей, возможно, действительно придется пустить его в ход. Мне было жаль ее, но ее твердый характер тоже пришелся мне по душе.

Мы еще немного поболтали, и я испек на плите ржаные лепешки. На ночь я собирался устроиться во дворе под навесом, но она сказала, что я могу лечь в кухне. Тогда я велел ей запереть свою дверь, и она действительно закрыла ее на толстый деревянный брус, а я постелил на полу одеяла и отправился на боковую.

Краешек луны, показавшийся над посветлевшим челом холма, был похож на драгоценную бусину. Жемчужное зарево ночного светила делалось все ярче, превращаясь из призрачного нимба в плотную корону. Пауэрс докурил трубку и убрал ее.

— Утром, — продолжил Келлет, — она не смогла встать. Когда она не откликнулась на мой стук, я, естественно, вышиб дверь, и сразу понял, что у нее лихорадка. Она так крепко спала, что никак не могла проснуться, потом на пару минут открыла глаза, но не успели мы обменяться двумя словами, как она снова отключилась. Я просидел с ней почти весь день и отлучался, только когда надо было задать лошади овса и приготовить что-нибудь поесть. Я ухаживал за ней, как за малым ребенком, постоянно обтирал ей лицо холодной водой, но я мало что мог. Раньше мне ни разу не приходилось ухаживать за больными, и я просто не знал, что полагается делать в таких случаях. Во всяком случае, я старался изо всех сил.

После полудня она начала бредить, бредить по-настоящему. Целый час или около того она разговаривала со своим покойным мужем, словно это он сидел с ней, а не я. Очень скоро я понял, что этому парню здорово повезло с женой. Она говорила...

Впрочем, неважно, что она говорила. Главное, я... начал откликаться на ее бред. То есть, иногда, когда она принималась особенно настойчиво звать своего покойника, я просто говорил: «Да, дорогая» или что-то вроде того. Наверное, она сама не очень верила, что он действительно рядом — как-никак прошло уже больше года, с тех пор как ее муж погиб, и все же ей было капельку легче. Во всяком случае, она обращалась к нему так, как... как ни одна женщина никогда не обращалась ко мне. И если я отвечал ей, она вроде как успокаивалась, а если нет — продолжала звать его снова и снова, начинала раздражаться и беспокоиться. Пару раз у нее даже снова открылось кровотечение, так что ничего другого мне просто не оставалось.

На следующий день ей стало лучше, но она была слаба, как новорожденный жеребенок в период засухи. Она все время спала, и у меня оказалось много свободного времени, которое я просто не знал, куда девать. Я нашел оленину, которую она разложила на решетке для сушки, досушил ее над огнем и повыдергивал сорняки из гороха. Несколько раз я возвращался в дом, чтобы посмотреть, все ли в порядке, но она спала, и я решился съездить на холмы, где я заметил почти созревший боярышник. Набрав немного ягод, я рассыпал их на солнце, чтобы зимой она могла добавить их в пирог с сушеными яблоками.

Так прошло четыре или пять дней. Однажды мне удалось подстрелить оленя, и я содрал с него шкуру, а

мясо разрезал на полоски на индейский манер и высушил. Потом я подправил навес и подремонтировал кое-что в доме, словом — делал, что мог. Пока я чинил дверь в комнату, которую выбил в первое утро, она внимательно наблюдала за мной с постели, а когда я закончил — похвалила меня.

«Вы — молодец, Келлет», — вот что она сказала. Сейчас кажется, что это не Бог весть что, но... все же она это сказала.

Пауэрс молча следил за тем, как полная луна, выбравшись, наконец, из-за холмистой гряды, цепляется за землю и дрожит в самой высокой точке, готовясь пуститься в самостоятельное плавание. Сухое дерево, одиноко торчавшее на вершине холма, четко вырисовывалось на лунном диске, напоминая прижатую к золотистому лицу руку в черной перчатке.

Келлет сказал:

— Взгляни на это старое дерево. Оно выглядит таким сильным и таким... мертвым.

Когда луна, наконец-то оторвавшись от земли, поплыла над холмами, Келлет вернулся к своему рассказу.

— В общем, я починил эту дверь, поставил новый косяк и укрепил петли, так что каждому, кому вздумалось бы ее снова вышибить, пришлось бы как следует потрудиться. Она...

Пауэрс молча ждал.

— ...Она ни разу не закрыла ее, даже когда окрепла настолько, что была в состоянии встать и дойти до кухни. Она просто оставляла ее открытой. Не знаю, может быть, ей это просто не пришло в голову. А может, наоборот... Как бы там ни было, вечерами я по-прежнему стелил свои одеяла в кухне, ложился и

ждал. Обычно она говорила мне: «Спокойной ночи, Келлет», или «Приятных сновидений, Келлет». Такие слова — они, брат, дорогого стоят, так что за них не жалко маленько поплотничать или поковыряться в земле...

Однажды ночью, на десятый или одиннадцатый день после того как я попал в этот дом, я неожиданно проснулся от какого-то странного звука. Сначала я не понял, что это такое, и только потом догадался, что она плачет в темноте. Я окликнул ее, спросил, что с ней, но она не ответила и продолжала реветь. Тогда я подумал, что у нее, верно, сильно болит голова, но когда я встал и спросил, не нужно ли ей что-нибудь, она опять не ответила.

Но я слышал, что она продолжает плакать. Нет, конечно, она не рыдала в голос и не выла по-бабьи, но я знал, что она плачет по-настоящему. А такие вещи всегда заставляют мужчину чувствовать, будто у него внутри все наизнанку выворачивается.

Я вошел в комнату и окликнул ее по имени. В ответ она только похлопала рукой по кровати — садись, мол. Я сел и потрогал рукой ее щеку, чтобы посмотреть, не вернулась ли лихорадка, но щека была прохладной и мокрой. И тут она сделала странную вещь. Она схватила мою ладонь обеими руками и так крепко прижала к губам, что я даже удивился. Я и не знал, что она такая сильная.

Так мы сидели минуты две или три; потом я осторожно высвободил руку и спрашиваю: «О чем вы плачете, мэм?» А она отвечает: «Просто хорошо, что ты рядом». Тогда я встал и говорю: «Вам надо бы отдыхать, мэм». А она...

Между этими и следующими его словами прошли

целых две минуты, но, когда Келлет снова заговорил, его голос нисколько не изменился.

— ...А она снова расплакалась и плакала, наверное, целый час, а потом как-то внезапно успокоилась. Не помню, спал ли я после этого, или нет — так все в голове перепуталось. Помню только, что утром она встала очень рано и сразу принялась готовить рагу — впервые с тех пор, как упала.

«Эй, мэм, — говорю, — будьте осторожны. Вы же не хотите загнать себя до смерти?»

А она этак сердито отвечает, что могла, мол, взяться за эту работу еще третьего дня. Не знаю, на кого из нас двоих она тогда сердилась, но завтрак у нее получился — пальчики оближешь.

Словом, этот день вроде и похож был на предыдущие, да только не совсем. До этого мы если и разговаривали, то только о делах: о гусеницах, объевших помидоры, о щели в коптильне, которую надо было заделать, и о всем таком. И в тот день мы говорили, вроде, о тех же самых вещах, но разница состояла в том, то нам обоим приходилось очень стараться, чтобы поддерживать этот разговор. И еще: ни один из нас ни разу не обмолвился о делах, которые надо сделать *завтра*.

Около полудня я собрал свои пожитки, упаковал в седельные сумки, привел лошадь и поставил под навес, чтобы напоить как следует. Ее я почти не видел, но знал, что она наблюдает за мной из дома. Когда все было готово, мне вздумалось потрепать мою конягу по шее, но тут на меня словно что-то нашло. Я не рассчитал удара и так хватил ее по холке, что она попятилась и чуть не встала на дыбы. А я не мог взять в толк, что это со мной.

Тут она вышла, чтобы попрощаться. Стоит и смотрит на меня. Потом говорит:

«До свидания, Келлет. Да благословит вас Господь».

Ну, я тоже с ней попрощался, а она все стоит и молчит, и я тоже молчу. Наконец она говорит:

«Вы, наверное, думаете, что я — скверная женщина».

«Ничего подобного, — говорю, — мэм. Просто вы были больны, и вам, наверное, было здорово одиноко. Но теперь, надеюсь, с вами все в порядке».

«Да, — отвечает, — со мной все в порядке и, пока я живу, всегда будет в порядке. А все благодаря вам, Келлет. Вам, — говорит, — пришлось думать за нас двоих, и вы справились. Вы — настоящий джентльмен, Келлет», — вот как она сказала.

Потом я вскочил в седло и выехал со двора. На холме, правда, обернулся и увидел, что она все стоит подле навеса и глядит мне вслед. Ну, я махнул ей на прощание шляпой и поскакал дальше. Вот и вся история...

Ночь из черно-синей сделалась белой, ибо луна уже сменила золотую роскошь вечернего пеньюара на серебристое дорожное платье. Келлет заворочался, и Пауэрс понял, что теперь и он тоже может что-нибудь сказать, если, конечно, захочет.

Где-то коротко пискнула мышь, попавшая в когти бесшумной летунье-сове, и голодный лай койота разбудил в холмах одинокое эхо.

— Значит, вот что такое джентльмен... — промолвил Пауэрс. — Мужчина, который, когда надо, умеет думать за двоих, так что ли?

— Не-а... — насмешливо отозвался Келлет. — Она решила, что я джентльмен, потому что я ее не тронул.

— А почему? — спросил Пауэрс напрямик.

Человек иногда высказывает мысли, которые растут у него внутри, как мозоли на руках, и которые являются такой же неотъемлемой частью его самого, как разорванное ухо или след пулевого ранения на животе. И тот, кому он открывает душу, должен уметь молчать об услышанном и после того, как взойдет солнце, и после смерти напарника, и вообще — всегда.

И Келлет сказал:

— Я просто не мог.

Руки Бьянки

Рэн впервые увидел Бьянку, когда мать привела ее с собой в лавку. Она была приземистой, широкой в кости, с редкими сальными волосами и гнилыми зубами. Из безвольно распущенного рта стекала на подбородок беловатая струйка слюны. Двигалась она так, словно была слепой, или же ей было совершенно наплевать, на что она налетит через следующие два шага. Ей и в самом деле было все равно, потому что Бьянка от рождения была идиоткой, и только ее руки...

Это были очень красивые, очень изящные руки — мягкие, гладкие, белые, как снежные хлопья, с едва заметным розовым оттенком, напоминавшим отблеск планеты Марс на снегу. Руки лежали на прилавке бок о бок и смотрели на Рэна. Полусжатые кисти, обращенные ладонями вниз, были чем-то неуловимо похожи на двух припавших к земле зверьков, и точно так же, как какая-нибудь лесная тварь, они слегка раздувались и опадали, словно дыша. И они смотрели на него. Не наблюдали — наблюдать и следить они будут потом. Пока же они только смотрели, и Рэн, отчетливо ощущавший на себе их пристальные взгляды, почувствовал, как сердце у него забилось сильно и часто.

Мать Бьянки скрипучим, резким голосом потребовала сыра, и Рэн не торопясь принес ей его. Пока он ходил, женщина честила его на чем свет стоит и,

---

Пер. изд.: Sturgeon T. Bianca's Hands: в сб. Sturgeon T. E Pluribus Unicorn. — New York: Ballantine Books, 1965.

наверное, она имела на это право, как имеет право быть ожесточенной и раздражительной любая женщина, у которой нет мужа, а единственная дочь — слабоумная уродина.

Рэн отдал ей сыр и взял деньги, и хотя женщина заплатила меньше, чем следовало, он не обратил на это никакого внимания. Виноваты в этом были руки Бьянки. Когда мать попыталась взять дочь за одну из них, руки отпрянули так, словно не желали этого прикосновения. При этом они даже не оторвались от прилавка, а, приподнявшись на пальцах, быстро-быстро отбежали к краю столешницы и, соскочив вниз, скрылись в складках платья Бьянки. Мать, однако, это нисколько не смутило. Схватив дочь за локоть, оказавшийся не таким норовистым, она выволокла ее из лавки.

Рэн остался стоять за прилавком, раздумывая о руках Бьянки. Он был здоровым, молодым, до красноты загорелым и не особенно умным парнем, которого никто никогда не учил различать прекрасное и удивительное, но ему это и не требовалось. Плечи у него были широкими, руки — сильными и крепкими, глаза — большими и добрыми, а ресницы — длинными и густыми. Сейчас они были опущены, но несмотря на это Рэн продолжал видеть перед собой руки Бьянки, и отчего-то ему было трудно дышать.

Хлопнула входная дверь — это вернулся Хардинг, хозяин лавки. Это был крупный, полный мужчина с такими толстыми щеками, что они почти сходились посередине лица, совершенно скрывая нос, губы и все остальное.

— Прибери-ка здесь, Рэн, — сказал Хардинг. — Сегодня закрываемся пораньше.

И с этими словами он встал за прилавок, с трудом протиснувшись мимо Рэна.

Рэн взял метлу и начал задумчиво мести пол.

— Только что одна женщина купила сыр, — сказал он неожиданно. — Бедная женщина в очень старой, поношенной одежде. Она была с дочерью, но как выглядит девочка я совсем не помню, если не считать... Ты не знаешь, кто она?

— Я видел, как они выходили, — ответил Хардинг. — Эта женщина — мать Бьянки, а девчонка, соответственно, сама Бьянка. Как зовут мать я даже не знаю — они почти никогда ни с кем не разговаривают. И лучше бы они сюда вовсе не приходили!.. Давай, Рэн, живей поворачивайся.

Рэн домел пол и убрал метлу в угол. Прежде чем уйти, он спросил:

— А где они живут? Ну, Бьянка и ее... ее мать?

— На другом конце деревни, на выселках. Там и улицы-то никакой нет. Спокойной ночи, Рэн.

Рэн не стал дожидаться ужина и, выйдя из лавки, прямиком отправился на другой конец деревни. Он легко нашел указанный дом, потому что он действительно стоял вдалеке от дороги. Со всех сторон его окружали пустыри, словно жители поселка сознательно стремились отгородиться от него и его обитателей.

— Что тебе надо? — хрипло спросила мать Бьянки, отворяя ему дверь.

— Можно мне войти?

— Зачем?

— Можно мне войти? — повторил Рэн.

Мать Бьянки сделала такое движение, будто соби-

ралась захлопнуть дверь прямо перед его носом, потом неожиданно отступила в сторону.

— Проходи.

Рэн вошел и остановился на пороге. Мать Бьянки пересекла комнату и села в густой тени, которое отбрасывало донышко старой масляной лампы. Рэн опустился на шаткий трехногий табурет напротив. Бьянки в комнате не было.

Женщина хотела что-то сказать, но неловкость помешала ей произнести хоть слово, и тогда она, как щитом, снова закрылась своим молчаливым горем. Лишь время от времени она бросала на Рэна короткие взгляды исподлобья. Рэн сидел спокойно, сложив руки на коленях, и в его глазах тлел огонек неуверенности.

— Гхм.... — откашлялась мать и снова надолго замолчала, впрочем, уже простив юношу за его непрошеное вторжение. Неожиданно она сказала:

— ...Дело в том, что ко мне уже давно никто не заходит. Раньше-то все было по-другому. Когда-то я была красива...

И она снова замолчала. Потом слегка наклонилась вперед, ее лицо вынырнуло из тени, и Рэн увидел, какое оно сморщенное и затравленное. Женщина была сломлена невзгодами, задавлена нищетой и не хотела, чтобы над ней смеялись.

— Да, — сказал он мягко, и женщина со вздохом откинулась назад, так что ее лицо снова исчезло. Некоторое время она ничего не говорила — просто сидела, рассматривая Рэна и чувствуя, что он начинает ей нравиться.

— Мы были счастливы вдвоем, — сказала она немного погодя. — А потом родилась Бьянка. Он не

смог полюбить ее, бедняжку, как не смогла и я. В конце концов он бросил нас и ушел. Я осталась, потому что была ее матерью. Нет, если б я могла, я бы тоже бросила ее и бежала куда глаза глядят, но меня здесь слишком хорошо знают, а у меня нет и никогда не было ни гроша... просто ни гроша. В конце концов меня все равно заставили бы вернуться, чтобы заботиться о дочери. Впрочем, сейчас это уже не имеет значения, потому что я никому не нужна. Люди не хотят видеть ни меня, ни мою дочь; они...

Рэн неловко пошевелился, потому что женщина плакала.

— У тебя найдется для меня комната? — спросил он.

Ее голова снова показалась из тени, и Рэн быстро добавил:

— Я буду платить каждую неделю, и принесу свою постель и прочее...

Он буквально трепетал при мысли, что ему откажут.

Женщина снова слилась с темнотой.

— Если хочешь... — сказала она, еще не в силах поверить в свою невероятную удачу. — Только зачем тебе?.. Впрочем, я думаю, что если бы у меня были хоть какие-то продукты и желание возиться с кастрюльками, я сумела бы сделать так, что у меня любому человеку было бы хорошо. Но... Зачем это *тебе*?

Она поднялась, но Рэн, поспешно вскочил и заставил ее снова сесть. Сам он остался стоять, грозно возвышаясь над ней.

— Ты не должна задавать мне этот вопрос. Никогда, — проговорил он с расстановкой. — Никогда, слышишь?

С трудом сглотнув, она утвердительно кивнула.

— Я вернусь завтра с постелью и с вещами, — подвел он окончательный итог.

С этими словами Рэн вышел, оставив ее, обернутую, как в кокон, в свое несчастье и удивление, сидеть в тени от лампы и моргать глазами.

В деревне много говорили об этом его поступке.

— Рэн переехал к матери Бьянки, — говорили одни. — Должно быть, затем, чтобы...

— Ах! — восклицали другие. — Рэн всегда был странным. Наверняка это потому, что...

— О, нет! — с негодованием возражали третьи. — Наш Рэн — хороший парень, он не стал бы...

Узнал об этом и Хардинг. Узнал — и чуть не до смерти напугал одну непоседливую кумушку, которая принесла ему эти новости.

— Рэн, конечно, тихоня, — сказал Хардинг, — но он — честный парень, и работящий. Покуда он приходит по утрам в лавку и отрабатывает деньги, которые я ему плачу, он может делать, что хочет, и жить, где хочет, и я не стану лезть в его дела.

Он сказал это таким резким тоном, что кумушка не посмела больше ничего добавить.

А Рэн был совершенно счастлив на новом месте. Не тратя лишних слов скажем, что он начал знакомиться с руками Бьянки.

Особенно часто Рэн смотрел, как мать кормит Бьянку. Руки девушки — эти две прелестных аристократки — не принимали в этом процессе ни малейшего участия. Очаровательные паразитки, нежные нахлебницы, они получали свою жизненную силу от неповоротливого, неуклюжего тела, которому принадлежали, но ничего не давали ему взамен. Обычно они лежали по обеим сторонам тарелки и только ти-

хо подрагивали, пока мать Бьянки отправляла ложку за ложкой в равнодушный, слюнявый рот дочери. Но под пристальным взглядом Рэна эти руки слегка смущались; застигнутые им на ярком свете, на открытом пространстве скатерти, они спешили отползти к краю стола и скрыться за ним, так что на виду оставались только розовые и внимательные кончики пальцев.

И еще эти руки никогда не отрывались от поверхности, на которой лежали. Когда Бьянка ходила, они не болтались свободно, а, вцепившись в ткань платья, копошились в складках, словно живя своей особой жизнью. Когда она подходила к столу или каминной полке, ее кисти быстро вскарабкивались по ткани вверх, прыгали и, приземлившись на какой-нибудь подходящей поверхности, бесшумно укладывались рядом, странно подрагивая и настороженно приглядываясь к обстановке.

Руки явно заботились друг о друге. Саму Бьянку они никогда не трогали, но одна рука часто растирала и ухаживала за другой и наоборот. Это, кстати, была единственная работа, до которой они снисходили.

Как-то вечером, на третий день после своего переезда, Рэн впервые попытался взять одну из этих рук в свои. Бьянка была в комнате одна, и Рэн сел на скамью подле нее. Она не отодвинулась, и ее руки тоже остались там, где лежали — на маленьком столике, где они прихорашивались и приводили друг друга в порядок.

Именно тогда они начали следить за Рэном. Он чувствовал это всей своей душой, всем своим очарованным сердцем. Руки продолжали нежно поглаживать одна другую, но вместе с тем они, несомненно,

осознавали его присутствие и догадывались о его страсти. Словно зная, что он на них смотрит, руки томно изгибались и потягивались, и Рэн чувствовал, как кровь вскипает в его жилах.

И, не сумев сдержаться, он потянулся, чтобы схватить их. Рэн был силен, и его движение было быстрым и резким. Тем не менее одна рука исчезла, словно ее и не было — так быстро она соскользнула под стол, на колени Бьянки. Зато другая...

Длинные, сильные пальцы Рэна сомкнулись на белой кисти Бьянки и сжали ее. Рука попыталась освободиться, вывернуться из его хватки, и это ей почти удалось. Похоже, кисти Бьянки пользовались отнюдь не силой тела или предплечий, потому что от запястья до плеча конечности Бьянки были дряблыми и неизменно расслабленными. Сила ее рук, как и их красота, казались чем-то совершенно отдельным, самостоятельным, и Рэну удалось удержать руку Бьянки в своей только тогда, когда он перехватил ее за холеное, пухлое запястье.

Он был так сосредоточен на том, чтобы сначала прикоснуться, а потом и удержать эту прелестную руку, что даже не заметил, как вторая кисть, взлетев с колен слабоумной, приземлилась на краю стола. Сначала она попятилась, по паучьи подбирая под себя сложенные пальцы, потом вдруг метнулась вперед, схватив за запястье его самого. Тонкие белые пальцы сжались с невероятной силой, и Рэн вдруг услышал, как трещат его собственные кости.

Вскрикнув, он выпустил запястье девушки. Руки тотчас же улеглись рядом на столике и принялись ощупывать друг друга в поисках ран и повреждений, которые он мог нечаянно причинить им в порыве

страсти. Потом Рэн, по-прежнему сидевший на скамье и потиравший свое пострадавшее запястье, увидел, как руки, приподнявшись на пальцах, подбежали к краю стола и, зацепившись за него, заставили Бьянку подняться. Никакой своей воли у этой идиотки, разумеется, не могло быть, но зато у ее рук она была! Карабкаясь по стенам, цепляясь за едва заметные выступы и щели в их деревянной обшивке, они выволокли Бьянку из комнаты.

Оставшись один, Рэн заплакал, и вовсе не от боли в запястье, которое уже начало опухать, а от стыда за свой поступок. И что это ему пришло в голову действовать так грубо? Гораздо скорее ему удалось бы завоевать их, если бы он предпочел грубой силе ласку и нежность...

Он сидел, низко опустив голову, и вдруг снова почувствовал на себе их взгляд. Рэн поднял голову достаточно быстро, чтобы заметить, как одна из рук юркнула за косяк двери. Значит, понял Рэн, они вернулись, чтобы понаблюдать за ним...

Он поднялся и вышел через другую дверь, унося с собой свой стыд. За порогом он, однако, остановился, чтобы посмотреть, что будет дальше. Из этого укрытия хорошо просматривалась вся комната, и вскоре Рэн увидел, как руки возвращаются, таща за собой равнодушную Бьянку. Подведя ее к скамье, на которой они с Рэном сидели несколько минут назад, руки заставили девушку сесть, а сами вспрыгнули на столик и принялись самым любопытным образом кататься по столешнице, то ложась на нее плашмя, то поворачиваясь тыльной стороной. Сначала Рэн был очень этим озадачен, но потом сообразил, что на столе осталось нечто, принадлежавшее ему, и немного

утешился, ибо руки Бьянки с жадностью пили его упавшие на стол слезы, катались в них, наслаждались ими, как кошки наслаждаются разлитой валерьянкой.

Потом — на протяжении девятнадцати дней — руки сердились на Рэна и заставляли его страдать, и он понял, что они наделены упрямым и мстительным характером. Руки намеренно не показывались ему на глаза, прячась от него то в складках платья Бьянки, то под обеденным столом. И, надо сказать, они своего добились. Во всяком случае, желание и страсть Рэна росли день ото дня. Больше того, его любовь превратилась в истинное чувство, поскольку только настоящая любовь знает, что такое уважение и благоговейный трепет. Желание обладать этими руками сделалось для Рэна смыслом его существования и единственной целью его жизни.

В конце концов руки простили его. Они застенчиво целовали Рэна, когда он смотрел в другую сторону, робко брали за запястье, а однажды даже схватили его и удерживали несколько сладостных мгновений. Это случилось за столом, и Рэн, неожиданно почувствовав необычайный прилив сил и решимости, дерзко взглянул на руки, успевшие вернуться на колени слабоумной. На скулах его, то вздуваясь, то опадая, играли огромные желваки. Счастье, словно золотое сияние, захлестывало его с ног до головы, комната тихо кружилась, а все тело негромко пело от пронизывающих его странных, щекочущих токов. Борясь с собой и, в то же время, чувствуя непреодолимую внутреннюю потребность отдаться великолепию нового удивительного чувства, Рэн замер, ощущая себя и рабом неведомого мира, за-

ключенного в белых руках Бьянки, и его полновластным владыкой. Чудесные кисти девушки тоже порозовели больше обычного, и, если когда-нибудь две руки вообще способны были улыбаться друг другу, то именно это они сейчас и проделывали.

Рэн встал из-за стола так резко, что опрокинул стул, но это нисколько его не смутило. В эти минуты он с особенной остротой ощущал всю свою силу, всю ширину своих плеч и мощь спины. Мать Бьянки, которую давно ничто не удивляло, только покосилась на него и сразу же отвернулась. В глазах Рэна было что-то непонятное, и это ей очень не нравилось, однако гадать, что бы это могло быть, она не хотела, инстинктивно чувствуя, что это принесет ей лишь новые тревоги. А Рэн уже вышел вон — вышел, чтобы побыть одному и попытаться разобраться в этом незнакомом ощущении, которое владело всем его существом.

Был вечер. Горбатый горизонт, как губка, впитывал великолепие заходящего солнца, притягивал к себе, жадно высасывал сплющенное оранжево-красное яйцо. Стоя на небольшом пригорке, Рэн тяжело дышал, раздувая ноздри и до отказа наполняя воздухом грудь. Вечерний воздух был чист и прохладен, и все же ему казалось, что он пахнет как-то по особенному, словно в нем, как в воде, действительно были растворены тончайшие краски заката.

Так прошло несколько минут. Затем Рэн напряг ноги и посмотрел на свои большие, твердые кулаки. Подняв руки над головой, он потянулся всем телом и издал такой громкий и протяжный крик, что солнце, словно испугавшись, тотчас закатилось. Рэн проводил его взглядом, думая только о том, как он силен и

высок, и заново переживая владевшие им чувства притяжения и принадлежности. Потом он лег на сухую, чистую землю и заплакал.

Рэн вернулся в дом лишь через час после того, как луна, осмелившаяся вскарабкаться на остывшее от закатного огненного буйства небо, не только повторила дневной путь солнца, но и, в свою очередь, зашла за далекие холмы. Войдя в комнату матери Бьянки, где та спала на заменявшем ей постель ворохе старой одежды, он зажег лампу и сел рядом, ожидая, пока свет разбудит ее. Действительно, очень скоро мать Бьянки недовольно застонала и, повернувшись к нему, открыла глаза.

И в испуге отпрянула.

— Рэн...? Что тебе надо?!

— Бьянку. Я хочу жениться на ней.

Женщина с присвистом дышала сквозь стиснутые зубы.

— Нет...! — Этот возглас, однако, означал не отказ, а свидетельствовал лишь о крайнем изумлении, и Рэн нетерпеливо схватил ее за плечо.

Тогда женщина расхохоталась.

— Жениться?!.. На Бьянке?! Послушай, приятель, для шуток уже слишком поздно. Ступай-ка ты обратно в постель и выкинь свою блажь из головы. К утру ты как пить дать забудешь все, что сейчас мне наговорил.

— Ты отдашь ее за меня?

Она молчала, и Рэн вздохнул.

— Я не спал, — сказал он все еще сдерживаясь, хотя в душе у него все кипело. — Я даже еще не ложился.

Мать Бьянки зашевелилась и села, подтянув к подбородку шершавые, сморщенные колени.

— Ты правильно поступил, что спросил у меня, у матери... И ты был добр к нам — ко мне и к Бьянке. Ты неплохой парень, Рэн, но — прости меня за эти слова — сейчас ты и сам похож на слабоумного. Бьянка настоящая уродина; даже я не стану этого отрицать, хотя сама произвела ее на свет. Можешь проделывать с ней все, что тебе угодно, — я и словечка не скажу. Впрочем, ты и сам мог бы догадаться, но ты зачем-то заговорил со мной. А мне лучше бы ничего об этом не знать... Нет, парень, я тебя совсем не понимаю, но... В общем, делай с ней, что хочешь.

И она украдкой бросила на него быстрый взгляд, но, пораженная страхом, вдруг застыла, не в силах отвести глаз от его лица. Рэн так медленно и тщательно прятал руки за спину, что ей стало ясно — если бы не это, он прихлопнул бы ее как муху.

— Значит... я могу жениться на ней? — прошептал Рэн.

Мать Бьянки поспешно кивнула.

— Как хочешь, парень, — повторила она.

Рэн задул лампу и выбежал из комнаты.

Он много работал, откладывая каждый грош, и в конце концов сумел вполне сносно обставить одну из комнат для себя и Бьянки. Рэн сам смастерил мягкое кресло и сколотил столик, который должен был служить алтарем для ее божественных рук. Кроме этих двух предметов обстановки, в комнате появилась широкая кровать, щербатые стены были затянуты плотной тканью, а на рассохшийся пол лег небольшой ковер.

В конце концов они поженились, хотя на это потребовалось довольно много времени и усилий. Рэну

пришлось объехать всю округу, прежде чем он нашел человека, который согласился проделать все необходимые процедуры. Человек этот жил очень далеко и, закончив обряд, сразу вернулся к себе, так что о свадьбе никто ничего не знал, и Рэн с женой были избавлены от докучного любопытства односельчан.

Во время бракосочетания все ритуальные формулы произносила за Бьянку ее мать. Когда Рэн надевал невесте кольцо, руки Бьянки задрожали и попытались вырваться, но скоро успокоились и лишь слегка зарделись, сделавшись еще прекраснее. Дело было сделано, и мать Бьянки больше не возражала, к тому же она побаивалась зятя. Рэн был счастлив, а Бьянка... Впрочем, до нее никому не было дела.

После бракосочетания Бьянка, ведомая руками — этими настоящими невестами Рэна — вошла вслед за ним в новую, красиво убранную комнату. Там Рэн тщательно выкупал ее, воспользовавшись большим количеством душистых притираний. В последнюю очередь он вымыл и уложил ей волосы, расчесывая их крупным гребнем до тех пор, пока они не распушились и не заблестели, так что теперь внешний вид Бьянки гораздо больше соответствовал паре чудесных рук, на которых он на самом деле женился. Во время мытья Рэн, однако, ни разу к ним не прикоснулся — он только вручал им то мыло, то крем, то специальные щеточки, с помощью которых они сами могли привести себя в порядок. Руки, впрочем, были довольны. Одна из них даже вскарабкалась по его куртке и коснулась щеки, приведя Рэна в восторг, граничащий с исступлением.

Наконец он оставил их и — с сердцем, в котором звучала прекраснейшая музыка, — вернулся в лавку.

В тот день Рэн работал с особенным рвением, и Хардинг был так доволен, что отпустил его домой раньше обычного. Но Рэн пошел домой не сразу. Несколько часов подряд он бродил по берегу ручья, любуясь тем, как отражается в бурлящей воде раздробленное солнце. Какая-то пичуга, словно почувствовав излучаемую им радость, бесстрашно подобралась совсем близко и несколько раз облетела его кругом, чиркнув по запястью кончиком крыла и напомнив Рэну один из первых робких поцелуев рук Бьянки.

А в нем продолжала звучать музыка, которая была сродни беззаботному смеху, журчанию воды, голосу ветра в прибрежных камышах. Рэн уже тосковал о руках Бьянки, но, прекрасно зная, что может сейчас же пойти и наконец-то прикоснуться к ним, он растянулся на берегу и лежал, улыбаясь, смакуя терпко-сладкую отраву короткого ожидания и бросая последний вызов своему желанию, удовлетворить которое ему уже ничто не могло помешать. В белых ладонях Бьянки был заключен для него целый мир, свободный от злобы и ненависти, и Рэн громко смеялся, чувствуя, как им овладевает чистая и звонкая радость.

Он вернулся домой, когда уже начинало темнеть. На протяжении короткого праздничного ужина, пока мать кормила девушку, руки Бьянки то и дело принимались ласкать и гладить ту руку Рэна, какая оказывалась на данный момент свободна. Гибкие белые пальцы Бьянки то свивались между собой, то сплетались с его пальцами, так что порой казалось, будто все три руки образуют единое целое, которое, словно некий плод, приятно оттягивало то одно, то другое предплечье Рэна.

Когда стало еще темнее, они отправились в свою комнату и легли у окна, чтобы Рэн и руки могли видеть встающие над далеким лесом яркие, чистые звезды. В комнате, как и во всем доме, было темно и тихо, и Рэн чувствовал себя таким счастливым, что боялся даже дышать.

Одна из рук скользнула по волосам Рэна, сползла по щеке и устроилась в ложбинке у основания его шеи. Она пульсировала в такт ударам его сердца, и Рэн невольно сжал кулаки, словно стараясь удержать, растянуть это мгновение как можно дольше.

Вскоре и вторая рука приблизилась и устроилась рядом с первой. Почти час они лежали не шевелясь, приятно холодя своей прохладной кожей его горячую шею и грудь, а он ощущал их своим горлом, угадывал в них одновременно и безбрежную бесконечность, и уют замкнутого, ограниченного пространства. Потом Рэн попробовал сосредоточиться на этом ощущении — сосредоточиться и умом, и сердцем, чтобы почувствовать каждую складочку, каждый бугорок лежащих на нем рук, и очень скоро ощутил как будто нежное и ласковое прикосновение, затем — еще одно. Ощущение было совершенно отчетливым, хотя руки Бьянки ни на мгновение не оторвались от его тела, и тогда Рэн понял, что ждать осталось недолго, совсем недолго.

Несколько мгновений спустя он, словно услышав приказ, перевернулся на спину и откинулся головой на подушку. Глядя вверх, на неясно различимые в темноте драпировки, Рэн начал понемногу понимать, ради чего он так много работал и о чем так страстно мечтал. Тогда он еще сильнее запрокинул голову назад и улыбнулся в ожидании. Его навязчивая идея, его мечта вот-вот должна была осуществиться.

Он глубоко вздохнул, — раз, другой, третий — и почувствовал, как дремавшие на его груди руки пришли в движение.

Их большие пальцы крест-накрест легли ему на горло, а остальные обхватили шею с обеих сторон и остановились чуть ниже ушей. Несколько минут они просто лежали там, как будто набираясь сил. Потом, словно сговорившись, они вдруг затвердели, сделались неподатливыми, как камень, и крепкими, как железо, но их прикосновение все еще было легким, совсем легким...

Нет, не совсем... Рэн даже не заметил, когда руки Бьянки начали сжиматься, сдавливая ему горло. Они проделывали это очень медленно и равномерно, наращивая давление одинаковыми, точно вымеренными порциями, но Рэн продолжал лежать совершенно неподвижно. Он уже не мог дышать, но он и не хотел. Его большие, сильные руки были сложены на груди, кулаки надежно спрятаны под мышками, а мозг охвачен глубоким покоем. И Рэн знал, что теперь все произойдет уже очень скоро...

Всепоглощающая, восхитительная боль волна за волной то накатывалась на него, то снова отступала. Перед глазами играли и переливались светящиеся полотна самых невероятных цветов и оттенков — невероятных, потому что в комнате по-прежнему не было никакого света. Непроизвольно Рэн выгнул спину, поднимаясь все выше, выше... И когда руки нажали со всей своей скрытой ранее силой, все тело Рэна выгнулось, словно большой лук, и поднялось над кроватью, касаясь ее только пятками и плечами.

Он поднимался все выше, выше, выше... Потом Рэн вдруг почувствовал, как внутри него что-то разо-

рвалось, но были ли это легкие или сердце, для него уже не имело значения. Его давнее желание наконец-то осуществилось.

Когда на следующее утро мать Бьянки застали в комнате жильца, руки, которыми она все гладила и гладила шею Рэна, оказались испачканы кровью. Ее слабоумную дочь срочно увели, тело Рэна предали земле, а мать Бьянки — повесили, потому что она пыталась уверить судей, будто Рэна задушила ее дочь — задушила своими почерневшими, мертвыми руками, кисти которых, словно пожухлые листья, безжизненно свисали с белых, пухлых запястий.

Настоящее ничто

Генри Меллоу вышел из личной, сообщающейся с кабинетом туалетной комнаты, владельцем которой он смог стать лишь достигнув определенного этапа своей блестящей карьеры, и сказал в черную коробочку селектора у себя на столе:

— Зайдите ко мне, мисс Принс. Я буду диктовать.

Через несколько секунд секретарша была уже в кабинете.

— Ой!.. — вырвалось у нее.

— На протяжении всей своей истории человечество постоянно сталкивалось с...

— В данный момент, — перебила мисс Принс, — я столкнулась с одним из случаев так называемого непристойного обнажения. У вас спущены штаны, мистер Меллоу. И еще: зачем вы размахиваете этой туалетной бумагой?..

— Сейчас я к этому перейду, мисс Принс. Так вот: ...человечество постоянно сталкивалось с явлениями и фактами самого элементарного порядка, которые оно, тем не менее, каждый раз оказывалось не в состоянии ни разглядеть, ни понять, ни оценить. Вы успеваете за мной, мисс Принс?..

— Нет, — ответила мисс Принс и поджала губы. — Будьте добры, сэр, наденьте сначала брюки!

Мистер Меллоу долго смотрел сквозь нее, стараясь приостановить полет собственной мысли. Нако-

---

Пер. изд.: It Was Nothing — Really!: в сб. Sturgeon is Alive and Well. – New York: Sirkay Publishers Corp., 1969.

нец до него дошел смысл сказанного; он опустил глаза и посмотрел на свои ноги.

— Архимед, — сказал Меллоу, кладя туалетную бумагу на стол. Натянув брюки, он добавил: — Во всяком случае, мне кажется, что это был именно Архимед. Однажды он купался в ванне и вдруг заметил, как вытесненная его телом вода льется на пол. Это подсказало ему ответ на вопрос, над которым он тогда бился, а именно: как высчитать количество посторонних примесей в золотой тиаре местного царя. Тогда он выскочил из ванной и нагишом промчался через весь город, крича: «Эврика!», что в переводе с греческого означает: «Я нашел!» Вы, мисс Принс, присутствуете сейчас при одном из таких исторических моментов... Или то был Аристотель?..

— Может Аристотелю и прилично было бегать нагишом, но от вас я этого не ожидала, — отрезала мисс Принс. — Я работаю у вас уже довольно давно, но вы не перестаете меня удивлять. И при чем тут туалетная бумага?..

— Человеческая история знает немало фундаментальных открытий, сделанных в уборной, — парировал Генри Меллоу. — Протестантская реформация начиналась в туалете, когда Лютер сидел там, силясь... Я вас не шокирую, мисс Принс?

— Н-не знаю... Все зависит от того, что вы скажете дальше, — пробормотала секретарша, слегка отнимая ладони от ушей, но не опуская рук совсем. Вытянув шею, она с напряженным вниманием следила за каждым движением Генри Меллоу, который расстелил на столе полосу туалетной бумаги и, прижав ее ладонями к гладкой полированной поверхности, принялся рвать на кусочки.

— Взгляните-ка сюда, мисс Принс. Видите, в чем дело?

Секретарша подняла с пола блокнот, выпавший у нее из рук, пока она затыкала уши.

— Нет, сэр, не совсем.

— Тогда я, пожалуй, начну с самого начала, — сказал Генри Меллоу и продолжил диктовать свой знаменитый меморандум, которому суждено было вселить панический ужас в сердца и души воротил военно-промышленного комплекса. Да-да, у них есть и сердца, и души, просто до Генри Меллоу они никогда не пользовались ни тем, ни другим.

«До Генри Меллоу...» — обратите внимание на этот оборот речи. Все дело в том, что в какой-то момент Генри Меллоу перестал быть просто человеком — он стал историческим событием. Ведь мы не говорим «Уилбур и Орвилл Райт и их первый успешный полет», мы говорим просто «Братья Райт», и всем все сразу становится ясно. Точно так же, когда мы хотим, чтобы нас поняли, мы говорим «после Хиросимы», «после Далласа» или «со времен Пастера или Дарвина». Вот и после Генри Меллоу военно-промышленный комплекс уже не был таким, каким он был до него.

В Пентагон меморандум Меллоу попал обычным путем. Агент Федерального бюро, регулярно просматривавший содержимое мусорных корзин, поступавших из офиса Генри Меллоу, наткнулся на три отпечатанных на машинке странички. (Набранные новой машинисткой, они содержали в себе сорок три опечатки и потому были отправлены в корзину для бумаг.) Пройдя все уровни бюрократической маши-

ны ФБР, они наконец попали на стол к самому шефу, приказавшему агенту проникнуть в офис Меллоу и сделать фотокопию оригинала. Выполняя задание, агент дважды был задержан (замками особой конструкции) и один раз легко ранен (он прищемил палец ящиком шкафа-картотеки), о чем, однако, стало известно далеко не сразу из-за вмешательства «неодолимой силы» (как и следовало ожидать, агент оставил похищенные материалы в такси, и ему потребовалось три недели, чтобы выследить таксиста и вломиться к нему в дом). Тем временем меморандум Меллоу был послан в «Таймс» в виде письма, где и послужил основой для редакционной передовицы. Но, как это обычно бывает, появление подобного материала в широко доступных средствах массовой информации не привлекло внимания ни общественности, ни военных.

Воздействие, произведенное меморандумом на Пентагон и в особенности на отдел, который возглавлял генерал-майор Фортни Голованн, можно сравнить разве что с землетрясением, приправленным для пущей остроты письмом со словами: «Прости, любимый, я ухожу к другому...» Реакция Голованна была немедленной и вполне соответствовала лучшим традициям военного ведомства. В первую очередь генерал привел отдел в состояние полной боевой готовности и присвоил всем материалам по меморандуму высшую степень секретности, дабы слухи не просочились даже в соседние подразделения и отделы.

Последовавшая пауза, длившаяся ровно два часа сорок пять минут, была вызвана решением генерала лично убедиться в правильности выводов Мел-

лоу. Для повторения эксперимента ему нужна была только туалетная бумага, однако — несмотря на то что в распоряжении генерала Голованна имелся такой же, как у Генри Меллоу, прекрасно оборудованный личный туалет, куда можно было попасть прямо из кабинета — ему удалось из уважения к воинской дисциплине подавить в себе естественный импульс, пройти туда и отмотать столько бумаги, сколько нужно. Вместо этого генерал вызвал адъютанта, который выслушал приказ, лихо козырнул и вышел в приемную. Оттуда он позвонил сержанту, ведавшему материально-техническим снабжением, и приказал ему лично прибыть в приемную (как вы помните, теперь на всем, что имело отношение к меморандуму Меллоу, стоял гриф «Совершенно секретно»), но сержант оказался в отпуске, а замещавший его капрал не обладал допуском к материалам высшей степени секретности, и его пришлось в спешном порядке переаттестовывать. Наконец с формальностями было покончено, и адъютант выписал капралу официальное требование-заказ (с ошибкой в четвертой копии из шести положенных), так что бумаги пришлось еще раз переоформить, прежде чем в кабинет генерала внесли запертый на два замка и опечатанный черный секретный чемоданчик, внутри которого лежал рулон туалетной бумаги.

Именно в этот момент генерала прервал джентльмен из Джеймстауна, которого (по его собственным словам) звали мистер Браун. Одетый в черный костюм, черные ботинки и черный галстук, мистер Браун имел в нагрудном кармане черный кожаный футляр. Футляр на мгновение приоткрылся, и генерал

Голованн увидел внутри массивный блестящий значок с орлом и прочими причиндалами.

— Вот дьявольщина! — воскликнул генерал. — Как это вам, парни, удалось так быстро обо всем пронюхать?

За это он удостоился улыбки, ибо если мистер Браун и ему подобные когда-либо чему-либо улыбались, то это были именно такие слова.

Потом мистер Браун взял со стола фотокопию меморандума Меллоу, подхватил запертый чемоданчик с рулоном туалетной бумаги и вышел. Что касалось генерала, то он, с чисто солдатской практичностью сообразив, что от него забрали в высшей степени беспокойное дело, вернул отдел в нормальный режим работы и отменил свой приказ о принятии особых мер по обеспечению высшей степени секретности. Только после этого генерал Голованн почувствовал себя вправе пойти в туалет и произвести свой собственный эксперимент с туалетной бумагой. Отмотав ярд или около того, он вернулся в кабинет, разложил бумагу не своем девственно чистом столе, прижал ее ладонями и потянул в разные стороны. Бумага разорвалась криво, и генерал побледнел.

Влияние, которое оказал меморандум Меллоу на промышленность, было более глубоким и не столь очевидным. Несомненно, что он послужил причиной шестипроцентного сокращения объемов заказов на импорт сырья со стороны крупнейшей на внутреннем рынке «Инленд корпорейшн», а когда столь мощная и многопрофильная корпорация сокращает заказы на шесть процентов, рынок начина-

ет трясти, как тонну фруктового желе в грузовике с квадратными колесами. Меморандум также стал истинной причиной того, что транснациональная «Аутленд индастриз» начала с «Инленд» переговоры о добровольном слиянии. Один из шпионов «Аутленд» доложил хозяевам о меморандуме, но не смог добыть сам документ, и большие шишки из руководства транснационального гиганта рассудили, что если они купят «Инленд» со всеми потрохами, то меморандум перейдет к ним естественным путем. Каково же было их удивление, когда председатель совета директоров «Инленд» не только сразу согласился на предложение о слиянии, но и выслал руководству «Аутленд» бесплатную копию меморандума.

Не существует никаких записей или стенограмм ночного совещания директоров и крупнейших пайщиков этих двух индустриальных гигантов, но, по свидетельству очевидцев, когда магнаты наконец разошлись, они выглядели очень и очень испуганными.

Излишне говорить, что рассвет пришел в респектабельные пригороды, шикарные особняки, роскошные гостиничные номера и элитные клубы под негромкий шорох рвущейся туалетной бумаги.

И бумажных полотенец.

И чеков из чековых книжек.

Что касается самого слияния, то его решено было приостановить на стадии переговоров, не доводя дела до конца, но и не отказываясь от него совершенно. По обоюдной договоренности «Инленд корпорейшн» сокращала свои закупки сырья на три процента вместо шести; это положение должно было сохраняться по крайней мере до тех пор, пока мир —

настоящий мир, а не беспечно спящие в своих домах простые люди — не увидит перед собой более или менее ясную перспективу.

Но наибольший переполох меморандум Меллоу произвел в секретной штаб-квартире в Джеймстауне. (Возможно, это самая секретная штаб-квартира в мире или даже во всей вселенной. На дверях там нет никакой вывески; подъезжающие и отъезжающие машины не имеют никаких опознавательных знаков и надписей, а бесчисленные обеды доставляются в приемную административного корпуса на имя одного и того же мистера Брауна. Никто в точности не знает, как они там разбираются, кому — что; все обитатели Джеймстауна свято хранят эту тайну.)

Агенты сделали все, что могли. Дом, офис, сам Генри Меллоу и его ближайшие деловые партнеры были распределены между оперативными работниками. За каждым из них была установлена круглосуточная слежка; их дома, автомашины и рабочие кабинеты были нашпигованы звукозаписывающей техникой, а все возможные действия и поступки Меллоу — равно как и соответствующие им контрмеры Агентства* — были скрупулезно просчитаны на компьютере. После этого агентам оставалось только сидеть и ждать, чтобы что-нибудь случилось.

---

* Старджон намекает на Центральное разведывательное управление, Агентство национальной безопасности, Разведывательное управление Министерства обороны и другие секретные службы США, большинство из которых в дословном переводе называются агентствами.

Всего делом Меллоу занимались три агента высшего ранга: Ред Браун*, Джо Браун и темнокожий Браун Икс — внедрившийся в Агентство лазутчик из организации «Власть черных». В данный момент, учитывая исключительно взрывоопасный характер меморандума, Ред Браун отослал Брауна Икс искать ветра в поле, а точнее — разыскивать и опрашивать бывших школьных учителей и детсадовских воспитателей Генри Меллоу, которые рассеялись от Энамкло и Вашингтона до Тэртл-Крик, штат Пенсильвания.

Ред Браун встал из-за своего утыканного блестящими тумблерами и сигнальными лампочками стола и, подойдя к двери кабинета, плотно ее закрыл, разом оборвав шорох работающих компьютеров, скрип вращающихся магнитофонных бобин, шелест мягких шагов и бормотание голосов, вещавших в прикрытую ладонью трубку: «Браун слушает... К приему готов. Скремблер** два... Браун принял».

Джо Браун внимательно наблюдал за коллегой. Он отлично понял, что сейчас им предстоит обсудить текущее задание. Ему было также хорошо известно, что из соображений секретности им обоим полагается называть Генри Меллоу не иначе как «подозреваемый». Не «тот самый подозреваемый», не «мистер Подозреваемый», а просто — «подозреваемый».

Тем временем Ред Браун вернулся на свой капитанский мостик — ни у одного человека язык бы не

---

* Имя Ред Браун можно перевести как «красно-коричневый».

** Скремблер — устройство автоматической шифровки телефонных переговоров и радиопередач.

повернулся назвать это сооружение просто столом — и сказал:

— Мозговой штурм. Краткий обзор.

Джо Браун включил диктофон, спрятанный в потайном кармане его черного пиджака, и повторил:

— Краткий обзор, мозговой штурм.

— Итак, кто подозреваемый?

Поняв, что от него требуется заново перечислить все, что известно Агентству о Генри Меллоу, чтобы, исходя из этих фактов, попытаться очертить новые, пусть даже весьма отдаленные, перспективы и, быть может, найти новые блестящие идеи и ходы (а также и то, что он, Джо Браун, проходит под магнитозапись еще одну рутинную проверку из серии «Сейчас посмотрим, как ты приготовил свое домашнее задание!»), Джо Браун произнес четкой, профессиональной скороговоркой:

— Белый американец; рост — пять футов десять дюймов; холост; возраст — тридцать шесть лет; глаза — светло-карие; вес...

— О'кей, о'кей. Род занятий?

— Писатель, свободный художник. Опубликовал также несколько научных и технических статей и книжных рецензий. Работает не по найму. Также известен как изобретатель, владелец патентов за номерами...

— Не надо, не надо, иначе ты будешь полдня перечислять эти никому ненужные цифры, — остановил его Ред Браун. — К тому же ты хвастаешься. Я отлично помню, что у тебя феноменальная память на числа.

Джо Браун был бесконечно разочарован, но постарался не показать своего огорчения. Запоми-

нать цифры — это было единственное, что он умел, и умел хорошо, и Джо Браун рассчитывал блеснуть, перечисляя по памяти номера патентов Генри Меллоу.

— ...Известен как владелец нескольких патентов, относящихся к кухонному оборудованию, химическим процессам, ручным инструментам и оптическим системам.

— Разносторонний талант. Может быть очень опасен, — подвел итог Ред Браун. — ФБР уже полтора года роется в его мусоре.

— Кто их навел на него?

— Департамент налогов и сборов. Подозреваемый получает авторские гонорары со всего мира, но никогда не забывает указать их в своей налоговой декларации.

Джо Браун поджал губы.

— Должно быть, он что-то скрывает.

— Да, подобная честность — это ненормально. Как насчет политических пристрастий?

— Никаких. Зарегистрирован в качестве избирателя, регулярно голосует, но не высказывает никаких суждений или оценок... — Джо Браун снова поджал губы — в точности, как минуту назад, потому что эта гримаса сопровождала те же слова: — Должно быть, он что-то скрывает. А что будет, если он обнародует свое открытие?

— Плохо будет. Хуже чем водородная бомба, нервно-паралитический газ, сибирская язва и так далее...

— А если он будет единолично владеть этим секретом?

— Тогда он станет владыкой мира.

— Минут на десять, не больше, — проговорил Джо Браун и, прищурившись так, словно смотрел в оптический прицел воображаемой снайперской винтовки, нажал воображаемый спуск.

— Может и больше, если Агентство будет на его стороне.

Несколько долгих, долгих секунд Джо Браун испытующе смотрел на коллегу. До того как стать агентом, и даже после, проходя курс начальной подготовки, он очень ясно представлял себе, на кого работает Агентство. Но по мере того как шло время, это казалось ему все менее и менее важным. Агенты работали на Агентство, и этого было вполне достаточно, тем более что ни в Агентстве, ни вне его, ни в правительстве, ни где бы то ни было еще, ни один человек не осмеливался даже задаться вопросом, на кого все-таки работает Агентство. Так что, если бы Агентство вдруг решило поддержать владыку мира, что ж... Почему бы, собственно, нет? В конце концов, любой владыка — обыкновенный человек, а позаботиться соответствующим образом об одном человеке было проще простого. Главное, что Агентство уже давно знало совершенно точно, как должен быть устроен мир, а став единственным обладателем секрета Генри Меллоу, оно могло воплотить свое знание на практике, для всех и везде.

Ред Браун сделал рукой быстрый замысловатый жест, который Джо Браун, однако, отлично понял. Не обменявшись ни словом, оба достали из карманов свои диктофоны и тщательно стерли последнюю фразу. Потом они снова убрали диктофоны и переглянулись, причем их лица решительно изменились.

Оба буквально сияли, и было от чего: если они двое будут единственными, кто знает тайну Эффекта Меллоу, тогда их прямого начальника (тоже мистера Брауна) и даже директора всего Агентства в ближайшее время ждет сюрприз.

Все так же молча Ред Браун снял с пояса связку ключей, выбрал один из них, отпер ящик, отделение или ячейку своего внушительного стола и выдвинул оттуда увесистый стальной сундучок, похожий на ящик депозитного сейфа. Бросив быстрый взгляд на своего коллегу и убедившись, что он не сможет увидеть ничего важного, Ред Браун принялся осторожно вертеть рукоятку цифрового комбинационного замка — сначала в одну сторону, потом назад и снова вперед. В заключение он нажал на ручку, крышка сундучка открылась, и Ред Браун достал оттуда две фотокопии меморандума Меллоу.

— Сейчас, — сказал он специально для записи, — мы должны еще раз перечитать меморандум Меллоу.

А вы прочтите его вместе с ними:

Меморандум Меллоу

На протяжении всей своей истории человечество постоянно сталкивалось с явлениями и фактами самого элементарного порядка, которые оно, тем не менее, каждый раз оказывалось не в состоянии ни разглядеть, ни понять, ни оценить из-за своей близорукости, невнимательности, предубежденности и обыкновенной глупости. Разумеется, иногда человечество неплохо справлялось с довольно сложными вещами — такими, как каменный календарь майя или навигационная система полинезийцев, но при этом оно упорно отказывалось за-

мечать тот факт, что все сложные вещи состоят из вещей простых и что эти простые, элементарнейшие вещи и явления окружают нас со всех сторон и только и ждут того, чтобы мы присмотрелись к ним повнимательней. В своем открытии очевидного человечество движется черепашьим шагом. И для подтверждения этого достаточно будет двух простых примеров.

В любом магазине игрушек, на любой ярмарке всего за несколько центов можно приобрести вертушку на палочке. Мне, к сожалению, так и не удалось установить, когда и кем было изобретено это простейшее устройство, однако, насколько я знаю, науке не известен ни один достаточно древний аналог этой игрушки. Еще более простым устройством, которое любой восьмилетка может вырезать из простой сосновой дощечки, является двухлопастной пропеллер, способный свободно вращаться на ветру — для этого его достаточно просто насадить на спицу или гвоздь.

Казалось бы, это изобретение легко могло быть сделано и пятьсот, и пять тысяч лет назад, так как уже в те времена египтяне создавали устройства куда более сложные. Достаточно было только зафиксировать пропеллер на оси и привести ось во вращение, чтобы он сам начал производить ветер. Стоило погрузить его в воду, и человечество получило бы насос и гребной винт. Все эти шаги представляются совершенно логичными и очевидными, и тем не менее на протяжении тысячелетий никто до этого так и не додумался. Вообразите же себе (впрочем, вам это вряд ли удастся), какой могла бы быть история человеческой цивилизации и каких высот достигли бы сейчас наши техника и технология, если бы тысячу или две, или пять тысяч лет назад у нас были насосы, пропеллеры и гребные винты! И этого не

произошло только потому, что среди всех живших тогда на Земле людей не нашлось ни одного достаточно смышленого ребенка, ни одного любопытного дикаря, который обратил бы внимание на то, как кувыркается на ветру застрявший в паутине листок.

Приведу еще один пример, только на этот раз мы начнем с дня сегодняшнего, с окружающих нас современных материалов, а потом спроецируем ситуацию на прошедшие века. Итак, если вы просверлите в кусочке жести отверстие диаметром в одну шестнадцатую дюйма и аккуратно посадите на него капельку воды, она повиснет. Сила тяжести будет тянуть ее вниз, уравновешивая силу поверхностного натяжения, которая стремится придать капле форму купола. Если взглянуть на капельку воды сбоку, со стороны ребра жестяной пластинки, можно увидеть, что она имеет форму линзы, и это и есть настоящая оптическая линза. Если теперь вы посмотрите на каплю сверху, посмотрите с достаточно близкого расстояния предварительно поместив под отверстие какой-либо хорошо освещенный предмет, вы увидите, что наша жидкая линза обладает пятидесятикратной увеличивающей способностью и фокусным расстоянием равным, примерно, половине дюйма. (Кстати, если вам вдруг понадобится дешевый микроскоп, просверлите такое же отверстие в донышке суповой жестянки, потом вырежьте в стенке три стороны квадрата — верхнюю, левую и правую — и загните жесть внутрь под углом, примерно, в сорок пять градусов, чтобы попадающий в банку свет отражался вверх. Потом возьмите кусочек стекла, установите внутри банки под просверленным вами отверстием, и положите на стекло объект вашего исследования — мушиную лапку, конский

волос, словом, все, что вам угодно. Теперь вам остается только капнуть на отверстие водой, и вы сможете рассматривать ваш объект при пятидесятикратном увеличении. Воду, кстати, можно заменить глицерином, который также работает вполне удовлетворительно — правда, он не так прозрачен, но зато и испаряется гораздо медленнее.)

Но мы знаем, что микроскопы и их ближайшие родственники телескопы появились не раньше восемнадцатого столетия. Почему это произошло? Разве на протяжении веков бесчисленные пастухи не выгоняли свои стада в росистые утренние луга? Или, может, они не видели, как сверкают первые лучи солнца в капельках воды, застрявших в паутине или в отверстиях, прогрызенных гусеницами в зеленых древесных листах? Почему ни один из них ни разу не взглянул сквозь водяную капельку хотя бы на папилляры своего собственного большого пальца? Почему искусные стекольщики Тира, Флоренции и древнего Вавилона только любовались своими графинами и вазами со стороны и ни разу не поглядели сквозь свои дутые или отлитые в формах изделия? Можете ли вы представить себе, каким бы был сейчас наш мир, если бы увеличительное стекло, микроскоп, телескоп и очки были изобретены тремя тысячелетиями раньше?

Надеюсь, что теперь вы хотя бы отчасти разделяете мое удивление человеческой слепотой и человеческой глупостью. В этой связи я позволю себе упомянуть еще об одной, совершенно особой разновидности нашей общей близорукости, которая состоит в убеждении, будто все простые и простейшие факты и явления уже давно исследованы, классифицированы и надлежащим образом утилизованы, и что механизм их

действия также давно изучен и понят. Это далеко не так! В природе существует еще бесчисленное множество простых явлений, которые пока только ждут своего исследователя, и большинство из них таковы, что первооткрывателем феномена может стать и неграмотный пастух!

Но и это еще не все. В дополнение к этим, чисто природным явлениям, наша цивилизация порождает десятки новых явлений, фактов, заметить которые по силам только внимательному глазу и непредвзятому уму. Лишь такой человек способен не отвернуться от того, что находится перед самым его носом, лишь такой человек способен открыть очевидное и найти применение общеизвестному.

Один из таких феноменов буквально взывает к вам каждый день, взывает, по меньшей мере, из трех мест: из вашей ванной, из туалета и — если, конечно, у вас есть счет в банке — из вашего собственного кармана.

Когда вы отрываете листок туалетной бумаги, бумажное полотенце или страничку чековой книжки, в двух случаях из пяти бумага разорвется как угодно, но только не по линии перфорации. То же самое относится к блокнотам для записей, листам почтовых марок, блокам квитанций, которые заполняются через копирку, и прочему, где только есть перфорация, призванная обеспечивать аккуратную линию отрыва.

Насколько известно автору этой записки, еще никто никогда не изучал это явление достаточно глубоко и всеобъемлюще. Рискну предложить одно из его объяснений.

Начнем с того факта, который легко подтверждается простейшим экспериментом, а именно: в значительном количестве случаев бумага рвется в лю-

бом месте, но только не по линии перфорации. Вывод должен быть очевиден: перфорированная часть бумаги крепче, чем все остальное.

Теперь давайте разберемся, что такое перфорация или — проще — что происходит, когда какой-либо материал подвергается перфорации? Все элементарно: часть материала при этом удаляется.

Значит, если удаление некоей небольшой части вещества делает материал прочнее, логично было бы предположить, что чем больше вещества будет удалено, тем прочнее станет материал. Если довести эту мысль до ее логического завершения, мы придем к вполне разумному и рациональному выводу, который заключается в следующем: чем больше материала мы будем удалять, тем прочнее будет остаток. Когда же мы удалим все, мы получим новый материал, который будет состоять практически из ничего, и при этом будет неразрушимым!

Если же ваше традиционное мышление не позволяет вам понять эту простую логику, — или, поняв ее, вы обнаруживаете, что не в состоянии ее принять, — тогда мне придется напомнить вам слова, произнесенные когда-то давно одним корсиканским дворянином по имени Наполеон Бонапарт: «Чтобы убедиться в том, что то-то и то-то невозможно, надо сначала попробовать». Именно это я и попытался сделать, и получил весьма и весьма многообещающие результаты.

До тех пор пока моя исследовательская работа не будет завершена, я не стану ни вдаваться в подробное описание моих методов, ни говорить о том, с какими материалами я теперь работаю — упомяну только, что это не бумага. Я, однако, убежден в правильности и неопровержимости моей теории, и

не сомневаюсь, что мне удастся добиться полного успеха.

Скажу несколько слов в заключение, хотя каждый этап процесса, о котором я только что рассказал, жестко определяет его результат. И все же, давайте вкратце упомянем об основных преимуществах нового материала, который я, в соответствии с его природой, должен назвать Ничто — именно Ничто, с заглавной буквы.

Исходный материал, который я предлагаю подвергнуть перфорации, достаточно дешев и столь широко распространен, что недостатка в нем не будет. Процесс обработки хотя и требует значительной точности при пробивке отверстий, легко поддается автоматизации: стоит один раз настроить оборудование надлежащим образом, и дальше оно будет работать практически само по себе. И самая важная, кто-то может даже сказать, самая приятная особенность этого процесса, заключается в том, что по самой своей природе (напомню, что это — удаление лишнего вещества) он позволяет сэкономить почти сто процентов исходного материала. Отходы производства могут быть переработаны в новые листы или пластины, которые путем повторной перфорации можно превратить в новое Ничто, и так — практически бесконечно. Иными словами, из определенного количества исходного вещества можно получать Ничто в количествах совершенно неограниченных.

Дальнейшая обработка Ничто также не представляет никакой сложности. Для этого легко могут быть созданы простейшие портативные устройства, способные перерабатывать Ничто и делать из него листовой прокат, прутки, трубы, профили, арматуру и детали машин и узлов, обладающие заранее за-

данной гибкостью, упругостью, жесткостью и ковкостью.

В своей окончательной форме Ничто неразрушимо. Его тепло- и электропроводность, химическая стойкость к кислотам и щелочам практически равны нулю. Ничто может быть превращено в тонкие прозрачные листы наподобие фольги, так что завернутые в него скоропортящиеся продукты могут без всяких опасений выставляться на полках и прилавках, сделанных из того же Ничто. Административные здания, жилые дома, фабрики, школы — все это может быть выстроено из него. При этом Ничто не будет иметь никакого веса, а себестоимость его транспортировки — даже в неограниченных количествах — будет совершенно мизерной. Грузить его также крайне удобно и просто, хотя мне пока не удалось найти способ, чтобы точно подсчитать, сколько Ничто войдет в заданный объем, скажем — в кузов грузовика или трюм самолета. Очевидно, что даже одно транспортное средство способно нести Ничто в таком количестве, что из него можно построить, замостить и снабдить всем необходимым целый город.

И последнее. Поскольку Ничто (если нам того захочется) неуничтожимо и совершенно инертно, оно, несомненно, является самым подходящим материалом для строительства временных или постоянных защитных куполов над домами, городами или даже над целыми географическими областями. Другое дело, однако, защитить с его помощью, скажем, самолет, поскольку вопрос о проникновении воздушных потоков, необходимых для создания подъемной силы, сквозь невидимый барьер из Ничто представляет серьезную проблему. С

другой стороны, защита орбитальных станций никакой сложности не представляет.

Подведем краткий итог: умозрительные выкладки, подводящие нас к производству такого материала, как Ничто, нисколько не выходят за рамки формальной логики, а выгоды от его использования человечеством делают движение в этом направлении вполне оправданным.

В голосе мисс Принс, раздавшемся из черной коробочки селектора, звучали почтительные нотки:

— Здесь мистер Браун, сэр. Он хотел бы поговорить с вами о важном деле.

Генри Меллоу нахмурился, как бы говоря: «О, Боже!..», потом сказал:

— Пригласите.

Через секунду мистер Браун — черный костюм, черные туфли, черный галстук и пустота в глазах — появился на пороге кабинета, но Генри Меллоу не встал навстречу гостю. Он лишь любезно улыбнулся и взмахнул рукой, указывая на кресло.

— Прошу вас, мистер Браун, садитесь.

Кресло для посетителей было только одно, однако оно стояло достаточно удобно, и мистер Браун сел. Потом он подтвердил свои полномочия, взмахнув перед лицом Генри Меллоу кожаным футляром, напоминавшим пасть клювастой черепахи, у которой полон рот медалей.

— Чем обязан? — поинтересовался Меллоу.

— Вы — Генри Меллоу. — Мистер Браун не спрашивал, он констатировал факт.

— Да.

— И вы написали меморандум о... Об одном но-

вом материале, из которого можно делать разные вещи.

— Ах это... Это — Ничто.

— Как сказать, — без тени улыбки отозвался мистер Браун. — С тех пор вы несомненно продвинулись в своих исследованиях.

— Разве?

— Именно это мы хотели бы узнать.

— Мы?..

Мистер Браун снова сунул руку в карман пиджака и повторил фокус с черепахой.

— О!.. — протянул Генри Меллоу. — Что ж, я не хочу ничего скрывать. Давайте назовем мои выкладки своего рода игрой, интеллектуальным упражнением, и поместим их в каком-нибудь журнале под видом... под видом фантастики.

— Мы не можем этого допустить.

— Отчего же не можете?

— Мы живем в реальном мире, мистер Меллоу. И в этом мире существуют вещи, которые люди, подобные вам, просто не могут понять до конца. Откровенно говоря, я не знаю ни того, есть ли у вашей идеи какие-нибудь достоинства, ни того, как далеко вы уже зашли в своих исследованиях. Я здесь, чтобы посоветовать вам прекратить все работы в этом направлении. Прекратить раз и навсегда.

— Вот как? А почему, мистер Браун?

— Известно ли вам, сколько крупных корпораций пострадает из-за этой вашей штуки?.. Если она, конечно, вообще существует в природе. Строительство, добыча полезных ископаемых, транспорт, промышленность — словом, все. Не то чтобы мы действительно принимали всерьез ваше изобрете-

ние, просто нам о вас коечто известно, и потому мы не можем относиться к происходящему, как к пустяку.

— Что ж, благодарю за совет, однако я, пожалуй, все же опубликую результаты моих исследований.

— Тогда, — сказал мистер Браун голосом, в котором совершенно неожиданно прорезались грозные интонации пророка, — тогда остается военный аспект.

— Военный?

— Да, мистер Меллоу. Я имею в виду вопрос обороноспособности страны. Мы не можем допустить, чтобы планы создания защитных куполов над нашими городами попали в руки непосвященных. Представьте, что будет если кто-нибудь из наших заокеанских недоброжелателей построит такие купола раньше нас?

— Вы всерьез думаете, что если одновременно тысячи людей прочтут об этом в журнале, то кто-то кого-то сможет опередить?

— Приходится думать... — Мистер Браун немного помолчал, потом наклонился ближе. — Неужели вам, мистер Меллоу, ни разу не пришло в голову, что вы наткнулись на золотую жилу и что она принадлежит вам одному? Ведь не откажетесь же вы от собственной выгоды ради абстрактной пользы всего человечества?

— Мне не нужна эта золотая жила, мистер Браун. Я вообще не хочу, чтобы кто-либо разрабатывал какие-либо жилы, копи, рудники. Я не хочу, чтобы люди продолжали вырубать леса и копать новые ямы, чтобы достать из-под земли то, что они никогда не смогут вернуть обратно — особенно теперь,

когда у них есть лучший выход. И я не хочу, чтобы мне платили за то, что, найдя этот выход, я буду о нем молчать. Я хочу только одного, мистер Браун: чтобы люди могли получить все, что им необходимо, не насилуя и не убивая свою планету; я хочу, чтобы они были в состоянии защитить себя, если потребуется; я хочу, чтобы они могли как можно скорее и с минимальными затратами начать жить нормальной жизнью, даже если кое-каким жирным котам придется прежде расстаться с частью своих богатств. Это не значит, мистер Браун, что они будут нищенствовать — просто они будут жить нормально, как все.

— Что ж, чего-то в этом роде я ожидал, — промолвил мистер Браун. Его рука нырнула в карман и вернулась с каким-то устройством, отдаленно напоминавшем игрушечный пружинный пистолет. — Выбирайте, мистер Меллоу: либо вы пойдете со мной добровольно, либо мне придется применить эту штуку.

— Тогда применяйте, — со вздохом сказал Генри Меллоу.

— Это очень хорошее оружие, — утешил его мистер Браун. — Не беспокойтесь, оно не оставит никаких следов.

— Не сомневаюсь, — успел сказать Генри Меллоу. В следующий миг пистолет выстрелил. Раздалось короткое жужжание, из ствола вылетела тонкая игла и... прямо в воздухе разлетелась на куски.

Мистер Браун побледнел и снова поднял пистолет.

— Не трудитесь, мистер Браун, — спокойно промолвил Генри Меллоу. — Между нами находится лист моего нового материала, и он совершенно непробиваем.

Не выпуская из рук оружия, мистер Браун вскочил с кресла и попятился, но вдруг остановился, наткнувшись на невидимое, неподатливое Ничто. Обернувшись, он ощупал его руками, потом стремительно бросился в сторону и, налетев головой на новый невидимый барьер, с размаху сел на ковер. Лицо у него было такое, что казалось мистер Браун вот-вот расплачется.

— Прошу вас, сядьте в кресло, — сказал Генри Меллоу, сохраняя вполне светский тон. — Пожалуйста, там вам будет удобнее... Вот так, хорошо. А теперь выслушайте меня...

С ним вдруг словно что-то случилось; во всяком случае, Генри Меллоу внезапно показался мистеру Брауну более высоким, массивным и гораздо более реальным, чем в начале. Можно было даже подумать, что профессия мистера Брауна мешала ему видеть людей такими, какие они есть на самом деле, а теперь он неожиданно прозрел.

— У меня было гораздо больше времени, чем у вас, чтобы как следует все обдумать, — сказал Генри Меллоу. — И к тому же, я думаю не так, как вы. Наверное, мой образ мышления существенно отличается от того, как думает большинство людей — так, во всяком случае, мне говорили. И все же я скажу вам, к чему я в конце концов пришел. Например, если бы я попытался сохранить свое изобретение для себя одного, я, наверное, не прожил бы и десяти минут... (Что с вами, мистер Браун? Неужели вы уже слышали это от кого-то другого? Что ж, этого следовало ожидать...) Я мог бы так же убрать свои материалы куда-нибудь подальше и постараться забыть о них. Скажу вам откровенно: я *пытался* поступить

подобным образом, но у меня ничего не вышло. Я не мог забыть о своем изобретении, зная, что без него множество людей может умереть сегодня, сейчас и, несомненно, умрет в будущем. В конце концов я даже начал думать о том, чтобы заказать сколько-то листовок с подробным описанием моего открытия и попробовать разбрасывать их с самолета, но потом отказался от этой мысли. Вы ведь помните, что я писал о сотнях тысяч пастухов, которые оказались настолько не любопытны, что ни один из них ни разу не взглянул на свой палец сквозь каплю росы? То же самое может повториться снова, а я не настолько богат, чтобы повторять свой эксперимент с разбрасыванием листовок тысячи и тысячи раз. Вот поэтому, как я вам уже говорил, я решил поместить отчет о своем открытии в журнале, но без всяких подробностей! Я не хочу, чтобы кто-то подумал, будто журнал украл мой секрет, как не хочу и того, чтобы кто-то воспринял это настолько всерьез, чтобы явиться ко мне, и либо попытаться уничтожить меня, либо заставить поделиться прибылью. Все дело в том, что я не желаю делиться своим изобретением ни с одним человеком, ни с двумя, ни с целой группой людей. Я хочу разделить его со всеми, разделить все его плюсы и минусы, все отрицательные и положительные стороны. Но вы, я вижу, этого не понимаете, не так ли, мистер Браун?

Тогда боюсь, через минуту-другую вам придется познакомиться с моим другом-доктором. Он даст вам лекарство, которое поможет вам забыть о нашем разговоре. Оно совершенно безвредно — вы просто не будете ничего помнить, поэтому прежде чем это случится, я хочу сказать вам еще одну вещь.

Там, этажом ниже, у меня уже есть один мистер Браун — он сказал, что вы называли его Браун Икс. Ему нужно было подробное описание моей технологии — нет, не для себя, не для Агентства, но для его единомышленников, которые, по его словам, *действительно* знают, как распорядиться таким материалом, как Ничто. — Тут Меллоу улыбнулся. — Я не хотел бы вас расстраивать, мистер Браун, но ваше Агентство действует не так расторопно, как вы, наверное, думали. Еще на прошлой неделе у меня побывал человек, который говорил по-английски с европейским акцентом. Следом появился другой, который говорил на чистом украинском. Кроме них я принял еще двух азиатов и какого-то бородатого типа с Кубы. Не сочтите за обиду, просто мне казалось, что я должен вам об этом сказать...

А теперь — до свидания, мистер Браун. Скоро вы навсегда забудете о нашем разговоре, но, быть может, когда-нибудь, когда вы будете выписывать чек и нечаянно разорвете его пополам, что-то заставит вас остановиться и задуматься о том, почему перфорация оказалась прочнее, чем все остальное. И таких возможностей очень много — вы можете задуматься об этом каждый раз, когда вам понадобится марка или бумажное полотенце, чтобы вытереть руки... — Меллоу снова улыбнулся и ткнул пальцем одну из кнопок селектора.

— Ты готов, док? — спросил он.

— Готов, — донеслось из динамика.

И тогда Генри Меллоу нажал что-то под столом. В следующее мгновение кресло, в котором сидел мистер Браун, провалилось под пол. Через несколько секунд оно вернулось уже пустым. Меллоу нажал

другой рычаг, и колпак из невидимого, неуничтожимого Ничто поднялся к потолку до следующего посетителя.

Так что, когда с вами случается нечто в этом роде, не говорите «черт!..» и не спешите забыть об этой маленькой неприятности. Остановитесь хоть на минутку и задумайтесь. Кто-то ведь должен рано или поздно изменить мир — так почему не вы?

Тайна планеты Артна

Короткие жесткие волосы Слимми Коба походили на проволоку. Да и сам он казался сделанным из проволоки, такой же маленький и жесткий. Его водянисто-голубые глаза, превратившиеся в узкие щелочки, и тонкогубый рот отчетливо выделялись на смуглом лице. Палец его лежал на спусковом крючке тупоносого пистолета.

— Пиф-паф! — выкрикнул он.

Его напарник втянул бычью шею в плечи. Этого-то он и боялся.

Его пальцы замерли над приборной доской.

— Убрал бы ты эту игрушку подальше, — попросил он.

— Э, нет, — проговорил Слимми и осторожно провел холодным дулом пистолета по безволосому затылку Белла Белью. — Больно мне хочется разрядить его. И ты мне представишь такую возможность, если только не уберешься отсюда и не дашь мне посадить корабль. Я не шучу, сынок.

Белл напряженно улыбнулся, подался вперед и рванул на себя два рычага одновременно. Гравитационная панель под ногами Слимми отключилась, а та, что располагалась на потолке, потянула человека вверх. Слимми завис в воздухе, и ему, как рассерженному котенку, оставалось только фыркать и отплевываться. И все же пистолета он не выпустил, а отвел

Пер. изд.: Artnan Process: в сб. Sturgeon T. Starshine. — New York: Pyramid Books, 1966.

руку в сторону и спустил курок. Струя густой белой жидкости ударила в лысый череп грузного Белла. Чертыхаясь, Белл вытер рукавом лицо, вслепую нашарил нужные переключатели на приборной доске, и Слимми рухнул на пол. Мясистые пальцы Белла сомкнулись на его горле.

— Какого черта я пытался отравить тебя, когда проще было пристрелить, — прохрипел Слимми.

Он еще издал какой-то чавкающий звук, после чего его тонкие губы сомкнулись, а глаза выкатились из орбит.

Внизу, на залитой ярким светом пустынной планете Артна, трое обнаженных марсиан, не отрываясь, глядели на экран телеприемника, на котором перед их взором разворачивались события, происходящие в кабине серебристого космического корабля землян. Их строгие математические умы старались постичь логику поведения людей. Вскоре экран телеприемника погас, так как корабль чуть изменил курс и вышел из поля зрения следящего устройства. Один из марсиан склонился над прибором, и над планетой зазвучали высокие, невыразительные голоса.

— Как обычно, они непредсказуемы, — заявил один марсианин.

Он четко и правильно выговаривал все слова, но его речь была абсолютно лишена какой-либо интонации. Язык марсиан всегда так звучит: марсиане невосприимчивы к изменениям тембра.

— Это непостижимо, — откликнулся другой марсианин. — Два землянина прилетели на эту планету издалека, из Солнечной системы, во время полета, надо полагать, не ссорились, а в последний день вдруг без видимых причин решили убить друг друга.

— По крайней мере мы, — сказал первый, — установили, с какой целью они прибыли сюда.

— Точно. И я не сомневаюсь, что успеха они не добьются.

— Если так, их миссия ничем не будет отличаться от нашей. Артнейцы как будто не настроены враждебно, но ревниво оберегают свои секреты. Так или иначе, я считаю полезным избавиться от землян. Мы от их присутствия ничего не выиграем.

— Я голосую против, — вмешался в разговор третий марсианин. Все это время он тщетно старался разглядеть хоть что-нибудь на экране телеприемника. (Кстати, местоимение «он» применительно к марсианам употребляется условно. На самом деле все марсиане являются особями женского пола; размножаются они партеногенетически, то есть без оплодотворения яйцеклеток. Периодически они поглощают друг друга, и таким образом достигается некоторое разнообразие свойств отдельных особей.) — Как бы ни был несовершенен и примитивен мыслительный процесс на Земле, ее обитатели достигли определенного уровня развития цивилизации. Учитывая ненадежность их разумов, лишенных полноценной логики, мы можем заключить, что они обладают необъяснимой для нас властью над законами случая. Если это так, то они, вполне возможно, смогут выяснить, почему на Артне процесс получения урана-235 дешев настолько, что артнейцы способны полностью захватить марсианский и земной рынки ядерного топлива.

— В этом есть резон, — согласился первый марсианин. Нужно отметить, что в его словах заключался высочайший комплимент из всех, мыс-

лимых на Марсе. — Мы не в состоянии разгадать тайну Артны самостоятельно, а это значит, что следует предоставить выполнение этой задачи другим.

С этими словами он взглянул на экран телеприемника, но ничего, кроме серебристого силуэта корабля землян, не увидел. Корабль скрылся за горизонтом, оказавшись вне зоны досягаемости марсианского телеглаза.

Когда загорелые щеки Слимми посинели, Белл отпустил его горло, двумя пальцами закрутил ему ухо и пару раз стукнул затылком о приборную доску. Этого оказалось достаточно, чтобы пистолет упал на пол. Довольный Белл уселся на грудь товарища. Тот сразу захрипел:

— Слезь! Я задохнусь под твоей тушей.

Белл взял его за подбородок и еще раз ударил затылком о панель.

— Хватит. Хорош. Я сдаюсь. Что теперь?

— Чем ты зарядил пистолет? — спросил его Белл.

— Стеарат цинка плюс соли каких-то жирных кислот, плюс аш-два-о, — объяснил Слимми. — Я думал, тебе понравится.

— Мыльный раствор, — кивнул Белл. — Мыло в твоих руках! Верится с трудом. Ладно, малыш, хватит играть в игрушки. — Кряхтя, он слез со Слимми. — Пора начинать работать. И вообще мы уже за горизонтом. Им за нами уже не подсмотреть.

Слимми с трудом поднялся на ноги и тряхнул головой, словно желая убедиться, что она еще на месте.

— Значит, мы на Артне, — сказал он. — И что мы тут будем делать?

— Сядем как можно ближе к перерабатывающему заводу и постараемся выяснить, какие там применяются уловки для производства урана-235 из урана-238.

— А ты веришь, что они освоили это производство?

— Иначе быть не может. Сначала я думал, что здесь есть залежи. Ничего подобного. Здешняя атмосфера очень похожа на земную, разве что в воздухе чуть больше неона и ксенона и несколько меньше азота. И воды тут достаточно, а ты не хуже меня знаешь, что двести тридцать пятый не может залегать там, где имеется вода.

— Все-таки я не могу понять, почему производство ядерного топлива здесь так дешево, — вздохнул Слимми. — Урана на Артне не на много больше, чем на Земле, и даже меньше, чем на Марсе. Соотношение между 238-м и 235-м, как и у нас, 140 к 1. — Он внезапно стукнул кулаком по подлокотнику кресла. — Черт возьми, разобраться надо.

Надо заметить, что последние слова были исполнены глубокого смысла. И Коб, и Белью, несмотря на склонность к грубоватым шуточкам, отлично представляли себе значимость своей миссии.

Вопрос о ядерном топливе возник почти пятьсот лет назад, в те злосчастные дни, когда люди Земли пустились в космос на поиски древних и мудрых цивилизаций. На Юпитере земляне обнаружили лишь то немногое, что осталось от вымершей расы титанов; съемки обширных участков, окутанных испарениями болот Венеры, не принесли ничего. Зато на Марсе первопроходцы космоса открыли чудесный источник энергии, который казался неиссякаемым. Обитатели Марса не чинили землянам

никаких препятствий в их путешествиях на красную планету. В частности, людям стало известно о поразительно больших запасах чистого урана-235. Правда, марсиане не допустили земных исследователей на завод по производству этого бесценного вещества, но Землю тогда не волновали технологические секреты Марса. Важно было то, что люди сочли более выгодным приобретать дешевую марсианскую энергию, нежели производить свою. Земные атомные электростанции закрылись за ненадобностью.

Да, конечно, кое-какие условия, не слишком значительные, марсиане поставили. Так к Марсу перешел контроль над некоторыми природными ресурсами Земли, землянам было запрещено продолжать научные исследования в некоторых направлениях, печатать определенные книги, путешествовать в кое-какие области космоса... Ограничения неизменно формулировались вежливо, но твердо. Время от времени отдельные горячие головы на Земле бунтовали против растущего влияния Марса, но они всегда оставались в меньшинстве, и их быстро ставили на место благоразумные соотечественники, наслаждавшиеся всеми преимуществами положения сытых рабов. В душах подавляющего большинства людей самый горячий отклик находили слова Хайата Гроува, воспитанного марсианами вождя человечества: «Наша энергетика, промышленность, транспорт существуют лишь благодаря Марсу. Мир на Земле, хлеб наш насущный, прогресс цивилизации — всем этим мы обязаны Марсу. Марс — это сердце Вселенной!»

Население Земли вдесятеро превосходило марси-

анское, зато марсиане жили в восемь раз дольше землян. Преимущество было на стороне Марса. Завоевание Земли оказалось бескровным. Не было войны миров, не было тяжело вооруженных космических флотилий. Имела место лишь дешевая электроэнергия, приходившая в каждый дом, и нескудеющая рука «Старшего брата» Земли. С каждым следующим поколением человечество попадало все в большую зависимость от красной планеты, незаметно опутывавшей землян прочной сетью. Настала новая эра истории Земли, эра спокойствия, благополучия и покорности.

Люди по-разному относились к происходящему. Одних сложившееся положение вещей устраивало. Других оно не устраивало вовсе, но никакого выхода они предложить не могли. Кое-кто активно искал выход; такие незаметно умирали. Но большинство было довольно жизнью. Дети с колыбели получали заботу и ласку; вырастая, они не знали, что такое безработица. Жить стало удобно. Некоторым даже удавалось жениться и воспитывать детей — если не возражал Марс. И женатым, и холостым было хорошо. Старики, неспособные приносить пользу, просили милостыню, и люди помоложе давали ее щедрой рукой — ведь в человечестве царило изобилие. А после смерти человек непременно попадал в крематорий. Так к чему было задумываться, люди или марсиане правят миром?

Людям внушалось, что царство человека было царством хаоса. В новое время убийства, кражи, прочие преступления прекратились. Жить стало лучше. Никому не хотелось глубоко задумываться о новом порядке. На Земле не стало амбиций, горды-

ни, свободы — так тоже лучше. Марсианам. Расцвет Марса был достигнут за счет Земли.

Однако во все времена были на Земле недовольные. Они читали запрещенные книги, занимались запрещенными науками. По большей части такие люди умирали прежде, чем им удавалось расширить пределы запретного знания. Но кому-то удавалось продвинуться в поисках ответов на опасные вопросы, и за несколько столетий кое-что пытливым умам стало известно.

У Земли есть душа, и люди должны воскресить ее.

Марс — повелитель, но он же — раб. Он, как и Земля, порабощен дешевой энергией. За тысячу лет до того, как первые неуклюжие земные летательные аппараты достигли поверхности Марса, на красной планете существовали заводы, на которых уран-238 перерабатывался в уран-235. Однако в один прекрасный день в Великой долине, в окрестностях города Ланамарн, был обнаружен загадочный объект. Никто не знал, откуда он появился. Он представлял собой цилиндр не совсем правильной формы, а внутри находились сделанные из твердого сплава шары, кубы, плоские треугольники и квадраты. На каждом предмете помещался определенный символ. Марсианские ученые проводили эксперименты с этими предметами, высказывали различные смелые предположения и в конце концов поместили внутрь цилиндра другие предметы и завинтили крышку. Раздался пронзительный свист; открыв цилиндр вновь, марсиане обнаружили внутри новые предметы, также отмеченные символами. При этом предметы, положенные туда марсианами, исчезли.

После долгой и упорной работы по расшифровке рисуночных символов ученые разгадали тайну посланца из космоса. Выяснилось, что цилиндр был изготовлен обитателями Артны, планеты, принадлежащей системе Проциона, и доставлен на Марс при помощи вероятностного потока. Механизм транспортировки остался недоступен даже интеллекту марсиан. Понятно было лишь, что в его основе лежит принцип неуничтожимости материи: если часть вещества уничтожается в одной части космоса, то она непременно должна возникнуть в другой, причем в тот же самый момент времени. Следовательно, транспортировка вещества осуществляется мгновенно.

Артнейцы обратились к марсианам с любопытным предложением. Оказывается, им крайне необходим бор, запасы которого в изобилии имеются на Марсе, о чем артнейцам стало известно благодаря телеспектрограммам Марса, и они готовы снабдить марсиан каким-либо другим товаром. Марсиане отправили на Артну образчик урана-238 и спросили, в состоянии ли артнейцы синтезировать 235-й изотоп. Артнейцы исполнили заказ и предложили открыть в Великой долине завод по переработке урана. Предложение было принято. На завод доставлялся уран-238, переправлялся на Артну, а взамен Марс получал чистый уран-235.

Марсианские заводы по переработке урана закрылись, и Марс перешел на артнейское ядерное топливо. Пока это топливо было дешевым, Марс немало выигрывал на заключенной сделке, но Артна быстро осознала выгоды своего положения монополиста на энергетическом рынке и взвинтила

цены. Стоимость урана-235 поддерживалась на таком уровне, чтобы возобновление работы марсианских заводов по переработке урана оставалось нерентабельным. Через некоторое время запасы бора и урана на Марсе истощились. Артнейцам же требовался бор и только бор. Экономика Марса оказалась на грани краха, но тут, к счастью для марсиан, наладились их контакты с Землей. Марс получил доступ к земным природным ресурсам, и дела его вновь пошли в гору. Земляне добывали для марсианских хозяев бор, а утроба гигантского уранового «завода» в Великой долине поглощала земной уран-238.

Все это стало известно благодаря самоотверженным усилиям немногочисленных землян-одиночек, трудившихся втайне от марсиан. На протяжении двух столетий земляне девять раз предпринимали попытки снарядить экспедиции к Проциону. Неназойливые, но трудолюбивые марсианские наблюдатели обнаружили восемь из девяти бригад, и земные ученые и инженеры, работавшие над строительством космических кораблей, были либо уничтожены, либо отправлены на добычу урановой руды. Но девятому кораблю удалось стартовать, хотя даже сами противники владычества Марса на Земле не верили в успех. Разумеется, марсиане не стали бы давать добро на создание корабля, способного в разумные сроки достичь Проциона. Просто марсианские наблюдатели сплоховали.

А может быть, марсиане намеренно не стали мешать людям. Может быть, они сочли вероятным, что люди сумеют раскрыть тайну производства дешевого урана-235 на Артне. Самим марсианам оказалось не

под силу разгадать артнейский секрет. Даже сейчас, имея в своем распоряжении все богатства Земли, Марс был бы рад сбросить бремя зависимости от артнейского ядерного топлива. Марсиане не забыли, как однажды предприняли попытку послать на Артну людей вместо очередной партии бора. В ответ они получили мертвое тело (шесть ног, длина туловища — два фута) артнейца и письменную благодарность за присылку трупов! В письме сообщалось, что вероятностный поток, к сожалению, не может переносить живую материю. Артнейцы также выражали озабоченность по поводу некоторой задержки с поставкой бора.

Обо всем этом думал Белл Белью, глядя в иллюминатор на поверхность Артны. Путешествие было долгим, оно заняло около трех лет, несмотря на использование похищенного на одном из марсианских заводов искривителя пространства. Но со Слимми Кобом ему было хорошо, хотя тот и имел склонность к эксцентричным шуткам. Из числа ряда претендентов именно Белл и Слимми попали в состав экипажа благодаря веселому характеру. Дело было в том, что у марсиан совершенно отсутствует чувство юмора, и чем менее марсиане будут понимать землян, тем лучше.

— Видишь? — прервал затянувшееся молчание Слимми.

Взгляд Белла обратился туда, куда указывал палец коротышки. С некоторым трудом Белл разглядел приземистый силуэт спрятанного в укрытии марсианского космического модуля.

— Вижу, Слимми, и меня это мало беспокоит. Я ожидал, что они будут здесь.

— Как так?

— Я же говорил тебе: не верю, что нам удалось стартовать только по счастливой случайности. Наверняка марсиане выпустили нас.

— Ну да. — В голосе Слимми не чувствовалось уверенности. — Марсиане же всегда выпускают нас туда, куда нам хочется и когда нам хочется. Сотри пену с виска, а то кажется, что у тебя вытекли мозги.

Белл отвесил товарищу дружескую оплеуху, в результате которой тот отлетел к противоположной стенке, а сам вернулся к приборной доске.

— Когда увидишь что-нибудь наподобие уранового завода, скажи мне, — распорядился он. — Наверное, с завода мы и начнем.

Размером Артна немного превосходила Землю. Рельеф здесь был ровный. На всей планете не был ни одной горной цепи. Настоящих равнин, впрочем, тоже не было; вся поверхность планеты была покрыта невысокими холмами. Почва здесь была в основном песчаная, растительность крайне скудная. Растениеводства артнейцы, чей обмен веществ был основан на переработке руды, не знали.

Примерно через два часа Слимми кашлянул, покинул свой наблюдательный пост и включил экран дальнего обзора.

— Думаю, это он, кэп.

Белл вгляделся в очертания массивных построек.

— Снимаю шляпу перед этими марсианами, — пробормотал он. — Конечно, свой завод они построили по образу и подобию этого.

— Не совсем, — возразил Слимми. — Смотри-ка... Что это?

— Что-то вроде барака, — отозвался Белл. —

Цельное здание, высота не больше трех футов, а площадь... Десять квадратных миль.

Загудел предупредительный сигнал, и все лампочки на приборной доске на мгновение вспыхнули.

— Вибрация, — отметил про себя Белл и передвинул одну из рукояток.

Корабль так резко пошел вниз, что у Слимми хрустнуло в коленях. Приборы сообщили космонавтам, что над плоской крышей барака расположен защитный купол полукруглой формы, выполненный из жесткого излучения.

— Что за излучение? — удивился Слимми.

— Не знаю. Давай садиться, а там будет видно.

Корабль облетел строение на безопасном расстоянии и совершил посадку примерно в сотне ярдов от невидимого края силового поля.

— Воздух нормальный? — спросил Белл.

— Ага. Как у нас. И температура летняя. Ну, идем гулять?

Из корабля космонавты выбрались через герметичный промежуточный отсек. В воздухе планеты как будто никаких вредных примесей нет, но если они, паче чаяния, там имеются, было бы разумно не допустить их проникновения внутрь корабля. Бросив взгляд в сторону зарослей примечательного растения, отдаленно напоминавшего карликовый дуб, друзья двинулись в сторону «заводского корпуса». Оба ловили себя на мысли, что чувствуют себя, словно школьники в первый день каникул. Они ведь провели взаперти три долгих года! Слимми даже пожаловался, что ноги его не особенно слушаются, так как слишком долго не проходили по прямой больше двадцати футов.

Земляне поднялись на пригорок и остановились, разглядывая строение. С этого места его не очень-то хорошо было видно. И никаких признаков жизни вокруг.

— Интересно, почему песок не проникает через барьер? — полюбопытствовал Слимми.

— Сейчас проверим, — сказал Белл и посмотрел туда, где должен был быть невидимый край силового барьера. Внутри купола воздух, очевидно, был совершенно неподвижен, тогда как снаружи дул ветерок, и песчаные барханы слегка шевелились. — Глянь туда. Если я не сошел с ума, это и есть граница силового поля.

Он сделал шаг вперед и швырнул в сторону барьера горсть песка. Песчинки долетели до силовой линии и — исчезли. Слимми повторил операцию, после чего со вздохом заметил:

— Надо полагать, артнейцам не хочется, чтобы кто-нибудь заглянул внутрь.

— Что-то в этом роде, — согласился Белл. — Смотри!

Одна из песчаных дюн неподалеку вдруг дернулась и поползла на шести тоненьких ножках в сторону барьера. Она проскользнула между путешественниками, успешно пересекла линию и затрусила к зданию, около которого задрала жесткий хвост и быстро ушла в песок.

— Что это такое? — ахнул Слимми.

— Артнеец, насколько я понимаю.

— Бр-р, гадость какая, — проворчал Слимми. — Кстати, Белл, по-моему, силовое поле не доставляет этим тварям неудобств.

— Я это тоже заметил. По-видимому, барьер воз-

двигнут исключительно ради таких, как мы с тобой. Может быть, и ради наших друзей с Марса.

На обратном пути к кораблю Слимми задумчиво проговорил:

— Похоже, мы получили доказательство истинности гипотезы Лэйдло. Если тебя это, конечно, занимает.

— Что ты этим хочешь сказать?

— Разве это не само собой разумеется? Лэйдло предполагал, что обитатели всех планет Солнечной системы происходят от общего предка, просто они проделали разный эволюционный путь. У всех схожие процессы обмена веществ. Ты сам знаешь, что на Марсе, на Земле, на Венере живут двуногие существа, чьи организмы состоят по большей части из углеродных соединений. Такими же были и гиганты с Юпитера, мир их праху. Силовой барьер непроницаем для органических молекулярных структур. По-видимому, подобный же химический состав имеет здесь и песок. Артнейцы состоят из соединений другого типа. Надо будет как-нибудь поймать одного такого и поглядеть, что у него внутри.

— Наверное, ты прав насчет гипотезы Лэйдло. Но меня, если честно, сейчас больше интересует, что внутри этого барака. Если наши догадки насчет барьера правильны, значит, артнейцы не хотят, чтобы жители Солнечной системы здесь кое-что увидели. Уж не это ли главный корпус уранового завода?

Глаза Слимми вспыхнули.

— Уранового завода? Но тут есть передатчик вероятностного потока, а он экранирован от воздействия как марсиан, так и землян.

— Да уж. — Толстый палец Белла почесал за ухом. — Задачка, малыш. Стоило пролететь чуть не десять световых лет и оказаться перед зданием в стиле модерн, охраняемого силовым полем. Я скорее ожидал увидеть что-нибудь типа города, какие-нибудь машины...

— Скверное дело, — сказал Слимми. — Хорошо, давай прикинем, на что нам могут пригодиться наши мозги. Они иногда заводят дальше, чем ноги. Пойдем посмотрим на наших марсиан. Судя по всему, они здесь крутятся довольно давно.

— Берешь быка за рога? — усмехнулся Белл. — Лично я всю жизнь мечтаю как-нибудь поймать марсианина, чтобы выколоть его косые глаза! Ладно, парень, пошли. Может, нам улыбнется удача.

— Если я хоть что-нибудь понимаю в марсианах, — усмехнулся Слимми, — они должны сейчас рыскать возле нашего корабля.

Так и оказалось.

Они рыскали вблизи двери промежуточного отсека. Их было трое. Тела их дрожали (что вообще-то нехарактерно для марсианской расы), и три пары глаз косили (по марсианскому обыкновению) в сторону приближающихся землян. Разумеется, они давно уже ощутили колебания, производимые сердцебиением людей, и тем не менее не скрылись, что означало их готовность к контакту.

— Привет, ребята, — просто сказал Слимми, как бы невзначай дотронувшись до рукоятки атомного пистолета, чтобы убедиться — на всякий случай — что ему будет нетрудно извлечь оружие из кобуры.

— Что вы здесь делаете? — проскрипел тот марсианин, что стоял справа.

— Двигали надыбать хорошего дьюджо, — немедленно отозвался Слимми.

Он овладел искусством так называемого «птичьего языка» еще в ранней юности.

— Вот именно, — подтвердил Белл, угадав тактику товарища. — Мы собирались наполнить альтибоб, и только мы джеллинули — бац! — оказались тут.

Марсиане долго и недоверчиво смотрели на них, после чего один из них сказал:

— Вы говорите неправду.

— Мы не лжем, — притворно-равнодушно возразил Белл.

Да здравствует точность выражений! Жители Марса все, что не является ложью, считают правдой, и наоборот. Их собственный язык основан отчасти на звуковых колебаниях, отчасти на телепатии. Последнее утверждение Белла было истинным, и марсиане знали об этом наверняка. Потому-то они и поверили Беллу. Что же касается предыдущих фраз, то марсиане просто не приняли их в расчет. Ни один уважающий себя марсианин ни за что не признается, что не понимает, о чем говорит человек с Земли.

Мозги марсиан еще обрабатывали полученную информацию, когда Слимми предпринял попытку перехватить инициативу:

— А вы что тут делаете?

Марсиане немедленно приняли угрожающий вид.

— Здесь не вы задаете вопросы, — сказал один из них.

— Ой, сынок, зачем же ты с нами так, — протянул Белл. — По-моему, вы, которые с Марса, всегда говорили нам, что Марс забирает только то, что ему

принадлежит по праву, и не желает Земле ничего дурного.

— Ну да! — охотно подтвердил Слимми, причем голос его звучал откровенно издевательски. Но для марсиан «ну да» означает всего лишь «да» — даже на планете Артна. — Так почему же вы так с нами разговариваете? Вы здесь находитесь с той же целью, что и мы. Так почему бы нам не заключить соглашение?

— Так зайдите же к нам! — подхватил Белл.

Белл Белью понимал, что с точки зрения стратегии поворачиваться к противнику спиной не стоит, однако с точки зрения дипломатии... К тому же он сообразил, что Слимми Коб лучше других в Солнечной системе ориентируется в боевой обстановке.

Слимми подошел к дверце промежуточного отсека и распахнул ее. Кстати, он умудрился не повернуться спиной к марсианским братьям — чтобы не прерывать диалога.

— Заходите, — кивнул он. — Может, протянем друг другу руки? Давайте сначала добудем информацию, а уж потом решим, что с ней делать.

Три пары глаз мгновенно обменялись мнениями, и трое марсиан вошли в серебристый космический корабль.

Минуту спустя они сидели рядышком, потягивая через соломинки легендарную кока-колу, производимую только на Земле. Позы их излучали дружелюбие.

Путешественники с Земли давно заметили, что все они разного роста. Поскольку земляне в принципе не могут произнести марсианские имена, содержащие телепатическую составляющую, Слимми про-

звал новых знакомцев на свой лад: Гулливер, Наш Парень и Лилипут.

— Выпейте еще по коле, — радушно предложил Белл.

Наш Парень тут же подставил ему пустую флягу. Белью метнул быстрый взгляд на Слимми, и тот кивнул. Обоим землянам было известно, какое действие производил данный напиток на марсиан. Опьянением такое состояние назвать было нельзя. Под воздействием колы марсианин постепенно терял способность двигаться и начинал быстрее соображать. Выпив известное количество колы, любой марсианин становился гением и лежал пластом. Белл решил напоить марсиан только затем, чтобы сделать их на какое-то время пассивными; нелепо было бы надеяться обмануть пьяного марсианина.

Марсиане приняли предложенный им напиток. С их стороны это было жестом доброй воли, трубкой мира, выкуренной за счет землян; Марс давно научился действовать за счет Земли.

Когда кожа гостей начала приобретать бледно-голубой оттенок, Слимми принялся их обрабатывать.

— Ребята, — провозгласил он, — для нас нет смысла резать друг другу глотки. Вы наверняка догадались, для чего мы здесь. Мы знаем, что двести тридцать пятый, поставляемый на Землю, производится не на Марсе. Он производится на Артне, а точнее, в этом низком здании, что содержится под защитой силового поля. Мы желаем узнать, каким образом получен изотоп и возможно ли применить данный технологический процесс в Солнечной системе.

— И при чем тут мы? — насторожился Лилипут.

— Если позволите, на этот вопрос отвечу я, — вступил в разговор Белью. — Вам хотелось бы знать, как много известно нам. Это естественно. Нам известно, что значительная часть экономики как Марса, так и Земли ориентирована на добычу бора, необходимого для обмена на дешевый артнейский уран-235. Нам известно, что влады... что первенство Марса в Солнечной системе в полной мере может быть обеспечено в том и только в том случае, если Марс овладеет здешней технологией, поскольку все признаки говорят о том, что артнейцам переработка урана не стоит практически ничего. Нам известно, что три года назад, когда наш корабль покинул пределы Солнечной системы, марсианским властям сущность артнейского процесса переработки была неведома. Неведома она вам и сейчас, поскольку иначе вам нечего было бы здесь делать.

Гулливер прервал Белла вопросом:

— Для чего вам нужно овладеть технологией?

— Я мог бы сказать, что Земля намерена отплатить Марсу добром за добро, — с легкой усмешкой сказал Слимми. — Или я мог бы сказать, что наша любознательность является нашим личным делом. Но я не стану ничего утверждать. Ваш изощренный разум вполне в состоянии найти правильный ответ на поставленный вопрос.

Взгляды косых глаз марсиан скрестились, и молчаливый обмен мнениями продолжался несколько секунд. Выйдя наконец из прострации, Гулливер сказал:

— У нас имеется кое-какая информация. Что мы выиграем, если поделимся ею с вами?

Настала очередь Белла отвечать.

— Мы не знаем, как долго вы находитесь на этой планете, но мы уверены, что до сих пор вы не вышли на правильный путь. Предположим, мы воспользуемся добытой вами информацией. Найдем ли мы ответ? Не знаю. Если да — прекрасно. Если нет — что вы теряете?

— Мы поделимся с вами тем, что знаем, — внезапно решил Наш Парень. — Итак: артнейцы — это раса, не имеющая ничего общего с расами, когда-либо обитавшими в нашей системе. Они питаются рудами, а отходами их жизнедеятельности являются сульфиды, следовательно, обмен веществ у них проходит на минеральной основе. Их культура принципиально непостижима для разумов Солнечной системы. Они ни разу не предпринимали попыток изгнать нас с планеты, но и не вступали с нами в контакт, хотя им известно, что мы с Марса, то есть с нашей расой у них давние торговые связи. Сквозь силовое поле, окружающее завод, проникает только свет. Барьер непроницаем даже для наших телеглаз. Оценить уровень развития их цивилизации, их технологий мы не можем. На поверхности планеты артнейцы показываются редко. Возможно, Артна — искусственная планета. Скорее всего наука здесь развивалась по совершенно иным направлениям, нежели у нас. Насколько важна для них торговля с Марсом, мы тоже не знаем. Нет абсолютно никаких критериев, по которым мы могли бы об этом судить. Вот все, что нам удалось установить в результате наблюдений на месте.

— Эта информация, — заметил Белью, — может оказаться полезной. Хотя кто знает. Мы все это обмозгуем. А теперь нам осталось обсудить еще одно.

Можем ли мы быть уверены, что в нашем соглашении нет двойного дна? Что вы не убьете нас, если мы откроем тайну. И можете ли вы быть уверены в том, что мы вас не уничтожим, если почему-либо сочтем необходимым?

— Мы можем обещать вам безопасность, — ответил дребезжащий голос Нашего Парня.

— Друг мой, этого мало, — вкрадчиво заговорил Слимми. — Не обижайтесь, пожалуйста, мы помним, что марсиане до сих пор никогда не нарушали данного ими слова, но у нас нет гарантий, что на Артне такое не может произойти в первый раз. Если мы умрем, ваша репутация пострадает. Может быть, можно найти другой вариант?

Белью едва заметно кивнул другу, давая ему понять, что он несколько перегибает палку. Увы, по интонации марсиан невозможно было понять, довольны они, или оскорблены, или разгневаны. Наверное, из-за того, что речи марсиан совершенно чужды эмоциональные оттенки, по голосу Нашего Парня нельзя было догадаться, какое впечатление на него произвел отказ от его предложения.

— Мы могли бы, — сказал Наш Парень, — позволить вам уничтожить все наше оружие, а сами тем временем избавились бы от вашего.

Белл и Слимми не поверили своим ушам.

— Вы действительно согласитесь? — воскликнули они в унисон.

— Да, — также дружно ответили три марсианина.

Извинившись, Белью отозвал своего товарища в сторону. Он вдруг вспомнил, что марсиане способны читать мысли людей Земли только в том случае, если они сопровождаются работой речевого аппарата.

При письменном обмене мыслями марсианская телепатия бессильна. Поэтому он взял бумажку и нацарапал на ней:

«Раз они готовы на такое, значит, они загнаны в угол. Что скажешь?»

«Соглашаемся», — быстро написал Слимми.

«Риск. Безоружный марсианин намного проворней и сильнее безоружного землянина».

«У нас есть мозги и космический корабль».

Белью отвел взгляд от листка и внимательно посмотрел Слимми в глаза, потом встал и подошел к марсианам.

— Ладно, ребята, — сказал он. — Мы согласны. И раз уж мы договорились, давайте сделаем так: один из вас остается здесь со Слимми и занимается нашим арсеналом, а я иду с двумя другими к вам. Бортовую артиллерию мы взрываем, а личное оружие забрасываем внутрь силового купола.

— Стоп! — запротестовал Слимми. — Мы тут все, конечно, братья по разуму, но разлучаться бы не хотелось.

— Не волнуйся, — успокоил его Белью. — Твоя карманная игрушка останется у тебя до тех пор, пока братец Лилипут будет ломать все остальное. К тому же мы нужны нашим братьям по разуму. В общем, встречаемся через два часа у границы силового поля. Личное оружие при нас. Береги себя, малыш.

Взмахом руки он пригласил двоих марсиан следовать за ним к выходу.

Два часа спустя Слимми Коб и Белл Белью обменялись впечатлениями. Выяснилось, что конструкция марсианского корабля принципиально не отличалась от земного, но Белл подтвердил, что теле-

глаз марсиан, шпионящий за землянами, работает постоянно, поэтому разговаривать следует предельно осторожно.

Слимми согласно кивнул, поднялся, налил себе стакан колы, вернулся на место, вырвал из блокнота лист бумаги, взял карандаш и протянул товарищу. Белл принялся усердно строчить. Через несколько минут Слимми читал: «Хочешь посмеяться? Едва мы с Гулливером и Нашим Парнем вышли отсюда, как они забросали меня вопросами: из-за чего ты перед посадкой пытался убить меня. Наш расчет оправдался; они видели, как ты стрелял в меня из водяного пистолета. У них буквально мозги расплавились, так как они не могли взять в толк, для чего тебе меня убивать и почему я, одолев тебя, не покончил с тобой. И они мне предложили уничтожить тебя, если мне это зачем-то нужно. Они дали мне склянку с возбудителем марсианского паралича. Если мы откроем тайну Артны, сказали они, то я смогу тебя убить и буду пользоваться их покровительством и вместе с ними вернусь в Солнечную систему».

— Угу, — произнес Слимми вслух. — Славные ребята живут на Марсе.

Белл кивнул ему на блокнот, подмигнул и спросил:

— Может, пойдем поспим?

В эти слова он явно вложил противоположный смысл. И Слимми ответил:

— Да, конечно, пора.

При этом оба космонавта помнили, естественно, что накануне полета они подверглись хирургической операции — абсолютно незаконной — по удалению сонных центров мозга.

Пока Слимми разувался, Белл прошел в душевую, сунул под майку две пары очков с толстыми стеклами и два диска, сделанных из того же материала, что и стекла очков, вернулся в спальный отсек, откинул койку, расположенную над койкой Слимми, швырнул товарищу очки и диск и забрался наверх. И он, и Слимми прикрутили диски к ночникам у изголовья коек и включили свет. Марсиане, способные воспринимать ультрафиолетовое освещение, совершенно нечувствительны к красной и инфракрасной части спектра. Если их телеглаз включен — а в этом сомневаться не приходилось, — они не увидят на экране ничего, а услышат только шорох карандаша, скользящего по бумаге.

«Я тут задумался насчет артнейцев», — написал Белл. — «С чего они построили завод на поверхности, когда сами живут под землей?»

«Наверное, завод должен быть рядом с тем местом, откуда осуществляется передача. Насколько мне известно, вероятностный поток работает только на поверхности планеты».

«Да, видимо, так. Что ты думаешь о сущности процесса переработки?»

«Брат, тут у нас слабое место. Марсиане втыкали в землю свои датчики возле края силового поля, но никакой вибрации не уловили. Точнее, они зафиксировали колебания почвы под ногами артнейцев, зафиксировали, как артнейцы зарываются в землю, но и только. Еще было слышно, как работает межпланетный транспортер. Со всем оборудованием управляются не больше восьми, максимум десяти артнейских рабочих. Время от времени внутри здания проходит воздушная волна, после чего включается всасываю-

щий клапан, и порция урана-238 в виде порошка поступает в перерабатывающий цех. Спустя некоторое время новая воздушная волна выносит из цеха другой порошок. Еще их приборы улавливают некую вибрацию почвы, связанную, по-видимому, с ростом растений — либо внутри здания, либо снаружи, сказать сложно».

После небольшой паузы Слимми написал: «Ты пытался узнать, для чего артнейцам бор?»

«Скорее всего они его едят. Получается так, что артнейцы устроили себе что-то вроде кондитерской фабрики, связав по рукам и ногам Марс и поработив Землю. Наверное, мы никогда не узнаем, в чем тут дело, если артнейцы все-таки не захотят с нами поговорить».

«Им скорее всего монополия ни к чему», — накорябал Слимми. — «Они всем своим поведением как будто говорят как марсианам, так и нам: «Мы разработали технологию. Если она вас интересует, разрабатывайте ее сами». По-моему, по барабану им, освоим мы процесс переработки или нет».

Прочитав текст, Белл согласился с другом и заметил, также письменно, что психологию артнейцев понять невозможно, настолько она чужда человеческому мышлению. Прав, мол, был старик Лэйдло. Внезапно Белл встрепенулся, торопливо выхватил у Слимми лист и начал лихорадочно писать: «Гипотеза Лэйдло!» — Он подчеркнул эти слова двумя жирными чертами. — «Вот где ответ! Лэйдло утверждал, что обитатели планет любой звездной системы имеют общего предка, явившегося извне, и поэтому невозможно предсказать, в каком направлении пойдет эволюция как животных, так и растений в данной

системе. Артнейцы едят минеральные вещества? Согласно Лэйдло, здешние растения в таком случае также должны питаться сходным образом. Понимаешь меня?»

— Нет! — громко объявил Слимми, забывшись.

Белл зажал ему рот и снова начал писать: «Здесь нет никакой технологии! Никакой электрохимии или радиофизики! Уран-238 перерабатывается в уран-235 растениями! В этом бараке работают не физики и не инженеры, а садовники!»

«Значит, растения? — Карандаш изумленного Слимми проткнул бумагу. — Каким образом растения могут преобразовывать один изотоп элемента в другой?»

«Артнеец точно так же спросил бы тебя, каким образом земные растения способны преобразовывать свет и воду в целлюлозу, — написал Белл. — Неважно, кстати, настоящие это растения, грибы или мхи. Важно, откуда они».

«Не с этой планеты, — уверенно написал Слимми. — Здешний воздух содержит влагу, а вода и чистый двести тридцать пятый несовместимы. В этой атмосфере растение, вырабатывающее ядерное топливо, не просуществовало бы и секунды, оно бы взорвалось немедленно. Родиной этих растений должна быть другая планета, настолько жаркая или настолько холодная, что вода там не может существовать».

«В этой системе есть такая планета?»

Слимми слез со своей койки, подошел к столу, вернулся на место, устроился под одеялом и начал писать на полях найденной среди бумаг карты: «Таких планет две. Вот эта. — Слимми начертил на кар-

те стрелку, указывающую на крупную, удаленную от звезды на значительное расстояние планету. — И еще вот. Тут жарко. По-настоящему жарко, и год длится девяносто шесть суток. Надеюсь, ты не будешь меня уверять, что тамошние растения, если они, конечно, есть, могут существовать в условиях Артны».

«Могут, если это мхи или бактерии. Для самых примитивных организмов температура не играет большой роли. Попытаться в любом случае стоит. Только как нам отсюда выбраться, чтобы наши новые друзья за нами не увязались?»

Слимми задумался ненадолго, потом вдруг хихикнул и начал строчить: «Милый мой, у меня начинается марсианский паралич!»

Белл щелкнул пальцами, откинулся на подушку и захохотал.

Гулливер, Наш Парень и Лилипут склонились к экрану телеглаза. Только что их взорам открылась удивительная картина. Голова лежащего на спине Слимми свешивалась с койки так, что кожа на его горле, казалось, готова была лопнуть. Лицо его посинело, и на губах выступила пена. Воздух со свистом вырывался из его легких, что было отчетливо слышно на марсианском наблюдательном пункте.

— Вот предатель, — проворчал Наш Парень. — Прислушался к нашему совету и заразил товарища.

Ресницы Гулливера взметнулись вверх.

— Он бы на это не решился, если бы не заполучил необходимую информацию.

— Когда он мог ее заполучить? — удивился Наш Парень. — Слежка идет непрерывно, и мы знаем, что

они не покидали корабль и не проводили никаких экспериментов.

— К разгадке их могла привести их извращенная логика, — возразил Лилипут. — Я уже говорил както, что земляне поразительно умеют обращать себе на пользу законы случая.

— Да, ответ у них наверняка есть, — согласился Наш Парень. — В противном случае большой не стал бы убивать малыша. Кстати, а где сам большой?

Ответом ему послужил оглушительный грохот; Белл Белью колотил в дверь герметичного промежуточного отсека марсианского корабля. Гулливер протянул длинную, лишенную суставов руку и нажал на кнопку. Дверь открылась, посетитель миновал промежуточный отсек и ворвался в кабину, неистово рыча:

— Ребята, быстрее! Мой друг умудрился подхватить марсианский паралич. Долго он не протянет.

Неожиданно Белл не удержался и подмигнул.

— А при чем тут мы? — бесстрастно поинтересовался Гулливер.

— Что, не понимаете? Он открыл тайну Артны, но совершенно потерял голос, только хрипит. Вы же телепаты, а я — нет. Вам будет легче разобрать его хрипы.

— Землянин, ты глуп, — проскрежетал Наш Парень. — Зачем ты его заразил? Что, если он умрет и унесет тайну Артны с собой?

Белл, казалось, был обескуражен этими словами.

— Дело было так, — пустился он в объяснения. — Слимми додумался. Он сказал, что все очень просто и даже очевидно, нужна только ключевая идея. Я спросил, что это за идея, но он отказался отвечать. Заявил, что откроет мне тайну лишь в том случае, ес-

ли его собственная жизнь будет в опасности. И я тогда рассудил так: если мы привезем разгадку на Землю, то у нас не будет возможности скрыть ее от марсиан, и марсиане попросту убьют нас в награду за все наши труды. Лично я не хочу умирать. А вы обещали мне защиту, если я исполню ваш план. Вот я и заразил Слимми вирусом, считая, что он откроет мне тайну, когда поймет, насколько тяжело болен. Но оказалось, что вирус действует слишком быстро. Слимми пытается что-то сказать, но я не понимаю ни единого слова. Так что бежим туда, пока он хотя бы жив!

С этими словами «большой землянин» выбежал из кабины, где тут же зазвучали пронзительные голоса — марсиане совещались. Вскоре они покинули корабль и последовали за Беллом — все трое. Человек с Земли мчался во всю прыть, но марсиане оставили его позади, когда он едва пробежал восьмую часть пути. Удивительно, но эти создания даже не запыхались.

Для обитателей красной планеты марсианский паралич означает неминуемую смерть. Поэтому трое марсиан, как ни хотелось им услышать слова Слимми Коба, рискнули приблизиться к нему лишь на пять футов. Когда Белл влетел в кабину, они напряженно вслушивались в бессвязные хрипы больного.

— Прочь от него! — яростно зашептал Белл. — Он же скорее умрет, чем откроет тайну марсианам.

— Успокойся. — Лилипут махнул рукой. — Он не знает, кто здесь. Болезнь зашла слишком далеко. Паралич вызывает расстройство зрения, а затем — слуха.

В потоке стенаний Слимми теперь угадывались отдельные слова:

— Белл... процесс... электролиз... умираю... марсиане — сволочи... процесс... электролиз... — Внезапно умирающий приподнял голову и выговорил обыкновенным голосом: — Двинем надыбать хорошего дьюджо.

После этого отчаянного усилия голова его рухнула на подушку, и он затих.

Белл прошел в соседний отсек, достал из холодильника три банки кока-колы и вернулся к гостям.

— Выпейте, — сказал он шепотом. — Вам понадобятся все ваши мыслительные способности, чтобы понять это.

Он кивнул в сторону Слимми, который теперь обстоятельно рассказывал о джеллиновании альтибобов.

Марсиане жадно глотнули из банок, по всей видимости страстно желая обострить свои мыслительные способности до предела.

После сорока минут бормотания и посасывания кока-колы Белл решил, что очередную порцию можно пока не приносить. Он молча протянул товарищу руку, тот ухватился за нее и сел на койке, растирая шею.

— Наконец-то эта бодяга кончилась, — проворчал он.

— Ты отлично справился, сынок, — одобрительно сказал ему Белл. — С меня бутылка.

— А с этими нажравшимися свиньями что будем делать? — спросил Слимми, указывая на троих марсиан.

Те сидели рядышком у стены, и в их мутных глазах можно было прочесть бессильную ярость. Они были сейчас абсолютно беспомощны, хотя мозг каждого из них работал со скоростью мощной вычислительной машины, и они ясно видели, что обмануты.

Белл задумался и изрек:

— Посиди с ними, а я ненадолго отлучусь. Они в прострации и не смогут помешать тебе время от времени вливать им в пасти колу. У тебя остается пятьдесят галлонов. Не давай им протрезветь. Пригрози им, что утопишь их в коле, если они не станут пить.

Слимми и Белл вынесли безжизненные тела марсиан наружу и уложили их на песок возле корабля.

— Надо бы от них избавиться, — заметил Слимми.

— Я об этом думал. Только вспомни, пожалуйста: о сути артнейского процесса мы пока только догадываемся. Вдруг мы чего-то не учли? Тогда эти ребята могут нам опять понадобиться.

— Как скажешь, — разочарованно вздохнул Слимми. — Значит, придется мне тут о них заботиться. А когда ты вернешься, то возьмешь их на себя. Кстати, будь осторожен.

— Не беспокойся, малыш. Я вернусь часов через пятьдесят. Пока.

Белл хлопнул друга по спине и скрылся внутри корабля. Дверь бесшумно закрылась за ним, корабль поднялся в воздух, сделал прощальный круг и стал удаляться. Слимми провожал его тоскливым взглядом, пока он не превратился в едва различимую точку на горизонте. Тогда он обратился к неподвижным марсианам:

— Сейчас по бутылочке получите, дружочки.

С этими словами он стал усердно вливать колу им в раскрытые рты.

Когда космический корабль скрылся из поля зрения пьяных марсиан, Белл стал набирать высоту. Выйдя из поля тяготения планеты, он вошел в гипер-

пространство и понесся к Проциону и его темному спутнику со скоростью, во много раз превышающей скорость света. На протяжении всего полета он внимательно наблюдал за показаниями хронометров, переводя время от времени переключатель скоростей из одного положения в другое, и наконец вернулся в обычное пространство менее чем в двух тысячах миль от внутренней планеты. Хотя корабль отважных землян был надежно защищен от повреждений, пилот почувствовал, что борта начали нагреваться. Тогда он создал вокруг корабля локальное силовое поле, преобразующее тепловую энергию в свет. Убедившись, что свет, как и положено, возвращается к двойной звезде, Белью приступил к облету маленькой, но неимоверно горячей планеты. Острые глаза умных приборов проникали в глубины горных кратеров и кипящих минеральных морей. Белл одним глазом следил за показаниями телеоспектрографа, а другим — за стрелками многочисленных датчиков.

Вскоре выяснилось, что на планете имеются колоссальные запасы урана-236 и -237, изотопов столь редких, что дотоле никому во Вселенной не было известно об их существовании. Но не благодаря им белоснежные зубы Белла обнажились в радостной улыбке. Он обнаружил, что ничуть не менее велики здесь залежи как урана-235, так и урана-238.

Над участком поверхности, где было отмечено наличие обоих изотопов, корабль, окутанный светообразующим силовым полем, пошел на снижение, и тогда экран телескопа открыл Беллу то, ради чего космонавт и покинул Артну. Огромное поле сплошь было покрыто мхами, наполовину засыпанными мельчайшими спорами. Огромная разрешающая

способность телескопа позволяла Беллу воочию наблюдать за тем, как эти мхи поглощают редкостные изотопы и усваивают их, одновременно выделяя из себя все примеси, в том числе и уран-235. Все жизненные процессы этих растений шли поразительно быстро. Когда мох истощал имеющиеся вокруг запасы урана, он разбрасывал споры и умирал. Горячий ветер разносил споры по планете, и уран притягивал их к полурасплавленной поверхности в местах своего залегания. Там немедленно вырастал новый мох, и все процессы повторялись вновь.

Корабль еще приблизился к поверхности планеты, и при помощи трубки из берилстали и насоса небольшой мощности Белл получил в свое распоряжение образчики спор. Простейшие эксперименты убедили его, что он отыскал сокровище. Было очевидно, что споры могли сохраняться жизнеспособными без всякого питания неопределенно долгое время. Прорастали они при любой температуре. Присутствие урана было единственным условием, необходимым для появления чудо-мха.

Придя к этим выводам, счастливый Белл Белью вошел в гиперпространство и полетел на Артну.

Исследования внутренней планеты и опыты со спорами мха заняли несколько больше времени, чем Белл предполагал, так что он оказался над крышей артнейского уранового завода лишь через семьдесят часов после расставания со Слимми. С тревогой посмотрел он туда, где оставил товарища и его пьяных подопечных. Ничего, только голый песок.

Нахмурившись, Белл включил телескоп и стал вглядываться в поверхность планеты. Все признаки

указывали на некоторую потасовку. Белл хорошо знал своего друга и мог предположить, что стычка была весьма серьезной, несмотря на то что любой марсианин втрое сильнее человека с Земли.

Совершив посадку, Белл поспешно выбрался наружу и побежал к месту стоянки марсианского корабля.

При его приближении входная дверь открылась, и показался Наш Парень. По нему было видно, что он страдает от изрядного похмелья.

— Что тебе нужно?

— Мне нужен Слимми. Что вы с ним сделали?

— Мы вернем тебе твоего спутника, если ты отдашь нам то, что привез.

— Вы убили его!

Наш Парень сделал шаг в сторону.

— Войди и убедись.

Белл решительно вошел в корабль. Слимми в самом деле оказался там, и у него был покорный вид, так как его крепко держали железные руки Гулливера и Лилипута.

— Привет, — сказал он.

— Слимми! Что случилось?

— Вспомни, что было с тобой в Цинциннати, у Берта.

Белл вспомнил. Вообще-то гордиться в той истории ему было нечем. Он попытался перепить на спор шестерых рабочих борных шахт. После того случая он уже не забудет, что в определенных дозах алкоголь из источника высоких жизненных радостей превращается в самое натуральное рвотное.

— А при чем здесь...

— Они меня надули. Часов восемь после твоего

вылета они пытались сопротивляться, и я поил их насильно, а потом на них как будто напала жадность, и они стали пить беспрерывно. А потом им стало плохо. По-настоящему плохо. И они стали трезветь. Я усиленно поил их, а из них все выливалось, галлон за галлоном. Не знаю, как они вызывали рвоту, но факт остается фактом: у меня закончилась кола. Надо было их сразу убить.

— Успеем, — мрачно сказал Белл. — Ладно, ребята, отпускайте его.

Он спокойно сунул руку в карман и извлек небольшой темный пистолет. Марсиане вздрогнули.

— Откуда это? — спросил Гулливер. — Вы обещали, что позволите нам уничтожить все оружие, что было у вас на борту. Все наше оружие уничтожено. Что же это такое?

И снова Белл пожалел о том, что голоса марсиан лишены интонации. Сейчас ему до смерти хотелось, чтобы самый высокий из его врагов злился и брызгал слюной.

— Это именно то, — проговорил Белл, посторонившись, чтобы дать возможность освобожденному Слимми выйти из корабля, — что мы на Земле называем тузом в рукаве. В общем, приятно было с вами познакомиться.

Уверенно держа марсиан под прицелом, он покинул корабль.

Когда космический корабль землян уже удалялся от поверхности Артны, Слимми оторвал взгляд от приборной доски и улыбнулся.

— Знаешь, Белл, нехорошую ты с ними шутку сыграл, но я все-таки рад, что пистолетик ты придержал.

Белл с ухмылкой встал, взял в руки пистолет и подошел с ним к люку для отходов.

— Ну-ка возьми чуть левее, — распорядился он. — Ты меня не совсем понял, малыш. — Он опустил пистолет в люк и нажатием кнопки открыл клапан. — Мы сдержали свое слово и уничтожили все оружие, приносящее смерть. Этот пистолет — не оружие. Это наша с тобой любимая игрушка, наш водяной пистолет, и я рад подарить его нашим новым друзьям.

А в это время пистолет уже упал на поверхность Артны рядом с марсианским кораблем, и три долговязые фигуры склонились над ним. Они, наверное, не ожидали душа из мыльной пены.

Как пришить тетушку

— Вот чертяка, — восхищенно произнесла старая леди. Тон ее, пожалуй, мог бы показаться странным, поскольку белок она не переваривала, особенно тех, что воруют птичий корм и сало из кормушек. Прикованные к постели люди не могут не любить птиц. И тем не менее старуха добавила: — Ох, есть у тебя мозги в голове.

Обращалась она к белке, которая после двух безуспешных попыток добраться до птичьей кормушки оказалась как раз на той ветке, откуда удобнее всего было прыгнуть.

Старая дама терпеть не могла белок, непунктуальность, неаккуратность, рисовый пудинг, жадность, рекламу, особенно на телевидении (а телевизор она смотрела очень часто), тупоумие, племянника Хьюберта. Хьюберт нимало не походил на рисовый пудинг или на белку, но для тетушки он служил воплощением всего вышеперечисленного.

Отчасти.

В этом, наверное, все и дело, думала старая леди, восхищаясь проклятой белкой. Все верно, она ненавидит Хьюберта во всех его ипостасях — от внешнего вида до рода занятий (Хьюберт работал ассистентом продюсера в одной из коммерческих телепрограмм, а значит — мыл чашки, говорил: «Вас понял, сэр», и вечно был на побегушках). Она его ненави-

---

Пер. изд.: Sturgeon T. How to Kill Aunty: в сб. Sturgeon T. Starshine. — New York: Pyramid Books, 1966.

дит — отчасти. Пусть по большей части. Но не полностью.

А белка тем временем добралась до латунной ручки, при помощи которой открывалась и закрывалась кормушка. Всем белкам белка: хитрая, плутоватая, проворная воровка.

Беззлобно выругавшись, старуха дернула за проведенную к ее кровати веревку, и кормушка поднялась на положенное место, то есть на верхние ветви березы. Эту хитроумную кормушку, способную путешествовать от окна старухи к дереву и обратно, как и коечто еще в этом доме, изобрела сама хозяйка, а смастерил Хьюберт. Ну что о нем можно сказать? Нет, конечно, он не совсем криворукий. В принципе с работой справиться способен, просто он сначала перепробует все неверные способы, и только потом доберется до верного. Тетушка содрогнулась, вспомнив бесконечные недели хаоса в доме, когда ее племянник трудился над сооружением кормушки. Но теперь, так или иначе, устройство работало, и старая дама каждое утро подтягивала кормушку к окну, дабы наполнить ее.

Она взглянула на часы и сунула руку под подушку, чтобы достать пульт дистанционного управления телевизора. Телевизор она любила и без смущения в этом признавалась. Особенно она пристрастилась к телевизору в последнее время. И еще она обожала именно этот телеприемник, ей нравилось смотреть на него даже тогда, когда он не включен. Этим вот телевизором Хьюберт пытался убить ее, и она, в общем-то, помогала ему.

Этот телевизор — не чета птичьей кормушке. Там тетушка только и делала, что понукала Хьюберта. В случае же с телевизором она подала идею, убедила

Хьюберта в необходимости ее реализации, а затем старательно разыгрывала дурочку, причем Хьюберт так и не понял, что она далеко не так глупа, что она всего лишь играла роль простодушной старушки. А Хьюберт — тетушка скрепя сердце признавала это — в работе над телевизором проявил изрядное упорство и прилежание. На этот раз Хьюберт изменил себе и настойчиво добивался своей цели.

Уже много времени прошло с тех пор как он впервые попытался убить ее. Поводом тогда послужила Сюзи Карина. Наверное, у него много накопилось за долгие годы, но именно Сюзи стала последней каплей. Сюзи была у них прислугой, и тетушка, подумать только, тетушка, как последняя дура, предоставила ей кров. Она, тетушка, не предполагала, что Хьюберту придет в голову связаться с женщиной, и тем паче с Сюзи. Да, она ошиблась. Она прекрасно разбиралась в денежных вопросах, в простых механизмах, в птицах, в хронометрах, но за всю свою долгую и полную забот жизнь (в кошельке у нее никогда не было незаработанного цента) она так и не научилась ориентироваться в хитросплетениях отношений между мужчиной и женщиной. В этой единственной области она могла допустить ошибку — и допустила. Сюзи была маленькой хищницей, пронырливой и алчной. О Хьюберте старуха судила в общем-то верно, он не подошел бы к женщине, даже встретив ее на необитаемом острове, настолько непоколебимо он был убежден в своей непривлекательности. Но он, как и его тетушка, не принял во внимание дьявольское мастерство лести, которым в совершенстве владела Сюзи. Похвали мужчину за его мужские качества, и можешь из него веревки

вить. Так что Хьюберт, чей опыт в общении с противоположным полом сводился к игре в почту в десятилетнем возрасте (тогда все девочки, не сговариваясь, отправили его в ящик для писем, не нашедших адресата), стал легкой добычей. Завоевать его сердце львице Сюзи было ничуть не труднее, чем скатиться на лыжах с пологого склона.

Роман Хьюберта и Сюзи продолжался несколько месяцев прямо под носом тетушки, в ее собственном доме. Их шашни сходили им с рук не только потому, что Сюзи держалась очень скромно, то есть выбрала разумную тактику для достижения своих целей, и не только потому, что старая тетушка не была настроена на данную волну. Хьюберт был настолько ошарашен тем, что с ним произошло, что впал в оцепенение, и родная тетушка, самая близкая его родственница, считала, что он ведет себя, как всегда. Он не пропадал по ночам, двигался, как обычно, то есть словно во сне, и даже не предался мотовству — интересы Сюзи простирались несколько далее новых шляпок. Этого обстоятельства старая леди, разумеется, так и не узнала, даже после того, как обнаружила опасность и молча ликвидировала ее источник.

Тайна раскрылась совершенно случайно. Однажды в половине третьего ночи тетушке зачем-то вздумалось глянуть с лестницы вниз, и она увидела, как ее племянник выходит почему-то из столовой да еще посылает в сторону двери воздушный поцелуй. Она отступила в темный угол, и племянник прошествовал мимо нее по лестнице, блаженно улыбаясь. В руках у него были не только туфли, но и нижнее белье. Не заметив слежки, Хьюберт проследовал к себе в комнату и заперся изнутри. Тем временем старая дева, не-

обыкновенно подвижная для своих лет, молнией метнулась вниз и застыла на пороге столовой.

На толстом меховом коврике были расставлены в ряд четыре массивных стула старинной работы. На спинке ближнего к двери стула висела темная блузка и белел лифчик, а возле дальнего стула стояла парализованная страхом и яростью Сюзи Карина. На ней была юбка, соответствующая блузе. В комнате было темно, но картина эта навсегда отпечаталась в памяти обеих женщин. Опомнившись, Сюзи шагнула назад и растворилась во мраке. Ничтоже сумняшеся тетушка подошла к каморке дворецкого — именно там скрылась Сюзи, — захлопнула дверь и задвинула тяжелый засов. Затем она стремительно прошла в кухню и заперла каморку дворецкого с другой стороны. И все это время в доме стояла мертвая тишина, нарушаемая только лязганьем засовов. Никто не произнес ни слова.

Тетушка обошла нижний этаж, убедившись, что все ходы и выходы надежно заперты, за исключением окна в буфетной, широко распахнутого в прекрасный ночной мир, вернулась в столовую, двумя пальцами взяла блузку и лифчик и отнесла их, держа на вытянутой руке, в комнату прислуги. Там она решительно и быстро упаковала все вещи Сюзи, достала из встроенного сейфа двухнедельное жалованье служанки, засунула деньги в один из двух чемоданов и затянула все ремни, после чего отнесла чемоданы в кухню, положила их на мусорное ведро и отправилась спать.

Она плохо знала женщин, зато хорошо знала Хьюберта и понимала, что в любом затруднительном, даже скандальном положении, он будет слепо исполнять то, что ему скажут, причем командовать им будет не Сюзи. Никто никогда не узнает, как скоро

дошла эта истина до Сюзи, но она дошла, это факт, так как на следующее утро тетушка спустилась в кухню и уже не увидела чемоданов девушки.

Хьюберт спал сном праведника. Тетушка приготовила завтрак и властным голосом приказала ему спуститься. Когда он вошел, зевая и потягиваясь, она велела ему поставить стулья на место. Хьюберт оглядел кухню, увидел тетушку, самолично ставящую на стол поднос, и побелел. Он, конечно же, вернул стулья на место, сел на один из них и принялся за завтрак.

Впрямую об этом эпизоде в доме никогда не говорили. Был, правда, один случай, когда (два дня спустя после изгнания Сюзи) Хьюберт, отобедав, наигранно-небрежной походкой актера из любительского драмкружка направился в прихожую и взял в руки шляпу. Тогда тетушка сообщила ему:

— Отныне за каждым твоим шагом будет следить частный детектив. Отчеты будут направляться мистеру Силверстейну.

Надо заметить, что мистер Силверстейн, юрист, занимавшийся в основном завещаниями и управлением наследствами, был старшим компаньоном в рекламном агентстве, куда Хьюберт совсем недавно устроился на работу.

Потому-то Хьюберт замер. Несмотря на маленькое жалованье, он жил в прекрасном и уважаемом доме. Расходов у него почти не было, тогда как под рукой было все, чего душа пожелает. О том, чтобы добиться всего этого самостоятельно, смешно было и думать. Короче говоря, Хьюберт повесил шляпу на место и безмолвно поднялся наверх. В обычный час и он, и его тетушка заснули в своих кроватях.

Нельзя не признать, что до сих пор все действия

тетушки были продиктованы исключительно заботой о племяннике. В таком маленьком городе, где каждой собаке становится известно все, невозможно сделать карьеру, путаясь с такой женщиной, как Сюзи Карина, даже если оформить отношения с ней законным образом. Против Хьюберта мгновенно возникло бы сильнейшее предубеждение. О том, чтобы наказать племянника, тетушка вовсе не помышляла. Мало того, она по-своему даже зауважала Хьюберта — естественно, не за его поступок, а за то, как ловко он сумел обвести ее вокруг пальца. Она всегда восхищалась мастерской работой, в чем бы та ни состояла. Скажем, творчество Фрица Крейслера* она ценила не столько за качество музыки, сколько за ловкость пальцев исполнителя. Ничуть не меньше она восторгалась мастерством жонглеров в цирке. Когда-то ей довелось приобрести набор из восьми нефритовых шариков разного размера, покрытых странными письменами, которые, наверное, пытливому исследователю открыли бы немало захватывающих историй. Но тетушке не было дела до символики этих шаров, до их происхождения, до их прежних владельцев. Ее привлекала исключительно искусная ювелирная работа. Потому она и была готова простить племяннику его грех. Впрочем, награждать его за мастерски выполненный проступок у нее тоже не было желания. И возмещать ему потерю она тоже не собиралась.

Новая служанка, которую звали миссис Карстерс, никоим образом не могла служить заменой Сюзи.

---

* Фриц Крейслер (1875—1962) — австрийский композитор и прославленный скрипач.

Это была вечно измученная дама, при приближении к ней у мужчин становилось кисло во рту.

Все произошло во вторую ночь пребывания миссис Карстерс в доме.

Снова глубокая ночь, снова лишь неверный лунный свет, льющийся в окна, освещает место действия.

Проснулась тетушка совершенно неожиданно; так просыпаются от какого-то звука, который к моменту пробуждения уже умолк, и в ушах отдается только эхо, но слишком частый пульс неопровержимо свидетельствует о том, что повод для волнения действительно был.

Итак, тетушка проснулась, села на кровать и затаила дыхание, несмотря на бешеное сердцебиение.

Услышала она сдавленный, приглушенный хохот, едва различимый; откуда он доносился, определить было невозможно.

Тетушка встала и опять затаила дыхание.

Теперь до нее донесся смачный звук поцелуя.

На цыпочках она подбежала к двери, выходившей на лестницу, и прислушалась.

По всей видимости, ее пробудил и пригнал к двери фантом. Ровным счетом ничего слышно не было. Ничего. Ни слова, ни вздоха.

Она снесла бы любую обиду, но не эту. Она ни за что бы не согласилась стоять и тупо ждать следующего звука, следующего вздоха. Ждать и задаваться вопросом, где они... Кто они... Кто? Миссис Карстерс...

Тетушка ринулась в бой.

Ее правая нога наткнулась на что-то уже на самой верхней ступеньке. Она вылетела из комнаты молнией, и вот уже парит в воздухе над лестницей, а внизу — нижние ступени... Что-то черное, прямоугольное —

мимо... И — удар в поясницу, по локтям. Боли не было, не было, не было, сначала боли не было, а потом...

Было уже темно, потому-то у нее не потемнело в глазах, просто темнота перешла в черноту. Но в последнюю секунду, пока черный покров еще не совсем накрыл ее, она вроде бы увидела, как из столовой показалась человеческая фигура, подхватила черный прямоугольник, возможно, набитый чем-то толстый чемоданчик, и скрылась. Потом была еще вспышка, позволившая тетушке разглядеть (сквозь дикую боль в локтях) миссис Карстерс, вышедшую в холл. А потом — чернота.

Одиннадцать лет.

Она думает об этом одиннадцать лет. За одиннадцать лет многое можно передумать. Лежа в постели, очень многое можно передумать. Трудно вообразить, сколько может передумать человек, прикованный к постели в течение одиннадцати лет.

Знать, что никогда больше не придется кататься на коньках, предпринимать пешие прогулки — и не сойти с ума? Ей это удалось. Танцевать? Танцами она никогда не занималась, недостойное это дело.

Так что же произошло в ту ночь? То самое, что отпечаталось в ее памяти? Она не могла с уверенностью сказать. И она уже никогда не узнает наверняка. И миссис Карстерс, и Хьюберт утверждали, что слышали только звук падения. Они вызвали врачей и полицию, в доме шныряло много народа, и никто уже не был в состоянии определить, какие двери были заперты и было ли закрыто окно в буфетной. Очень, очень осторожно она рассказала о доносившемся снизу смехе и о звуках поцелуев, а потом о черном

прямоугольнике под ногами, и ее выслушали, но так, что она сочла за благо больше не упоминать об этом.

Она могла бы вернуться к этому вопросу десять лет спустя, когда миссис Карстерс, охромевшая за эти годы и сделавшаяся неповоротливой, прибиралась в буфетной и наткнулась на старый пылесос, забытый под мраморным столом. Трубки у него не было, щетки — тем более, но колесики сохранились. Именно такой пылесос мог притаиться на темной лестнице, ожидая, что на него наступят. Но тетушке пылесос не показали, и миссис Карстерс не стала упоминать о своей находке. Да и зачем? Пылесос ни на что не годился, и на крышке у него была вмятина, как будто на него когда-то наступили. Целый день он — похожий на небольшой чемоданчик — лежал возле мусорного бака, ожидая своей участи.

Ну да, была Сюзи Карина. Кстати, а что с ней стало? Она, оказывается, нашла очередное ничтожество по фамилии Смит или вроде того; у его отца была фирма по продаже автомобилей, причем оборот был таков, что деньги сами делали деньги. А Смит-младший назывался продавцом. Она вышла за него замуж, и он ее искренне любил, о чем она, впрочем, не догадывалась до того самого дня, когда он застрелил ее, а она-то как раз намеревалась заключить еще более выгодное соглашение. В общем, ни Хьюберт, ни его тетушка могли о ней больше не думать. По правде говоря, они и до того нечасто о ней вспоминали. Гораздо больше они думали друг о друге. Смерть Сюзи попросту внесла ясность.

Прикованная к постели тетушка окончательно поработила племянника. Он — или же его возлюбленная, что, в конечном счете, не меняет дела — совершил на нее покушение, и она привязала его к себе

деловыми отношениями, банковскими счетами, чувством вины, угрозой судебного преследования за тяжкие телесные повреждения. И Хьюберт, робкий, бессловесный, беспомощный Хьюберт остался. Единственная перемена в его беспечальной жизни состояла в том, что он оставил свое незначительное место в рекламном агентстве (на котором он, вероятнее всего, просидел бы остаток жизни) и занял еще более незначительное положение на телевидении, где его ждала перспектива подняться до того уровня, на котором он подвизался в рекламном бизнесе, и провести остаток жизни там.

А о чем думал Хьюберт? Вполне вероятно, что он вообще не думал; он был к этому не очень приспособлен. Но чувствовать он умел, и его тетушка позаботилась о том, чтобы он кое-что чувствовал. Она язвила его и шпыняла, сажала его там, где ей хотелось, и гоняла почем зря. У нее появилась привычка звать его к себе и не разговаривать с ним, а таращиться на светящийся экран своего обожаемого телевизора, а он переминался с ноги на ногу, и тогда она говорила ему, чтобы он не шумел. Еще она читала ему вслух — пособия по ремонту машин, статьи о птичьем корме из специализированных журналов, судебную хронику, заметки об убийствах, а он молча сидел и слушал, и мысли его витали где-то далеко, и лишь иногда на его широком улыбчивом лице появлялась недовольная гримаса. А еще тетушка любила говорить ему: «Милый Хьюберт, ты не представляешь себе, как легко человеку умереть. Вспомни хоть нашего доктора Магина, он такой веселый был, жизнерадостный, а вот поранил пятку и умер через неделю. Но, Хьюберт, в первую мировую я видела обрубки людей, без ног, без рук, слепых, глухих и не-

мых, а они все-таки не умирали! И прикованный к постели полутруп, Хьюберт, может очень долго прожить. Не опускай руки, Хьюберт, работай, займи чем-нибудь свой ум. Знай, что лучшее ждет тебя впереди, и тогда будешь жить вечно. Кстати, пересядь сюда, Хьюберт». И Хьюберт покорно пересаживался на указанное место только потому, что тетушке было угодно пересадить его. Ну да, она ненавидела его. Ну да, ей хотелось его убить, и она его убивала. Она ела его поедом и выжидала. Она твердо вознамерилась пережить его, вознамерилась прожить долго, долго, выпив из Хьюберта все соки. «Уложи меня, Хьюберт, уложи свою старую тетку. Опусти жалюзи. Открой окно». А когда он артачился, тетушка говорила ему: «Плати за кров, Хьюберт». Денег он тетке никогда не платил; он хорошо понимал, что означали ее слова. Зарабатывай, делай, как сказано, будь паинькой. Плати за кров. И он платил: каждый вечер разворачивал телевизор экраном к кровати, опускал жалюзи, задергивал шторы, открывал и закрывал окна, проверял работу отопления.

Он мало что понимал в технике, и тетушка все ему объясняла. Он докладывал ей, какие секции батареи парового отопления горячие, и она говорила, на какую величину нужно поставить термостат в подвале. По характеру помех на телеэкране она видела, обязаны эти помехи своим появлением включенному утюгу миссис Карстерс или работающему у соседей грилю. Она учила Хьюберта вязать, приговаривая: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Конечно же, он вечно путался, и тетушка молча наблюдала за его мучениями. Она изобретала разнообразные приспособления и заставляла Хьюберта мастерить их. По указанию тетушки Хьюберт перебросил через пото-

лочную балку толстую веревку с латунной ручкой; держась за нее, тетушка доставала до подоконника и поворачивала телевизор, если Хьюберта не было дома. Уже было сказано о том, как долго Хьюберт возился с кормушкой для птиц. А еще он сделал шкафчик, стоявший у изголовья тетушкиной кровати, и провел звонки, при помощи которых она могла призвать его, а также миссис Карстерс, к себе. Он оборудовал в комнате небольшой верстак. Тетушкиной изобретательности не было конца. В частности, Хьюберт соорудил пульт дистанционного управления для телевизора; в те времена такие пульты еще были редкостью.

Тетушка всегда жила деятельной жизнью. Пусть кое-чего она так и не смогла понять, зато она всегда активно трудилась. В юности она работала на механическом заводе. Она была миниатюрной девочкой в те времена, и у нее одной во всем городе были такие крохотные ручки, что она могла завинчивать гайки внутри карбюратора. Она была первой женщиной, вступившей в Бархарборский яхт-клуб, и регулярно одерживала победы в регатах. Довелось ей побывать и судебным репортером. Получив диплом юриста, она работала секретарем в суде, то есть вела все дела вместо высоколобых судей. Упорным трудом она скопила приличную сумму, грамотно ее поместила и получила значительный доход. А с некоторых пор вся ее недюжинная жизненная сила была направлена на Хьюберта. Жизнь ее неизменно оставалась насыщенной.

И тогда Хьюберт вновь задумал ее убить. Она заметила это сразу и затаилась, стараясь вычислить, что у него на уме. Когда она была в ванной, он крался в ее комнату, делал там что-то и бесшумно удалялся.

Вскоре тетушка выяснила, в чем дело. Он ослаблял винты на задней панели телевизора.

Он действовал осторожно, день за днем. Ясно было, что объектом его внимания стали четыре верхних винта и три нижних. Она ничего ему не говорила. А он вел себя совершенно как обычно — сидел около нее, слушал, когда она читала вслух, смешил ее... А потом, когда она катила в ванную комнату в инвалидном кресле, невероятно тяжелом и потому ненавистном, он пробирался в комнату (она останавливалась на полпути и исподтишка наблюдала) и чутьчуть ослаблял винты.

Одного ее слова было бы достаточно, чтобы он прекратил, но ей было интересно наблюдать. Тайная работа продолжалась пять дней, а на шестой день, когда Хьюберт ушел на работу, тетушка устроилась перед телевизором, как она делала каждое утро, и обнаружила, что телевизор сломался. При помощи веревки с латунной ручкой она добралась до столика с колесами, на котором стоял телевизор, и развернула его. Вытащив три откpученных винта, она отогнула заднюю панель и заглянула внутрь. Внутри не было нескольких ламп.

Тетушка легла на спину и задумалась. Что это? Заботливый племянник старается ограничить неуемный интерес тетушки к внешнему миру? Или это мелкая мальчишеская пакость? Нет, она-то знала своего Хьюберта. Даже он не так глуп, чтобы проделывать подобные штуки из чистого озорства. Что ж, он заплатит за это! Годы и годы придется ему расплачиваться.

Нет, что-то он задумал, вот только ловкости ему как всегда не хватило. Но все-таки с ним нужно держать ухо востро.

— Хьюберт, — сказала она ему вечером, призвав его к себе (за свой стол она его не допускала), — у меня барахлит телевизор.

Он не стал разыгрывать удивление, он вообще не стал ничего разыгрывать, только ответил заранее заготовленной фразой:

— Хорошо, я отнесу его вниз, и завтра его отремонтируют.

Все это было сказано ровным, невыразительным голосом. А потом он сел там, где ему было указано. Тетушка побеседовала с ним, почитала ему. Но что-то в этот вечер было не как всегда. Он чувствовал, что по крайней мере половину времени она помнит о его присутствии.

Наутро он, кряхтя, оттащил вниз телевизор, а во второй половине дня вновь объявился в тетушкиных покоях в обществе незнакомого мулата. Они внесли в комнату телевизор, большой серый телевизор с широким экраном, современной модели.

— Это что за чудовище? — вскричала тетка.

— Тот телевизор безнадежно испорчен, — заявил Хьюберт. — Так мне сказал этот человек. Так что я купил новый.

— Но это же кошмар!

— Я уже купил его, — веско произнес Хьюберт.

Тетушка фыркнула, но затем объяснила племяннику, как подключить провод и как включить штепсель в розетку. К новому телевизору прилагался очень удобный пульт дистанционного управления, позволявший не только регулировать громкость звука, но и переключать программы. Когда телевизор заработал, старуха несколько успокоилась. Но, ради всего святого, что означает эта странная игра?

Она все поняла на следующий день, когда явилась миссис Карстерс со своим вечным артритом и с очередной порцией почты. Поблагодарив служанку, хозяйка принялась разбирать рекламные проспекты, счета и журналы, и среди последних обнаружился один, которому следовало бы прийти раньше. Это был журнал для потребителей, из тех, что выдают оценки товарам, имеющимся на рынке. Старая дама никогда не пропускала ни одной печатной строчки; журнал был оплачен, так не выбрасывать же деньги на ветер!

Почему же этот журнал опоздал? И почему с конверта сорвана небольшая полукруглая печать?

Хьюберт? Неужели он взял журнал, держал его какое-то время у себя, а потом опустил в почтовый ящик, уходя на работу? Для чего?

Она принялась листать журнал. Мыло, усовершенствованные консервные ножи, настольные телевизоры, итальянские и французские автомобили... Настольный телевизор! Вот ключ к разгадке! Приобретая телевизор, он хотел познакомиться с мнением экспертов.

Вот нужная страница. Так, этот самый телевизор, даже картинка есть. Рекомендации? Самые отрицательные. Крайне, однозначно отрицательные. И цифровой код тот же самый — тетушка не поленилась убедиться в этом и подползла к телевизору, вцепившись сильной рукой в латунную ручку. Совпадают все двенадцать цифр. Эта модель, не будучи правильно заземленной, уже послужила причиной смерти одного мужчины и одного ребенка.

Некоторое время старая леди тупо переводила взгляд с журнальной страницы на телевизор и обрат-

но, а потом вдруг радостно воскликнула, отшвырнув журнал подальше:

— О, так вот оно что!

Добрый мальчик Хьюберт долго лелеял ненависть в том дальнем уголке сердца, где полагалось бы быть сладкому кефиру. И вот до чего он додумался! Он знал, что между ней и телевизором существует незримая, но прочная связь, и вдруг в один прекрасный день — четыре месяца назад? или пять? — он услышал в новостях про опасную модель. Ох, как он, должно быть, носился со своей идеей! Сколько же прошло времени, прежде чем она у него оформилась? Долго, наверное, он напрягал мозги, пока не выдумал такое утонченное зверство: испортить ее старый телевизор и заявить, что починить его невозможно. Ох, малыш, ох, мой башковитый малыш, думала тетушка, постарался ты на славу.

В тот вечер впервые за долгие годы безжизненное лицо Хьюберта как бы осветилось, как будто под его кожей потекла свежая кровь. Тетушка была к нему добра. Несомненно, она измывалась над ним, но она была добра к нему.

Наутро, когда миссис Карстерс покинула комнату после обязательной уборки, тетушка Хьюберта порылась на своем верстаке и отыскала маленькую электрическую лампочку и два проводка около фута длиной. Она соединила проводки и проверила, действует ли лампочка. Потом, хихикая, несмотря на острую боль, которой всегда сопровождались физические усилия, она забралась в кресло-каталку, подъехала к углу комнаты и присоединила один конец провода к трубе батареи, а другой — к металлическому боку нового телевизора.

Ничего не произошло.

При помощи пульта дистанционного управления тетушка включила телевизор и опять соединила его с батареей.

Но лампа не загоралась. Телевизор был в порядке.

Бедный Хьюберт. Незадачливый Хьюберт.

Несколько секунд она, невзирая на боль, полулежала в своем кресле и тихо качала головой, исполненная жалости к племяннику. Выбрать телевизор, способный нести смерть, поставить его у ее кровати... И обсасывать в своем хилом мозгу одну-единственную жалкую мысль: «Может, она как-нибудь...»

Ох, как ему не повезло! Неужто он не знает, что убивает только разряд, пронизывающий все тело? Вот если встать босыми ногами в лужу, желательно на железную крышку люка, и засунуть нос в электрогенератор, тогда, может быть... Или взяться за водопроводный кран и сунуть мокрый палец другой руки в розетку... В этом случае еще можно на что-то рассчитывать. Но Хьюберт, по-видимому, разделял заблуждение большинства насчет того, что убить может и ток, прошедший через палец. Или же он вовсе положился на волю случая.

Забравшись опять в постель и как следует отдохнув от тяжких трудов, она вновь с жалостью и нежностью подумала о Хьюберте. Он так старался... Не говоря уже о том, что ему пришлось таскать телевизоры по лестнице вверх и вниз.

По-своему мысль была не так уж плоха. Только следовало знать, как действовать.

Она весь день лежала и думала о племяннике и его поступке. Когда она приняла окончательное решение, то почувствовала, что стрелки часов ползут не-

простительно медленно. О, как ей хотелось, чтобы он сию секунду был рядом! Вселенная заиграла перед ней яркими красками, а она-то и не подозревала, каким серым было до тех пор ее существование. Но теперь мрак рассеялся, и перед ней возник самый замечательный, самый роскошный план, который ей предстояло осуществить.

Нужно помочь Хьюберту.

Он сам не справится. Его нужно подготовить, все рассчитать за него, все организовать. Более того, он должен думать, что действует без посторонней помощи. Раз он взял на себя такой труд, значит, ему очень хочется достичь цели. Но он не получит должного удовлетворения, если не будет уверен в том, что сделал все от начала до конца собственными руками.

Когда он вечером поднялся к ней, она говорила с ним нарочито резко и грубо, чтобы он ничего не заподозрил. А потом она приступила к делу.

— Хьюберт! — сказала она тоном, который означал: «Тебе пора поработать».

Хьюберт неохотно поднялся.

— Кольцо! — Она указала на подвешенное к потолку кожаное кольцо, через которое была пропущена веревка. — Веревка чересчур натягивается.

Хьюберт посмотрел.

— Выглядит нормально.

— Ну да, тебе же не приходится этим пользоваться. В общем, повесь сюда что-нибудь, что не тянется.

Хьюберт наморщил лоб. Тетушка решила, что он похож на беззубого, силящегося справиться с хорошо прожаренным бифштексом.

— Цепочка, — наконец произнес он.

Она заворчала. Цепочка будет греметь. Проволока когда-нибудь да порвется. И в конце концов она искусно подвела Хьюберта к мысли о медном шнуре, который надо будет чем-нибудь оплести. Это красиво и удобно. Подобно Сократу, она задавала племяннику множество наводящих вопросов, пока не натолкнула его на идею двух прочных колец, прикрепленных к потолку, одно над кроватью, другое в углу. Медный провод должен был быть натянут между ними и прикреплен к чему-нибудь прочному. Хьюберт прилежно записал все, что нужно купить, и провел незабываемую ночь в предвкушении следующего дня. Работа, однако, растянулась на трое суток, но все-таки была закончена. А тетушка тешила себя сладкой и притом верной мыслью, что ее племянничек пока не догадывается, насколько хорошо медный провод вписывается в «его» смелый план. Она представляла себе в красках, какая у него будет улыбка, когда его наконец озарит. Как он будет горд собой, какие надежды заиграют перед ним! Вот это, думала она, и есть настоящая жизнь. Разве могла бы женщина (тетушка нередко в мыслях сравнивала себя с просто «женщинами»), способная, как считается, на всяческие хитроумные уловки, методично, шаг за шагом, нет, дюйм за дюймом провести овечку мужского пола по проложенной ею самой тропе, чтобы он при этом думал, что идет сам, без всякого поводыря?

Много лет ей не доводилось испытывать такого подъема. Она чувствовала себя блестяще. Ей было хорошо. Так хорошо, что она позволила себе двухдневный отдых. Она просто лежала на спине и с наслаждением обдумывала следующий шаг, который

предпримет всемогущий мужчина — повелитель своей судьбы.

— О-о... Хьюберт.

Произнесенное с нисходящей интонацией, это приветствие означало разочарование, оно было равнозначно восклицанию: «Как ты мог!»

— М-м? Что такое?

Торопливо и взволнованно.

Тетушка протянула ему журнал для потребителей.

— Расскажи мне ради Бога, с какой стати из всех телевизоров ты выбрал для меня именно этот?

Хьюберт облизнул и без того влажные губы.

— По-моему, он неплохой.

— Сюда! — рявкнула тетушка. Даже не «подойди сюда». Хьюберт покорно затрусил к ней. — Ты что, *намерен меня убить*?

Он открыл рот, постоял так, закрыл его и опустил руки по швам. Наконец ему удалось выговорить:

— Видите ли, он достался мне с большой скидкой.

Тетушка прочла ему вслух текст, где говорилось о несчастных случаях.

— Не сомневаюсь, что ты сэкономил, — добавила она язвительно. — С какой скидкой?

— Сто двадцать долларов.

Она презрительно фыркнула и внутренне расхохоталась. Чудо!

Она сменила тему. Сказала, что кожаный ремешок на латунной ручке причиняет боль, и заставила Хьюберта отыскать на верстаке нож и срезать ремешок. А пока он возился, она читала вслух о том, что во всех остальных отношениях данная модель телевизора нареканий не вызывает. Судя по ее интона-

ции, она уже простила племянника. Во всяком случае, она включила телевизор, и они с Хьюбертом вместе посмотрели детективный фильм. Точнее, посмотрел он. Тетушка не сводила глаз с него. В тот момент, когда на экране убийца вершил свое черное дело — а жертвой была, кстати сказать, старушка, — тетушка заметила в тусклых глазках племянника слабый блеск; она могла бы поклясться, что ей это не почудилось. Он даже прервал работу над кожаным ремешком, присел и стал смотреть внимательно. Тетушка не сделала ему замечания, и он завершил работу лишь после окончания фильма. Ах, милый мой мальчик, едва ли не с умилением думала она, впервые в жизни ты поглощен делом. Ведь все мысли у тебя только об одном.

Она выключила звук (но телевизор выключать не стала), решив, что Хьюберту незачем смотреть вестерн, который шел сразу за детективом, и укоризненно сказала:

— Ты мог меня убить.

— Что-то может случиться только в том случае, если телевизор будет не в порядке, — уверенно возразил он. — А этот работает нормально, можете не сомневаться.

— Пусть так, — согласилась тетушка. — А теперь посмотри сюда. — Она указала на латунную ручку над кроватью. — Я теперь заземлена.

Он недоуменно вздернул брови.

— Радиатор! — крикнула старуха. — Зачем тебе понадобилось крепить медный провод к радиатору?

Хьюберт осмотрел шнур по всей длине, от латунной ручки до радиатора, расположенного в углу комнаты как раз за телевизором, и пожал плечами, все еще ничего не понимая.

— Вы же сами велели прикрепить его к чему-нибудь прочному.

Она-то сама и сказала, что провод нужно прикрепить к радиатору, но в ее планы не входило, чтобы он это вспомнил.

— Разве ты не видишь? — завопила она. — Если в телевизоре произойдет короткое замыкание, как там написано, а мне вдруг вздумается дотронуться до него, скажем, повернуть к себе. Видишь? Я буду держаться за ручку и одновременно коснусь телевизора! Ты способен хоть что-нибудь понять? — Она наблюдала за мутным взглядом Хьюберта, направленным на нее, на медный провод, на телевизор, опять на нее. Именно в эти минуты свершалось давно предвкушаемое ею озарение. — Да, да, вот что я имею в виду, идиотская твоя башка! — Она ухватилась за ручку и потянулась к телевизору. — Видишь? — Она резко повернула телевизор. — Теперь ты видишь?

Лицо Хьюберта озарилось. Тетушке вдруг захотелось погасить это радостное возбуждение, так внезапно охватившее его. Она холодно произнесла:

— Ладно, по крайней мере я убедилась, что пока опасности нет.

Она прикрыла глаза, но продолжала наблюдать за ним из-под полуопущенных век. Сначала ей показалось, что он вот-вот закричит, а потом он уныло опустился на стул и уставился на телевизор. Она читала его мысли так ясно, как будто по его спине шла бегущая строка. Она видела: он думает о том, как близка желанная цель и как он не сумел выбрать по-настоящему опасный подарок для тетушки. А потом пошли старые добрые мысли: задушить ее подушкой (но миссис Карстерс постоянно торчит внизу...),

принести ей стакан горячего молока с... Но он не носит ей молоко, да если и принесет, она к нему не притронется.

А может, все эти мысли существовали только в ее воображении, а сам он вообще ни о чем не думал? Хотя думать он способен, в этом тетушка не сомневалась. Ха! Скоро, очень скоро она стимулирует работу его мозга. Поглаживая латунную ручку, она пробормотала как бы самой себе:

— Если ты задумал убийство, то был почти у цели.

Она видела, как округлились его глаза, как по-детски выпятилась нижняя губа, и она почти слышала, как он повторяет про себя: «Боже мой, она знает. Она все знает».

Ее охватило нетерпение. Ей удалось его напугать — вот и отлично. Страх заставит его шевелиться. Теперь надо бы его еще подстегнуть.

Она сказала:

— Завтра надо будет убрать этот медный шнур и натянуть что-нибудь другое. Так слишком опасно.

Он опустил глаза и посмотрел на свои руки. Что же он думает? Вот что: «Другого такого шанса у меня не будет».

Ох, до чего же он несчастный! Ну разве хоть у одной женщины на свете есть такая милая игрушка? Сейчас внушим ему надежду.

Она стукнула кулаком по журналу, и Хьюберт подскочил на стуле.

— Этого нельзя допустить!

Хьюберт охнул.

— Фабрика забрала назад все ящики из той плохой партии. Все, какие удалось разыскать.

— Да нет, не то. — Тетушка опять стукнула по

журналу. — Тут же все, и фотография, и чертеж. Здесь даже говорится, какой болт там был затянут чересчур туго! Это же инструкция! Любой тупица сможет превратить хороший аппарат в орудие убийства, прочитав эту заметку. Этого нельзя допустить! — Она швырнула журнал к ногам Хьюберта, и он опять подпрыгнул на стуле. — Вырежи отсюда эту дрянь!

От ее зорких глаз не укрылось, что руки Хьюберта дрожали, когда он поднимал журнал. Он разгладил страницу, и тетушке показалось, что он ласкает заметку. (О Хьюберт, ты бесподобен. Жаль, что ты сам этого не подозреваешь!)

— Хорошо, тетя.

Он скатал журнал в трубку, поднялся и засунул его в задний карман.

— Уложи-ка свою старую тетку.

— Хорошо.

Он рассеянно выполнил свои ежедневные обязанности: шторы, жалюзи, отопление, телевизор, одеяло, свет. Она обрадовалась, когда он погасил наконец свет: ей тяжело было постоянно прятать усмешку.

И что же у него теперь на уме? О, она знала, знала наверняка, потому что...

— Хьюберт!

Конечно же, она знала, потому что, когда он опять показался в дверях, журнал уже был у него в руке, хотя все еще свернутый. Ох, как его гложет нетерпение! Стоило потрудиться, чтобы увидеть такого Хьюберта — энергичного, решительного, готового идти до конца... и напряженно размышляющего о том, каким образом пробраться сюда и завернуть покрепче тот единственный смертоносный болт.

— Хьюберт!

— Да, тетя?

— Утром скажи миссис Карстерс, чтобы она поставила нагреватель воды на максимум сразу после завтрака. Я хочу понежиться в горячей ванне. Думаю, я пролежу целый час.

Он ответил что-то, но вместо слов у него вырвался только сдавленный хрип.

— Что, Хьюберт?

— Хорошо, тетя. Я все скажу.

И он вышел из комнаты.

Она нежилась в ванне не час, а значительно дольше. Чуть не заснула, отчасти из-за того, что большую часть ночи провела без сна, беспрестанно улыбаясь и заключая с собой разные пари. Имея перед глазами четкую фотографию и ясные разъяснения, найдет ли безрукий Хьюберт нужный болт? В нужную ли сторону он его повернет? Не станет ли выжидать так долго, что у него не останется времени? Тетушка сначала не учла, что по субботам миссис Карстерс проводит генеральную уборку, а она, разумеется, взялась мыть и подметать именно в то время, когда ее хозяйка в ванной. Старая дама лежала в ванне и представляла себе Хьюберта, затаившегося у себя в комнате над вожделенной страницей и прислушивающегося к шарканью страдающей артритом прислуги в теткиной комнате наверху. Глаза его горят, губы шевелятся. Убийца.

Хьюберт, ох, Хьюберт. Дражайший Хьюберт. Может, этот дурачок так и не притронется к телевизору?

Миссис Карстерс наконец ушла. Наступила тишина. Тетушка задремала.

До нее донесся громкий звук. Она мгновенно

проснулась и зажала мыльной ладонью рот, чтобы удержаться от громкого смеха, который буквально рвался из горла. Ее возлюбленный, решительный, энергичный, напуганный до чертиков Хьюберт, безмозглый, безрукий Хьюберт уронил отвертку! Тетушка корчилась от беззвучного смеха, представляя себе его, парализованного ужасом, белого, как мел.

И опять тишина. Новая порция горячей воды, и опять подступила дремота. Когда она пришла в себя, то с удивлением увидела, что подушечки пальцев совершенно сморщились от горячей воды. Начался трудоемкий процесс слива воды, вытирания, одевания, втискивания бесполезной части тела в проклятую коляску... Она тянула время, как могла, и не напрасно. Когда она въехала в комнату, Хьюберта там уже не было.

Устроившись в кровати, она взяла пульт дистанционного управления, чтобы, как всегда, посмотреть субботний выпуск новостей. И вспомнила. А потом подумала: почему бы и нет? Рассмеявшись, она включила телевизор.

Солнца не было. Птиц не было. Хьюберта не было (она хихикнула), он бегал по магазинам, чтобы купить все необходимое для оборудования ручки, у него как-никак имелся заказ. (Вот же придурок! Неужели он думает, что сможет обойтись без меня? О, разве же он не единственный и неповторимый? Да просто шкодливый мальчишка!)

Замечательно было смотреть телевизор — все подряд, даже рекламу. Остаток дня тетушка провела в превосходном расположении духа.

Наконец он явился. Она не сказала ему ни слова, ей было страшно интересно, что скажет он, если дать

ему заговорить первому. До его прихода она долгое время предавалась философским размышлениям об убийстве и убийцах. В какой момент человек становится убийцей? С юридической точки зрения — в момент смерти жертвы, неважно, умерла она мгновенно или спустя сорок лет после преступного акта. Но так ли это? Когда курок спущен, пуля уже летит, и нет никакой возможности ее остановить, разве стрелявший не является уже убийцей? Взять хотя бы Хьюберта. Хьюберт уже спустил курок. Его тетка давно могла умереть. Кстати говоря, она все время лежала неподвижно и наблюдала за вороватой белкой, чтобы избежать соблазна ухватиться за ручку.

А Хьюберт бродит по магазинам и думает, не встретит ли его возле дома вой сирены скорой помощи. Она нарочно не стала его звать, и он до вечера валандался внизу, без сомнения, набираясь храбрости, чтобы подняться и обнаружить... Что же он надеялся обнаружить в ее комнате? Разумеется, ему бы не хотелось первым найти бездыханное тело. Она даже услышала его невысказанную жалобу: неужели после всего, что он сделал, ему необходимо пройти еще и через *это*?

У нее возникло желание сползти на коврик между кроватью и телевизором и расхохотаться ему в лицо, когда он склонится над ней, но, подумав хорошенько, она решила не рисковать. Инстинкт самосохранения подсказал ей, что за такую штуку она примет не легкую, а мучительную смерть, каким бы ягненком ни был Хьюберт. Она предпочла лежать по возможности неподвижно, как... скажем, как тряпка. Так она и лежала, пока он не склонился над кроватью и негромко проговорил:

— Тетя!

Она приоткрыла глаза, и он отступил на два шага, явно не зная, куда девать руки. А она все ждала, ждала, что же он скажет, и он сказал (неуклюжий, безмозглый кретин!):

— Вы сегодня смотрели телевизор?

Она засмеялась и приподнялась на локте.

— Да, почти весь день. Получила массу удовольствия.

— Хорошо, я... Наверное, я пойду спать.

Она наклонила голову набок.

— Тяжелый день, да, Хьюберт?

Она улыбнулась, и лицо его изменилось. Тетушка уже знала, что в это мгновение в мозгу его пульсирует отчаянная мысль: «Она знает! Она знает!»

— Хорошо, Хьюберт, только сначала уложи свою старую тетку.

Как? Он заколебался? Или ее обманывают глаза? Он как будто бы хотел повернуться и уйти! Или поворот головы означал, что он вспомнил о присутствии в доме служанки, обладающей цепкой памятью. На допросе она не должна вспомнить, что между теткой и племянником случилась ссора.

— Хорошо, тетя.

— Я, пожалуй, посмотрю ночное шоу, — сказала она. — Я немного вздремнула днем.

— Да, ночное шоу, — эхом отозвался Хьюберт.

Окно, жалюзи, шторы. Проходя мимо телевизора, развернутого к кровати, он задел его, и экран отвернулся к двери.

Тетушка одобрительно кивнула. Он сделал это так же естественно, как сделала бы она сама.

— Пожалуйста, включи телевизор, — попросила она.

— Хорошо, — ответил он, но вместо этого подошел к кровати и поправил одеяло.

Лицо его светилось, и старая дама заметила, что в тех местах, где Хьюберт прикоснулся к пододеяльнику, остались темные влажные пятна.

Она засмеялась.

В первый и в последний раз в жизни она услышала, как племянник обратился к ней в повелительном тоне:

— Не смейтесь.

Она повиновалась, но не сразу.

— Смешной ты, малыш. — И внезапно, холодным тоном: — Поверни ко мне телевизор.

Он стоял между теткой и экраном, спиной к нему.

— И так ведь все видно.

Его левая рука сжимала запястье правой. Она заметила, как колышутся его брюки: у него дрожат колени.

— Мы не хотим, чтобы миссис Карстерс услышала, как мы ссоримся, правда? — осторожно сказала она.

— Конечно, нет, — с жаром ответил Хьюберт.

Дикая сцена. Дивная. Поразительная. Вот это и есть жизнь.

— Хьюберт, поверни телевизор. — Она улыбнулась. — Он тебя не укусит. Он даже не включен.

Он облизал вечно мокрые губы. И руки у него мокрые, и все лицо. У него мокрые слезы, они сейчас выступят. Он прошептал — он не собирался шептать, но на большее в ту минуту он не был способен:

— Вы сами можете дотянуться.

— Хорошо, я сама, — неожиданно охотно согласилась она.

В ее голосе слышалась обреченная покорность.

— Доброй ночи.

Он произнес эти два слова так, словно высказал какую-то дельную мысль, и направился к двери.

— Хьюберт!

Он застыл как вкопанный, как будто она набросила ему на шею петлю. Он даже не повернулся. Он походил на автомобиль с работающим мотором, но стоящий на ручном тормозе. Сейчас он вырвется отсюда и с безумным криком помчится по лестнице.

— Пожалуйста, — мягко сказала она. (Пожалуйста? Хьюберту?) — Ты забыл проверить отопление. Окажи мне последнюю услугу, ладно?

Его плечи вздрогнули, и он повернулся к ней.

— Да-да, конечно, — вздохнул он, прошел в угол и наклонился к радиатору.

Наклонился, опираясь на металлический корпус телевизора.

Всего одно, едва заметное движение. Его тетушка нажала на кнопку включения.

Ничего похожего на жуткий вопль Хьюберта старая леди не слышала никогда в жизни. Этот вопль был похож на хриплое подавленное чиханье; он шел внутрь. Тетушка когда-то читала, что при сильном ударе током человек может проглотить язык и задохнуться. Именно это и происходило с Хьюбертом. Одна скрюченная рука его застыла на телевизоре, а вторая скрюченная рука — на радиаторе. Он рухнул, и по его ногам прошла судорога. Тетушка видела, как напряженные мышцы, словно мячики для гольфа, перекатываются под тканью брюк.

— А теперь убей меня, — проскрежетала старуха, но в этот момент телевизор нагрелся и заорал ей в уши.

Она поспешно приглушила звук.

После этого она долго сидела в постели и смотрела на ноги Хьюберта, торчащие из-за телевизора, на торчащие вверх носки его туфель. К ней с ужасающей ясностью пришло осознание того, что на такой исход она и рассчитывала. Она не помнила, чтобы сознательно задумывала убийство, но не сомневалась, что все было спланировано заранее. Она смотрела на ноги племянника и повторяла:

— А ты сломал мне позвоночник!

В общем, день удался. И ночь прошла отменно. Вот она, истинная жизнь. А какое удовольствие она получила, когда прибыла полиция! Уже к концу пятнадцатой секунды полицейским стало ясно, что имел место не совсем обычный «несчастный случай». Дознание вел молодой человек с умными морщинками под глазами; тихим голосом он быстро задавал вопросы, бьющие прямо в точку. Кто принес этот телевизор? Кто прикрепил провод к радиатору. Ах, раньше была веревка? Кто ее заменил медным проводом? Кто срезал с латунной ручки кожу?

Хьюберт. Хьюберт. Хьюберт.

Пришли какие-то люди, соскребли с пола вокруг телевизора серебристую пыль, сделали уйму фотоснимков. Чьи это отпечатки пальцев?

А самым смешным был тот мужик, который шумно выражал сожаление о случившемся, уверял тетушку, что эксперты устранили короткое замыкание, что телевизор сейчас совершенно безопасен, но лучше бы от него на всякий случай избавиться. Потом он долго мялся и промямлил наконец, что не советует ей возбуждать процесс против производителя телевизора; сейчас, мол, не время вдаваться в технические детали, но «я заверяю вас, что самое разумное с вашей

стороны — это последовать моему совету, в противном случае вы рискуете навлечь на свою голову... гм... неприятности». Короче говоря, прилагались всяческие усилия, дабы скрыть от пораженной горем пожилой дамы, что ее племянник попался в ловушку, расставленную им же для нее. Зачем огорчать старушку? Правда, если она вздумает затевать процесс, ей придется открыть для себя горькую правду. Она неподвижно и мирно лежала под одеялом, все о ней заботились, она слабым голосом говорила, что совершенно со всеми согласна, что она всем полностью доверяет. Вот это было здорово! Концерт продолжался до следующего вечера, когда миссис Карстерс вынесла из комнаты Хьюберта все вещи и принялась их разбирать. Ничего особенного она не нашла. Среди немногочисленных бумаг обнаружилась аккуратно сложенная страница из журнала для потребителей с материалом о телевизорах в металлическом корпусе. Над этим листком Хьюберт размышлял и выжидал, тем временем рисуя кружки и пририсовывая усы к физиономиям счастливых потребителей. Еще он написал там одну фразу, а под ней — два слова.

Всю жизнь Хьюберт оставался бессловесным существом, и в этой единственной немудрящей фразе выразил все свои смутные, несформулированные чувства. Он написал:

Без меня она всего лишь старая карга.

И внизу крупными буквами:

Старая карга

Его тетушка прочитала эту фразу и закрыла глаза, чтобы без помех обдумать это последнее послание. Когда она снова открыла глаза, то прежде всего посмотрела на свои руки, на костлявые, обтянутые

старческой кожей пальцы. Она сбросила на лицо седую прядь, чтобы взглянуть на нее, сквозь нее. Всю жизнь она была чем-то занята, вот и не успела никому понравиться, не успела стать любимой. У нее не было детства и старости не было, она была слишком занята.

А теперь все кончено. Дело Хьюберта было последним из занимавших ее дел. Много лет оно было единственным смыслом ее существования. А теперь его нет. Она проскрипела еще довольно долго, и все же конец Хьюберта стал и ее концом.

Барьер Луаны

Вшивая перспектива.

Впрочем, в такие полеты отправляются только добровольцы (то есть самоубийцы), и им не на кого пенять, кроме самих себя. О да, перед полетом тебя кормят на убой, и вино льется рекой, и все пьют за тебя и всех твоих предков и потомков впридачу. Зато когда полет начинается, тебе уже не до веселья. Человек умирает не тогда, когда пускает себе пулю в висок, а тогда, когда задумывает самоубийство.

Поттер вечно ковырял в носу и сам того не замечал, пусть даже он разговаривал с тобой и смотрел тебе в глаза. Ну как можно с таким человеком общаться? Меня, во всяком случае, бесила эта его манера. Прочим, по-моему, больше всего досаждал Донато. Как, спросите вы, Донато прошел все медицинские комиссии со своим кашлем? Да очень просто: раньше никакого кашля у него не было. Думаю, потому, что раньше он не ходил на смерть. А мне до Донато, в общем-то, не было дела. Потому, наверное, что очень уж я накушался этого пресловутого «глубочайшего сочувствия» Луаны. А вот Поттер Ковыряющий-в-носу доставал меня до крайности, теперь я готов это признать.

Кроме Поттера, у нас еще был этот малыш Донато, что вечно старался угодить всем и каждому. Некоторые люди раздражают тем, что ради блага ближнего палец о палец не ударят. Донато представлял собой

Пер. изд.: Sturgeon T. The Pod and the Barrier: в сб. Sturgeon T. Starshine. — New York: Pyramid Books, 1966.

другую крайность. Он обязательно уступит дорогу, согласится со всем, что вы скажете, во всем поможет, уступит место, принесет вам что-нибудь, скажет приятное слово, а о неприятных новостях умолчит; короче говоря, он услужлив настолько, что очень скоро вам захочется взорвать корабль ко всем чертям, плюнув на собственную судьбу, лишь бы не видеть больше Донато. Хуже всего в нем было то, что придраться к нему невозможно. Не раз я наблюдал, как кто-нибудь из членов нашего экипажа ни с того ни с сего набрасывался на Донато и начинал орать, лишь бы вывести его из себя. «О чем речь, приятель», — мягко говорил Донато, и его собеседнику оставалось только рвать на себе волосы от досады.

Поттер специализировался в механике полей, а Донато был экспертом по баллистике. Ингленд, большеухий урод, у которого неизменно слезились глаза, как правило, помалкивал, разве что за едой громко чавкал. Он отвечал за ракеты. Лично меня зовут Палмер. Я как-то слышал, что на Альфе Сигме IV живет человек, который лучше меня разбирается в вопросах давления в космосе, но я не верю в эту байку. Все мы по-разному представляли себе преодоление Барьера Луаны, в чем, собственно, и состояла цель нашей экспедиции. Наши представления, надо сказать, были довольно-таки завиральными, поскольку все говорило за то, что Барьер скорее всего преодолеет нас. Но действовать тем не менее было нужно. Когда человеку необходимо, просто-таки необходимо совершить невозможное, он волей-неволей начинает строить иллюзии, причем других считает неисправимыми мечтателями. Я разработал стройную теорию специально для

того, чтобы противостоять трем неисправимым мечтателям.

Именно мы четверо составляли ядро экспедиции; все прочие члены экипажа относились к обслуге. Наш шкипер, капитан Стив, неплохо соображал во всем, что касалось управления кораблем и доставки его к месту назначения, а все остальное ему было решительно до лампочки. Я никогда не ворчал, как некоторые, по поводу того, какой плохой нам достался шкипер. Капитан Стив делал свое дело, а что еще от него требовалось?

Над нашим чернорабочим можно было потешаться в течение получаса, а потом хотелось только смыться от него подальше. Пришибленный он был какой-то, с несоразмерно огромной головой. А в левой ноге у него, похоже, застряла пружина. Я думаю, что давным-давно кто-то так его покалечил, что с тех пор ни один человек не мог свыкнуться с его физическими недостатками. Мы все, как правило, теоретически понимаем, что невежливо таращиться на чужое уродство, и после встречи с подобным человеком мы легко забываем, что видели нечто из ряда вон выходящее, но никогда не можем избавиться от неприятных ощущений во время разговора. Я вообще-то считаю, что мы вполне могли бы обойтись без чернорабочего. Не уверен, впрочем, что я считал бы так же, доведись мне выполнять всю его работу самому, но некоторые другие члены экипажа меня бы хорошо поняли. Прогресс прогрессом, но людям всегда придется перетаскивать тяжести, убирать помещения, заделывать всяческие прорехи. Короче говоря, обезьяну нашу звали Нильсом Блюмом, и никто на него, в общем-то, внимания не обращал.

Еще у нас была безработная — девушка из Девотряда. Знаете, что такое Космический Девотряд? Я не тех безработных девок имею в виду, что ошиваются в космопортах. Наша была безработной в том смысле, что на борту у нее не было определенных занятий. Честно говоря, вид у всех этих, из Девотряда, отвратный. Понятно, что внутри космической жестянки нет смысла носить приличную одежду, или соблюдать изящные манеры, или пользоваться дорогими духами. Соблазнять на корабле никого не приходится; время само делает свое дело. От девчонок требуется только быть чистенькими и ждать своего часа. Все они толстокожие и соображают туго; особо тонкими им при их профессии быть не приходится, от этого одни неприятности. Наша Вирджиния была типичнейшей девотрядовской девушкой, в ней было все, что отличает таких, как она, от нормальных земных женщин, в частности, широкое плоское лицо, невыразительное, как запертая дверь. Все необходимые части тела у нее как будто бы имелись, но ни о какой из них нельзя было сказать ровным счетом ничего определенного. В общем, она была готова исполнять свои обязанности на корабле. Какой же она все-таки была? Ну, такой, что в первую минуту она тебе не нравилась, на десятую ты уже не выносил ее и в конце концов начинал ее воспринимать как низшее существо, рядом с которым стыдно показаться на глаза людям. На борту у нас нередко случались разногласия, но только не на ее счет. Такая вот у нас была безработная из Девотряда. Я когда-то читал об одном полярнике, он жил в те времена, когда полюса Старой Земли были покрыты ледяными шапками. Так вот, в качестве кухарки он брал в свои экспедиции са-

мую уродливую женщину, которую ему удавалось отыскать, и говорил, что в тот день, когда она покажется ему привлекательной, он поймет, что пора возвращаться. Не знаю, может быть, и для Вирджинии у нас со временем нашлась бы работа. Но так долго люди не живут. Ох и хороша была Вирджиния, одним словом.

Вот такая она была. Я потому думал о ней, что во время долгого путешествия самые разные мысли лезут в голову. В школе я знал одного парня, чье лицо было настолько отталкивающим, оскорбляющим человеческое достоинство, что все учителя рады были бы вышвырнуть его из класса только за то, что он явился на урок. Потом они узнали, в чем там было дело, и подвергли этого парня переработке. Может, и Вирджиния относилась к тому же типу. Может, она просто не могла быть другой. Ее всегда окружала особая атмосфера, которую Поттер однажды назвал «облаком ретроактивного сомнения». Когда Вирджиния приближалась, всякий чувствовал ее дух. Если ты говорил ей что-нибудь, она просто повторяла твои слова, но повторяла так — я не в состоянии сформулировать, как именно, но можете мне поверить — что каждое твое слово приобретало оттенок заведомой лжи или ошибки, словно ты говоришь неправду, рассчитывая, что собеседник по невежеству примет твои слова за чистую монету. А ведь она всего лишь повторяла чужие слова. Ты говорил, например: «Дома у меня осталась трость с серебряным набалдашником». Вирджиния откликалась: «Да, у вас дома осталась трость с серебряным набалдашником». При этом ее серый, ровный голос звучал так, что тебе немедленно хотелось начать доказывать ей, что такая

трость у тебя действительно есть. Ты защищал свое утверждение с такой горячностью, с какой говорит только тот, кто не уверен до конца. Потом она уходила, а ты оставался в раздумье о своей трости: где ты в последний раз ее видел, можно ли теперь назвать ее твоей и серебряный ли у нее набалдашник. После Вирджинии неуверенность в себе появлялась по самому пустяковому поводу. А если уж вопрос был важным... О, тогда не стоило упоминать о нем при Вирджинии. Сейчас я припоминаю, что сам я ощутил на себе ее влияние в самый первый раз, как только увидел ее (девушки из Девотряда по традиции показываются на следующий день после старта). Я подошел к ней в кают-компании и сказал: «Моя фамилия Палмер». Она не мигая глянула на меня и повторила: «Ваша фамилия Палмер», и я почему-то сказал: «Да нет, правда» и помотал головой, чтобы стряхнуть наваждение.

Мы включили нуль-гравитатор и шесть часов спустя вошли в матрицу второго порядка. Благодаря Луане все произошло быстро и без проблем. Оба прибора принадлежали луанам, как и субэфирная коммуникационная система, позволявшая поддерживать высококачественную связь на протяжении почти четырех суток после старта. А знаете, сколько это в милях? Я, откровенно говоря, не представляю. Могу сказать, что четыре дня составляют половину пути до Сириуса. Я, кстати, особенно хорошо запомнил информационные бюллетени того последнего, четвертого дня, так как все мы собрались у приемника и жадно впитывали услышанное, смаковали последнюю возможность получить весточку, так как знали, что до тех пор, как наш корабль пересечет Барьер

Луаны и не окажется по другую сторону Черного Мешка, то есть в течение шести недель полета мы ничего не услышим из Земных миров. Мы живо обсуждали результаты последнего тура чемпионата по свистоболу и крупного шахматного турнира, а также неестественно громко смеялись над интересом людишек к вопросу о том, кто привел в школу новомарсианскую вонючку. Последней новостью, услышанной нами, было сообщение о том, что на Старой Земле замерзла вся территория Чикаго к югу от Северного Онтарио до границ Джоплин-сити.

Все тогда поцокали языками.

— Понятно, — изрек Поттер, рассматривая ноготь большого пальца, — все к тому шло.

— Но от морозов погибают люди, — заметил ушастый Ингленд.

— При беспорядках еще больше народа гибнет, — помнится, возразил я.

Сразу после этого радиосигнал резко оборвался; так всегда бывает в субпространстве, когда корабль покидает зону досягаемости. Мы малость приуныли. Это ж надо было — последняя весть из Земных миров оказалась вот такой. Словно предупреждение. Разумеется, отнюдь не только на Старой Земле случались беспорядки. Из восемнадцати планет обеих так называемых Земных галактик только Рагнарек и Луна-Луна пока не трещали по швам, но уже при следующем поколении и их ждала та же участь, что и остальные планеты. Вообще говоря, люди вели себя спокойно, но... их было так много! Закон средних чисел гласит, что при таком скоплении людей среди них неизбежно появляется множество бунтовщиков, следовательно, число мятежей должно неуклонно расти.

До тех пор, пока мы не преодолеем Барьер Луаны.

Мы многим обязаны Луане. Я уже говорил, что значительная часть используемых нами высоких технологий создана благодаря контакту с луанами. Луаны живут невероятно давно, они были стары задолго до того, как древнее Солнце Первое стало солнцем. Они мудры, и они сочувствуют нам. Фраза о сочувствии луанов уже превратилась в затасканное клише, однако это было правдой. Естественно, луан никто никогда не видел, не надо забывать о существовании Барьера. Каким именно образом осуществлялась связь, никто из людей не понимал, хотя луаны добросовестно старались разъяснить суть их методики. Связь устанавливалась, едва мы настраивались на них. Они беседовали с нами, они были внутри нашего мозга. Все, что они говорили, было правдой, в этом не приходилось сомневаться, за это можно прозакладывать кошелек или жизнь. Кое-что, но не все, нуждается в доказательствах. Если, скажем, я передам вам то, что говорили они, вы имеете право не поверить. Но вступите с ними в контакт, и вы будете знать, что они открывают вам истины. За три столетия контактов не было ни единого случая, чтобы информация луанов не подтвердилась с абсолютной точностью. Они говорили, что первое время люди воспринимали их сообщения с долей скепсиса; мы, мол, недоверчивая раса. Они не могли передавать нам свои машины — а они настаивали на том, что их передатчик представляет всего лишь машину, — но научили нас кое-что делать, и мы построили не вполне понятный приемник, который принимал их сообщения и «проигрывал» их нам. После того, как производство приемника было поставлено на широкую промышленную основу и

были проданы миллионы аппаратов, у людей уже не осталось сомнений. Скепсис испарился.

Но от беспорядков, связанных с ростом населения, избавиться не так легко, как от врожденной подозрительности. Жди неприятностей, когда на ограниченном пространстве скапливается много людей. А когда их скапливается чересчур много — сами понимаете. На данный момент мы имеем шестнадцать перенаселенных миров и еще два, где серьезные проблемы уже почти назрели. А нам остается только выжидать, наблюдать и замораживать целые области наших планет, где точка кипения будет вот-вот достигнута. После заморозки бригады из Интерпланеты навещают данный район, извлекают изувеченные трупы из наземного и воздушного транспорта, и делают так, чтобы остальным людям спокойно лежалось там, где они лежат. В свое время они проснутся; к тому времени мертвые будут давно похоронены, смутьяны выявлены и излечены, а непосредственные причины бунтов (выявить их обычно не составляет труда) устранены. Считается, правда, что ребята из Интерпланеты, как правило, несколько преувеличивают опасность беспорядков и торопятся с заморозкой, но большинство населения Земных миров не возражает против такой практики, ведь в течение шести-восьми месяцев несколько миллионов человек не производят на свет потомства, и плотность населения падает. Однако никто не спорит с тем, что все эти заморозки — полумеры. На сессиях Совета с завидной регулярностью обсуждаются — и с той же регулярностью отклоняются — предложения о полном аннулировании рождаемости на тот или иной срок. Дело в том, что принудительная стерилизация

противоречит понятию об основных гражданских правах, а Земные миры скорее погибнут, чем допустят нарушение основных прав.

Вот они и движутся навстречу гибели.

А где-то далеко, за пределами нашей досягаемости, существуют Земли Луаны — восемь планет земного типа, составляющие в Третьей галактике три звездные системы. Восемь удивительных миров, притягательных и манящих. Мы хотим попасть туда, и луаны хотят, чтобы мы туда добрались, но на нашем пути находится Барьер.

Луаны — не родичи землян. Насколько известно, их жизненные процессы основаны на переработке бора, что не имеет ничего общего с нашими органическими реакциями. Им ничего от нас не нужно, а если бы и было нужно, они бы у нас ничего не взяли. Они говорят нам, что хотят передать нам во владение эти миры, что нам будет там хорошо, они утверждают, что в данном секторе Вселенной есть только эти восемь планет. И на их информацию можно положиться. (Кстати, именно они нашли для нас Луна-Луну и Рагнарек; случилось это тогда, когда Земные миры уже отчаялись обнаружить новые планеты.) А еще они уверяют нас, что в других секторах Вселенной есть тысячи планет земного типа, но чтобы добраться туда, потребуются принципиально иные технологии, которые, даже при помощи луан, могут быть разработаны не раньше, чем через четыреста лет. А Земным мирам не продержаться так долго без доступа к Землям Луаны. А вот если мы освоим эти планеты... Что ж, тогда мы сможем дожить до нового этапа расселения. Следовательно, нам необходимо попасть на Земли Луаны. То есть — преодолеть Барьер.

Барьер — это особая сфера во Вселенной; он не материален в обычном смысле этого слова, просто на космических картах его удобно изобразить в виде сферы. Он занимает треть объема галактики Луаны и включает в себя, разумеется, и три родные планеты луан, а также восемь вожделенных, но недосягаемых планет земного типа. Барьер — это, по сути дела, черта. Она не грозит ничему находящемуся вне ее, а объект, пересекающий ее, уничтожается луанскими ракетами. Если же нам удастся изобрести аппарат, способный избежать ракет и пересечь черту, его уничтожит сам Барьер, ибо он обладает способностью распылять на атомы любое тело из нашего мира, от микрометеорита до звезды. Оно попросту испарится.

Галактика Луаны была открыта триста лет назад экипажем одного допотопного земного патрульного корабля, оснащенного стареньким атомным двигателем, работавшим на принципе, описанном еще формулой Теллера, и примитивным субпространственным трансмиттером, позволявшим превышать скорость света всего лишь вчетверо. Корабль тот назывался «Луана», в честь жены и дочери шкипера — обе они носили имя Луана. Первое, что увидел экипаж, была галактика Луаны — сильно вытянутый эллипс, дуга которого, составляющая треть длины, была совершенно черной. Дуга эта выглядела подозрительно правильной. Космонавты высказали предположение о ее искусственном происхождении и решили исследовать ее. Гипотеза подтвердилась. Это и был Барьер, уничтоживший в данном участке космоса всю материю. Приблизившись к Барьеру на двенадцать световых лет, космонавты услышали голоса тех, кого впо-

следствии назвали так же, как корабль и галактику — луанами.

Они сказали: «Остановитесь».

Это слово одновременно прозвучало в головах всех членов экипажа. И ни у кого не возникло сомнений в истинности услышанного. Позднее луаны рассказали нам, что наладили контакт с пришельцами из нашего мира при помощи автоматического устройства, сконструированного эоны назад специально для того, чтобы предотвратить вхождение разумных существ в Барьер. А когда корабль «Луана» ответил на послание, развернувшись, с ними заговорила уже не машина. Странные существа приветствовали землян столь теплым, сердечным, радушным потоком мыслей, что все космонавты в изумлении посмотрели друг на друга и расплакались. Но, помимо приветствия, они услышали и предупреждение: «Не приближайтесь». По воле загадочных луан из глубины их мира вырвался поток щебня объемом в несколько миллионов кубометров, и в течение трех часов земляне наблюдали за осветившим нижний край невидимого Барьера всепожирающим пламенем. Земляне предложили в порядке эксперимента выбросить в сторону Барьера материальный объект. Луаны ответили согласием. С корабля было отправлено несколько предметов, и все они были атакованы объектами, со стороны похожими на небольшие боевые ракеты. А если предмету удавалось избежать встречи с ракетами, то он достигал края Барьера и исчезал все в том же смертоносном пламени. Тогда люди с Земли прониклись убеждением, что им обрадовались, пламенно их приветствовали — и предупредили.

Корабль оставался на рейде вблизи Барьера еще около года и в результате привез на Землю груз, цен-

нее которого человечество не знало с начала времен. Груз знаний. Идея холодноплавильных цехов, вскоре установленных на всех промышленных предприятиях Земли. Принципиально новые технологии. Новые подходы в области математики и небесной механики. Новые методики, новые идеи, до которых самостоятельно земной разум не дошел бы и за тысячу лет, а скорее всего и вообще никогда. И каждая крупица привезенных знаний оказалась бесценной, и каждая крупица их содержала обещание будущего продолжения.

Рассказывают, что когда патрульный космический корабль «Луана» возратился на Землю, то члены его экипажа своими рассказами навлекли на себя немыслимые сегодня подозрения. Шкипера грозились отдать под трибунал за самовольную отлучку, которую он не может оправдать ничем, кроме вовсе уж ни с чем не сообразных сказок. Идеи, распространяемые экипажем «Луаны», встретили на первых порах весьма мощное организованное противодействие. У страха глаза велики, и луанские технологии были приняты за некоего троянского коня. Но простое человеческое любопытство пересилило, и сравнительно скоро луанские технические достижения стали внедряться на Земле, и тогда их гигантские преимущества сделались очевидны всем.

А еще через несколько лет люди вернулись к Барьеру. Их космические корабли были оснащены новейшим оружием. Замысел состоял в том, чтобы проникнуть сквозь Барьер; по возможности мирно, но так или иначе проникнуть.

Большинство землян сразу же отказались от попытки насилия, столь велика оказалась сила убеждения луан. Однако некоторые все же попытались осу-

ществить первоначальный план. Барьер таранили, бомбили, направляли против него корабль, оснащенный супермагнитным генератором; все тщетно. Барьер был неуязвим. Все, кто осмелился прикоснуться к нему, погибли. Луаны горько оплакивали неразумных, идущих на верную гибель, но Барьер продолжал существовать.

Когда патрульный корабль впервые открыл галактику Луаны, земляне получили исчерпывающие объяснения относительно того, зачем Барьер был поставлен. История была проста как ясный день, но быстро позабыта — настолько велик был поток бесценной информации, обрушившийся на умы землян. Не забывайте, все это произошло еще до того, как луаны научили нас производить записывающие устройства, которые позволили нам услышать их собственные голоса. Наверное, луаны поняли это; во всяком случае, первая запись с Луаны, переданная на Землю, содержала рассказ об истории Барьера. Она стала широко известна и произвела на людей Земли колоссальное впечатление.

История эта была невообразимо проста... Некая раса, в чем-то близкая человеческой, несколько превосходящая нас технологически, несколько менее требовательная... Она существовала намного дольше нас и значительно меньше нас разрушала природу ради собственного выживания. Этой расе было чем гордиться: потрясающим искусством, за пределами Барьера о нем невозможно составить сколько-нибудь адекватное представление; литературой, образчики которой, как известно, «рассылались»... ну да. Этой расе было чего стыдиться. У них были войны. Трижды они оказывались на грани самоуничтожения, но

снова достигали высот цивилизации. Затем наступил длительный период процветания. Это был Золотой век, замечательное время. Они разработали философию сочувствия, уважения ко всем формам жизни, они научились жить в гармонии с законами, управляющими Вселенной. Это была не религия даже, а просто образ жизни, образ мыслей. А в результате...

Бесчисленные тысячи лет назад на них напали космические пришельцы, а они уже не умели защитить себя. Их невероятные инженерные достижения по большей части забылись, их техника пришла в негодность, многие навыки были утрачены и, что хуже всего, они разучились организовываться, подчиняться авторитарной власти. Поэтому враг легко поработил их.

Постепенно — где-то за тридцать тысячелетий — то, что было потеряно, вернулось к ним, они изгнали врага, преследовали его и уничтожили все принадлежащие ему миры. Одержав победу, они опомнились. И испугались. Когда-то они любили тишину и покой, они достигли самодостаточности, они ощущали себя обитателями рая. Ничего этого у них более не было. Возвращение к бытию, основанному на производстве материальных благ, представлялось им деградацией. Тем не менее они хорошо усвоили преподанный им урок. И они приняли решение обезопасить себя навеки — причем надежно — от всяческих вторжений со стороны и потом уже со спокойной душой отдаться невыразимым, всепоглощающим наслаждениям.

После долгих размышлений они остановились на идее Барьера. Тогда вся их невероятная послевоенная работоспособность, вся мощь их глубоких умов оказалась направлена на создание абсолютного оружия

защиты. Они выбрали для себя некий участок близлежащего космоса, в десять раз больший, нежели тот объем, который, согласно расчетам их вычислительных машин, мог когда-либо понадобиться для обитания их расе. Их инженеры спроектировали планетоид, выведенный затем на орбиту вокруг потухшей звезды невдалеке от центра их цивилизации. Этот планетоид, напичканный чрезвычайно сложной и потому совершенно непостижимой для земного разума техникой, управлял Барьером, порождая его. Кроме того, из всосанных, расплавленных и переработанных космических тел планетоид непрерывно производил бесчисленные большие и малые боевые ракеты. Сотни тысяч этих ракет постоянно курсировали внутри Барьера, а автоматика контролировала их орбиту. Таким образом обитатели Луаны добились, чтобы все тела, проникшие внутрь Барьера, немедленно уничтожались.

Вначале существовали опасения по поводу того факта, что сам Барьер в силу своей природы должен был уничтожать все живое. Но никто не мог дать вразумительного ответа на вопрос: «А чем это нам грозит?» Луаны не собирались путешествовать за пределы Барьера. В их распоряжении было в десять раз больше жизненного пространства, чем им могло потребоваться, как бы ни возросли их потребности. А допускать чрезмерного роста численности расы они не собирались, их помыслы были направлены в прошлое, к золотым временам внутреннего саморазвития, созерцаний и медитаций, они очень стремились вновь обрести все то, чем обладали некогда.

Потому они заперлись от Вселенной.

И выбросили ключи.

Планетоид представлял собой самоналаживающийся автомат, работавший на топливе, получаемом холодноплавильным методом из двух изотопов водорода; а водород имелся в изобилии. Он производил ракеты, а когда те применялись по назначению, материя, что оставалась от них, подвергалась утилизации и шла на производство новых ракет. Если же внутренняя поверхность Барьера уничтожала проникший извне объект, то лучистая энергия погребального костра и прах живого существа также утилизировались. Барьер был непроницаем, неиссякаем, вечен. Он принес луанам безопасность, он принес им мир.

И он принес гибель некоей кочующей расе, безгранично превосходившую луан интеллектом и тем, что в луанских «посланиях» на Землю называлось «объемом души». Ко времени их прибытия луаны уже вновь погрузились в бездонные метафизические глубины, однако они решили пробудиться и стали с интересом и тревогой наблюдать за пришельцами. Что представляла собой эта высшая раса, уже никто никогда не узнает. Это неведомо даже луанам. Они говорили только, что их былое рабство, длившееся тридцать тысячелетий, показалось бы ничтожным мигом по сравнению с теми бедствиями, которые могли бы принести на Луану безымянные пришельцы. А те приблизились к Барьеру, не будучи предупреждены, и были поглощены Барьером. Невозможно передать словами, какое впечатление произвело на луан их исчезновение. В полном соответствии со своей древней философией сочувствия и ценности любой жизни, добра и гармонии они наблюдали за гибелью бесконечно высших с бесконечным ужасом. Они осознали всю тяжесть своего преступления.

Эра пика технического прогресса вновь давно миновала на Луане. Луаны снова принялись за работу. Они достигли новых, немыслимых прежде высот. Они усовершенствовали свои машины. Они мобилизовали все свои ресурсы, движимые чувством раскаяния и ужасом перед содеянным. По их вине свершилось распятие из распятий, и погиб Мессия Мессий.

И ничего у них не вышло. Барьер был слишком хорош. Планетоид исправно уничтожал все, что приближалось к Барьеру. А сам планетоид окружали несколько мини-Барьеров, причем некоторые были вывернуты наизнанку так, чтобы чужака встречала уничтожающая поверхность. Чужак за долю секунды распадался на части, поглощался и переваривался. Тогда луаны пошли на новые, страшные жертвы; в надежде, что защитная система не выдержит перегрузок, они принялись непрерывно бомбардировать ее ракетами, космическими кораблями, каменными глыбами со всех концов обширной галактики Луаны. Планетоид исправно отыскивал чужеродные массы, анализировал их химический состав и безжалостно уничтожал, и даже тот факт, что многие, увы, очень многие из них были пилотируемы, ничего не менял...

В конце концов луаны обнаружили, что планетоид производит больше смертоносной материи для защиты, чем противник направляет на него; и таким качеством они сами снабдили свое защитное устройство, желая сделать его самовосстанавливающимся. Тогда они прекратили бомбардировки, с горечью осознав, что все их усилия лишь увеличивают мощь планетоида.

Теперь они понимали, что первородный грех — это не аллегория. На них самих отныне лежал тяжкий

груз проклятия. Им оставалось только одно: разослать предупреждения. Они изобрели передатчики, рассчитанные на любые типы разумов, разработали языки всех уровней сложности, даже более сложные, чем язык символов. Во все углы Вселенной были отправлены мощнейшие пучки энергии, несущие информацию. Не доверяя более автоматике, луаны организовали посты наблюдения за техникой. Наблюдение это проходило в виде ритуалов, выстроенных наподобие религиозных служб. Сами наблюдатели исполнили свой долг с истовостью священников. Когда всякая вероятность сбоя автоматики была полностью исключена, луаны вступили в новый этап своей цивилизации. Они не зависели более от слепых механизмов, подобных чудовищному планетоиду, не вернулись к чистому созерцанию, некогда приведшему их к положению рабов, и избежали опасности перехода к бездумному растительному образу жизни. Они нашли золотую середину: сохранили древние принципы добра и уважения ко всему живущему в многообразной и удивительной Вселенной, подчинив им мощнейшие технологии.

И тогда они совершили самое мудрое из своих открытий. Представшая перед ними истина и прежде понималась каждым из них в отдельности, но только сейчас они осознали ее все вместе, только сейчас ее осознало все сообщество. Невозможно жить одному. Любое создание должно быть частью некоего целого, должно существовать нечто большее, нежели совокупность индивидуумов. Живые существа объединяются и строят города, основывают государства, осваивают миры. Отдельная жизнь невозможна без поддержки извне организма. Индивидуум, лишен-

ный контакта с себе подобными, попросту не будет замечен Вселенной, жизнь его бесследно канет в забвение. Луаны же, оказавшиеся в изоляции от других рас по вине непроницаемого Барьера, признали наконец, что являются частичкой Великой Жизни и посвятили себя помощи выживанию этого грандиозного сообщества.

Вот какие идеи владели умами добровольных узников, когда к их владениям подлетел корабль с Земли. Луаны ахнули, узнав о приближении землян, разыскивающих новые планеты для расширения своего жизненного пространства. К ним наконец явилась Великая Жизнь — жизнь, которой они должны помочь и с которой сами они составляют единство. До появления землян луаны чувствовали себя пленниками, запертыми в осажденном городе, путником, бредущим в пустыне, отрезанной от тела конечностью. Земля вернула Луану к Великой Жизни, и Луана включилась в поиски необходимых землянам планет.

Вшивая перспектива. Экспедиция самоубийц: шкипер и обезьяноподобный чернорабочий, не видящие дальше своего носа, три неисправимых мечтателя и невостребованное, да и непригодное для пользования существо из Девотряда. И еще я, Палмер, возможно, знающий правильный ответ. Я верил в свою гипотезу, мне нравилась ее математическая логика. Я не надеялся или почти не надеялся, что мы сможем ее проверить — проверить, что называется, по полной программе и победить. Люди слишком мало знают. Они не умеют четко мыслить. Они вечно нажимают не на те кнопки. Палмер должен иметь тысячу рук и обладать способностью находиться в ты-

сяче мест одновременно — тогда, может быть, он осуществит свою мечту стать тонкой, как паутина, ниточкой, которая свяжет Жизни двух рас. Я могу все испортить, твердил я себе, пока мы тащились сквозь субпространственное ничто — а ведь в субпространство мы попали благодаря изобретенному луанами генератору. Я иду, я иду к вам, повторял я про себя, обращаясь к луанам, но со мной враги. Я все испорчу. Дорогие мои, вас, как и меня, одолеет глупость, ведь глупость — это последний и самый страшный враг, и его нам с вами не победить.

Я молча смотрел, как Поттер ковыряет в носу; я молча сносил покашливание Донато; я молча благословлял ушастого Ингленда за то, что он практически не вступал в разговоры; я старался припомнить, из-за чего в первый день обезьянка Нильс Блюм показался мне таким смешным, нарочно смеялся, чтобы припомнить, и не мог; иногда я проклинал Донато за его назойливую услужливость; я игнорировал шкипера, потому что, скажите на милость, кому же захочется выслушивать монологи об устройстве нашего корабля и кораблях прежних дней?.. Я не произносил ни слова в тех случаях, когда меня могла услышать девотрядовка, и внутренне содрогался каждый раз, когда кто-нибудь из моих спутников что-то при ней говорил и тут же начинал сомневаться и оправдываться, так как она немедленно повторяла его слова. Но я ничем не выражал своего неудовольствия, разве что однажды предложил шкиперу кормить девотрядовку чем-нибудь получше, чем та бурда, которую получали мы: вдруг кто-нибудь из мужчин тогда решит, что в ней есть хоть что-то? Шкипер согласился, отчего мы выиграли вдвойне. Во-первых, за столом мы теперь не созерцали Вирд-

жинию, а ее трапезы проходили теперь в «обезьяннике» среди швабр и банок с чистящими аэрозолями, а если Нильс Блюм возражал, то он вполне мог бы по-обезьяньи забиться куда-нибудь в темный угол и жевать солому. Я проходил однажды мимо их клетки. Они сидели рядом за крошечным столиком Блюма, едва не касаясь друг друга локтями, не смотрели друг на друга и не разговаривали. И она — плакала, и видит Бог, я здорово обрадовался. Я хотел было спросить обезьянку, как ему удалось добиться такого, но потом решил не связываться с чернорабочим.

Мы добрались до места и вынырнули из ниоткуда куда-то. Выглядела галактика Луаны впечатляюще: длинная изогнутая колбаска и черный Барьер внизу. Мы подлетели достаточно близко, чтобы уловить приветствие луан.

Но о нем я вам не расскажу.

Капитан Стив собрал нас в кают-компании в десять часов утра. Я бы непременно разозлился, конечно, если бы мне было что делать или хотелось что-нибудь сделать именно в это время суток. Но делать мне было нечего, поэтому я, скрепя сердце, присоединился к остальным — Поттеру, Ингленду и Донато. Блюм с девотрядовкой сидели у себя, там, в царстве швабр, насколько я понимаю. Капитан пригласил всех нас садиться, а сам остался стоять во главе длинного стола. Самоуверенно постучав ложечкой по кофейнику, он произнес:

— Господа, как вам, безусловно, известно, мы прибыли туда, где нам с вами надлежит действовать. Вас четверо, вы признанные специалисты, каждый в своей области, насколько я, конечно, пони-

маю, и каждый из вас разработал свой план относительно того, каким образом возможно преодолеть Барьер Луаны. Мне не стоит говорить о том, — добавил он и тем не менее продолжал так, словно говорить все же стоило, — какое огромное значение имеет ваша миссия. От вас сейчас зависит — полностью, полностью зависит — будущее человечества. Если вы (или же кто-нибудь другой) не найдете решения проблемы луанского Барьера в самом скором времени, вся наша цивилизация погибнет, взорвется, подобно умирающей звезде, изнутри. — Он кашлянул, стесняясь торжественности собственных слов, и Донато с радостью присоединился к его кашлю.

Я заметил, как широкая ладонь Ингленда дернулась, и он поспешно прикрыл ее другой, чтобы его раздражение не слишком бросалось в глаза.

— Итак, — продолжал капитан. Вынув руку из бокового кармана брюк, он неожиданно извлек оттуда дистанционный микрофон. — Господа, необходима запись. Мистер Палмер, вы — первый?

— *Я* должен говорить первым? — с нажимом переспросил я.

— Итак, сэр, ваш план. Ваши предложения, проекты или, если угодно, замечания, по проблеме преодоления Барьера.

Я окинул взглядом аудиторию — кашляющую, ковыряющую в носу, вытирающую слезящиеся глаза — и сказал:

— Прежде всего, мой план во всех деталях представлен компетентной комиссии, сиречь людям, разбирающимся в моей проблематике. Я полагаю, что у вас есть дискета с изложением моего плана. Предлагаю вам просмотреть текст и избавить нас обоих от неловкости.

— Боюсь, вы меня не поняли, — проговорил капитан. Кажется, он начинал нервничать. — Идет запись. Устное изложение крайне необходимо. Запись ваших выступлений... гм... идет.

— Значит, — рявкнул я прямо в микрофон, — останется запись о том, что я не привык делать доклады перед аудиторией, которая не поймет девяти моих слов из десяти. Я предлагаю тем, кто будет слушать эту запись, обратиться к соответствующим архивам, где подробно представлен мой проект. Тогда они смогут убедиться как в том, что проект представлен, так и в том, что сами они не в состоянии в нем разобраться. — Я взглянул на капитана. — Думаю, для записи этого достаточно, лейтенант?

— Капитан, — мягко поправил он. — Да, конечно.

— Я ошибся, — сказал я. — А непреднамеренных ошибок я не совершаю. — Я указал на микрофон. — В общем, я хотел бы, чтобы в записи остались только эти мои слова.

— Мистер Поттер, — произнес капитан, и я сел, весьма довольный собой.

Поттер вынул из ноздри палец и тут же вставил его обратно.

— Бу, я-то бе против того, чтобы все рассказать, — прогундосил он. — Вы знаете, я спец по бехабике полей. Я произвел бекоторые расчеты, и они показывают, что давление ба поверхбости Барьера подвержебо бгновенным колебаниям на балых участках из-за воздействия сфокусированных багнитных полей, очень бощных, до ста биллионов гауссов ба квадратный сантибетр. Я сказал — биллионов, — уточнил он, — а не биллионов.

Я отметил про себя, что при прослушивании записи будет трудновато уловить разницу.

— Очень хорошо, мистер Поттер, — проговорил капитан. — Итак, вы предлагаете пробить Барьер одномоментно путем использования мощного сфокусированного магнитного поля. Я вас правильно понял?

Поттер кивнул, и его правая рука при этом, естественно, дернулась.

— Отлично, — сказал капитан.

Взглянув на Поттера, я инстинктивно продул ноздри. Его профессия для меня была так же отвратительна, как и его любимое занятие. Если бы я в своей области разбирался так же слабо, как он в своей, меня ни за какие коврижки не заставили бы говорить на профессиональные темы вслух.

— Мистер Донато?

— Да, капитан Стив! Да, сэр! — Донато вскочил, и щеки его вспыхнули. — Да, сэр, я занимаюсь баллистикой, поэтому я предлагаю использовать двухступенчатые ракеты, которые можно направить в сторону Барьера. Они будут сконструированы таким образом, что в момент контакта с поверхностью Барьера произойдет разделение, и один сегмент попадет внутрь, а второй останется снаружи. Теория гласит, что, несмотря на мгновенную реакцию планетоида, его сенсорные устройства не регистрируют в одной точке в один момент более одного события. Мне представляется, что с пятидесятипроцентной вероятностью планетоид отметит, что одна половина ракеты отделилась и внутрь не попала. Если мы произведем минимум сто тридцать выстрелов в четыре приема, направив ракеты под чуть различающимися углами, то сможем убедиться, справедлива ли моя теория.

— Справедлива! — не удержался я. — Ах ты... козел вонючий! — Впервые в жизни я так грубо обозвал человека, но другие слова не приходили мне на ум, когда я смотрел, как он краснеет и улыбается, выслуживаясь. — Да с чего ты взял...

— Мистер Ингленд! — гаркнул шкипер.

Я ни разу не слышал, чтобы он настолько повышал голос. Признаться, я был сильно удивлен. Прежде чем я успел прийти в себя, Ингленд поднялся.

— Относительно ра... — произнес он хриплым полушепотом, и тут голос изменил ему. Он с шумом проглотил слюну и неуверенно улыбнулся. — Что касается ракет, мое первое предложение состоит в том, чтобы исследовать природу управления убивающих ракет, установить частоту и длину волны командных импульсов, управляющих ими. Получив эту информацию, мы сможем найти способ уничтожать или отклонять эти ракеты. И второе предложение. Запустить к Барьеру на низкой скорости ряд твердых тел, чтобы установить, какие металлические компоненты входят в сплав, из которого состоят ракеты. Тогда мы разработаем соответствующие сенсорные приборы и генератор особого поля, отклоняющего ракеты.

— Очень разумно, — одобрил капитан, и я хмыкнул про себя. Ну откуда ему знать, что здесь разумно, а что нет? Это же специальный вопрос! — А теперь, когда наша небольшая дискуссия открылась, может быть, вы мистер Палмер, измените ваше решение и присоединитесь к нам?

Я как раз об этом и думал. В конце концов, стоило бы внести толику здравого смысла в эту оргию вопиющей некомпетентности, просто ради контраста.

— Хорошо, я согласен, — сказал я. — Хотел бы вам сообщить, что единственным эффективным методом решения проблемы является метод, основанный на давлении взрыва. По-видимому, из всех нас я один обратил внимание на то, что Барьер имеет форму почти идеальной сферы. А сфера образуется тогда, когда некая пластичная оболочка подвергается внутреннему давлению, которое уравновешивается давлением снаружи. Таким образом поддерживается динамическое равновесие, как в случае воздушного шарика, наполненного воздухом. Вы улавливаете мысль?

— Продолжайте, — отозвался капитан и наклонил голову, делая вид, что внимательно слушает.

— Так вот, нам понадобится тороидальное тело, оборудованное генератором субпространства и альтернатором. Оно приблизится к поверхности Барьера и начнет переходить из пространства в субпространство с высокой частотой, причем некоторый участок Барьера, а именно тот, что окажется внутри кольца тора, будет участвовать в этих колебаниях, то есть на какое-то время перестанет существовать, выйдя в субпространство. Я предполагаю, что появление подобной дыры вызовет взрыв барьера, подобно тому, как воздушный шарик лопается вследствие маленького прокола. Q.E.D.*, лейтенант.

Я сел.

— Капитан, — устало поправил меня он, посмотрел мне в глаза и заявил: — Мне крайне жаль, но я вынужден сообщить вам, мистер Палмер, что вы полно-

---

* Quod erat demonstrandum — что и требовалось доказать *(лат.)*.

стью неправы. Блюм! — неожиданно рявкнул он. — Несите кофе!

— Ага, — раздался совсем рядом голос обезьяны.

Это «ага» впервые прозвучало хотя бы отдаленно похоже на «есть, сэр». Ясно было, что он приготовил поднос еще до того, как услышал приказ, так как явился он немедленно и поставил на стол дымящиеся чашки, после чего ретировался в уголок. Краем глаза я заметил, как девотрядовка выползла из своей клетки и тихонько встала рядом с ним. Но в тот момент меня не занимало ничто, кроме беспрецедентно наглого заявления капитана. Я поднялся на ноги, чтобы иметь возможность смотреть на него сверху вниз в прямом смысле и спросил ледяным голосом:

— Я полагаю, вы хотели сказать, что с вашей точки зрения я неправ?

— Вы неправы в корне. Барьер — это геометрическое явление, а не материальное тело, и к нему заведомо неприменимы представления, справедливые для материальных объектов.

Всем моим знакомым известно, что я легко вспыхиваю, когда меня задевают, если только не постараюсь сдержаться. В этот раз я очень постарался.

— Я свел воедино все данные о поверхности Барьера, — проинформировал я капитана, — и выразил их в математических формулах, а они неопровержимо доказывают, что данная поверхность именно такова, как я указал, и должна вести себя так, как я рассчитал. Вы забываете, адмирал, что останетесь в дураках не только сегодня, но и навечно, поскольку идет запись.

— Я капитан, — пробормотал он, повернулся в кресле и извлек какой-то лист из груды папок, которые я до сих пор даже не замечал. Лист этот издалека выглядел так, словно неумелые пальцы ребенка красным карандашом нарисовали на нем рождественскую елку. — Уравнение номер один-три-два, — провозгласил капитан. — Четыре пи сигма на тэту плюс корень квадратный из четырех пи сигма, все в квадрате.

Мне бросилось в глаза, что он не читает с листа, а говорит наизусть, а бумагу держит в руках для проформы.

Я сказал:

— Я помню это уравнение. И что?

— Ничего хорошего. — Капитан поморщился. — Гм... — Он протянул лист мне. — Из предыдущих уравнений следует, что сигма — не целое число, а факториал. Следовательно, вы внесли в свои расчеты постепенно нарастающую ошибку. Да что там, взгляните сами.

Я взглянул. Взглянул и увидел, что неуклюже нарисованная рождественская елка на самом деле представляет собой серию поправок, внесенных в мои расчеты красным карандашом. Упомянутая капитаном величина была исправлена в трех местах в данном уравнении и семь раз — в следующем. А дальше красные пометки шли сплошь. Я спросил:

— Можно узнать, кто взял на себя смелость вторгаться в мои расчеты?

— О, это я, — безмятежно ответил капитан. — Мне показалось, что было бы неплохо на всякий случай еще раз все перепроверить, и я рад, что мне пришла в голову эта мысль. И жаль, что она не пришла в голову вам.

Я всмотрелся в лист. В горле у меня запершило. Тот, кто поработал тут красным карандашом, должен был иметь основательные познания в высшей математике. С языка у меня готовы были сорваться кое-какие слова, но я сдержался, так как они были предназначены для защиты моих уравнений от его обвинений, но в данном случае не было никакой возможности отрицать, что капитан прав. Чтобы окончательно не потерять лицо, я выдавил из себя:

— Сэр, я думаю, вы должны разъяснить мне, для чего вам понадобилось позорить меня публично.

— Я вас не позорил. Вас опозорили расчеты. Ведь это ваши собственные расчеты, — равнодушно возразил он.

Я оглянулся на Поттера и Ингленда. Оба широко улыбались. Подняв глаза, я перехватил взгляд тусклых серых глаз девотрядовки.

— Это ваши расчеты, — пробормотала она.

Всякий, кто услышал бы ее слова, немедленно решил бы, что я списал расчеты из чужого исследования. Я хотел было ринуться в бой, доказывать с пеной у рта, что расчеты в самом деле мои. Но это желание я подавил. В ту минуту мне не хотелось претендовать на авторство этих расчетов. Сконфуженный, я опустился в кресло.

— Теперь ваша очередь, мистер Поттер. К сожалению, вынужден вас огорчить. Теоретически Барьер действительно подвержен воздействию магнитного поля, как вы указали, но для создания поля нужной мощности потребуется генератор размером больше нашего корабля. Вы также верно обозначили площадь, подверженную воздействию — около одного квадратного сантиметра. Но дыры в Барьере не будет.

На ее месте возникнет то, что можно было бы назвать регенерационной заплатой. Другими словами, ушедший в субпространство участок будет тотчас же покрыт новым слоем поверхности, который будет обладать теми же свойствами.

Поттер только что извлек свой излюбленный палец для пристального изучения, но был так ошеломлен, что забыл посмотреть на него.

— А... а вы уверены?

— Именно так произошло при каждой из семи предпринятых попыток.

Звук, изданный Поттером, не напоминал ни одного из известных нашему языку слов. Он был похож не то на стон, не то на вздох. А мне не хотелось глазеть на него и ухмыляться, как поступил он в случае со мной. Ингленд также не ухмылялся; до него дошло, что его ждет впереди. Оставалось лишь узнать, как именно произойдет крушение.

Но капитан сначала выбрал Донато.

— Мистер Донато.

— Да, сэр. Да, господин капитан.

— Вы предложили двухступенчатую ракету. По-видимому, вы, как и многие до вас, не приняли во внимание, что поверхность Барьера не предназначена для предотвращения вторжения, следовательно, нет никакой необходимости изобретать всякие мудреные штуки, чтобы проникнуть внутрь. Кроме того, совершенно несущественно, передаст ли сенсор сигнал на планетоид. В любом случае, спустя минуту или спустя час, попавший внутрь объект будет уничтожен ракетой-убийцей. Вы подошли к вопросу так, как будто бы главная проблема состоит в том, как попасть внутрь, а это просто. А

вопрос о том, что делать там, внутри, вы обошли, тогда как это и есть самое важное.

— О капитан, извините меня, — воскликнул пораженный Донато и разразился громким лающим кашлем. На его глаза навернулись слезы. — Ох, извините меня, извините...

— Вам не за что извиняться, — отрезал капитан. — Мистер Ингленд, вы уже поняли, в чем загвоздка?

— Как? М-м-м... — промычал ракетчик. — Видимо, я попался на уничтожении. Мне стало очевидно, что мой план уже был испробован, и он не сработал.

— Совершенно верно, он и не мог сработать. Благодаря частоте и амплитуде управляющих импульсов возникают случайные шумы. Поэтому подавить сигнал можно и не пытаться, настолько мала вероятность резонанса.

— Что это значит — случайные шумы? Управлять аппаратом при помощи случайных колебаний невозможно.

Капитан ткнул большим пальцем за плечо, туда, где сверкала галактика Луаны.

— Они это умеют. На их ракетах имеется генератор, производящий точно такие же случайные шумы, точь-в-точь. При наличии такой технологии проблем никаких. Не спрашивайте меня, как они это делают, но у них это получается. Сами луаны не могут этого объяснить. Так работает планетоид.

Голова Ингленда опустилась на стол.

— Копия случайного шума, — прошептал он; голос его донесся с самого края бездны безумия.

Капитан снова заговорил. В его голосе звучало стремление как можно скорее добраться до финала этой сцены.

— Разумной была ваша идея исследовать содержание металлов в ракетах. Увы, металлов там нет. Они на сто процентов состоят из синтетического диэлектрика, какого — одному Богу ведомо. Вы же знаете, планетоид способен синтезировать вещества. Если ракеты и обладают небольшой электропроводностью, то за счет заполненных жидкостью трубок, капилляров и тому подобных устройств. Похоже, там происходит что-то вроде мгновенного превращения твердого вещества в жидкость и наоборот. Жидкий проводник превращается в твердый диэлектрик, как только по нему пройдет отмеренная порция тока. Проходит ток в течение нескольких микросекунд.

— Смена агрегатных состояний, — пробормотал совершенно убитый Ингленд.

— Вот так все и происходит, джентльмены, — подытожил капитан.

И тогда у меня вырвался вопрос; я не успел прикусить язык.

— Объясните мне тогда одно, — сказал я. — Какого черта мы здесь делаем?

— Именно то, ради чего мы сюда прибыли, — отозвался капитан и взял со стола стопку папок. — Блюм, — крикнул он, — сдается мне, господам будет сейчас лучше побыть без слушателей, даже без вас.

— Идем, Вирджиния.

Капитан возглавил процессию, а обезьяна с девотрядовкой поплелись за ним. Мы же остались на местах, все четверо. Долгое молчание прервал Ингленд:

— Почему он не сказал мне, что так хорошо разбирается в ракетах?

— А ты его спросил? — парировал Поттер.

У меня в голове крутился тот же самый вопрос, но вслух я задал другой:

— «Именно то, ради чего мы сюда прибыли»... Как понимать его слова?— Возможно, он хочет помочь нам сориентироваться, — робко предположил Донато. — Ну, заставить нас уйти от теории. Это все равно как работа в полевых условиях.

— Он ненормальный, если считает, что все это поможет мне обрести второе дыхание, — мрачно заявил Ингленд и провел тыльной стороной ладони по слезящимся глазам, отчего они не сделались сухими. — Поддых он мне дал. А вдохновения не прибавил.

— Он обязан был рассказать нам все с самого начала, еще на старте, — сказал Донато. — Может быть, тогда у нас бы уже были готовы новые расчеты. — Перехватив мой кислый взгляд, он тут же поправился: — Я хотел сказать — гипотезы, а не расчеты.

Почему-то это не помогло, и я сказал ему:

— Убирайся отсюда, Донато.

— Конечно, приятель, о чем речь, — согласился он и вышел, улыбаясь по обыкновению.

Мы услышали, как захлопнулась дверь его комнаты, и до нас донесся приглушенный кашель.

— Это как если бы из коробки, которая стоит у тебя на столе десять лет, вдруг без предупреждения выскочил чертик.

Голос Поттера дрожал. Мне захотелось спросить его, о чем это он, но я тут же понял. Он имел в виду капитана. И Поттер был прав. Почему капитан не собрал нас месяц назад?

— Думаю, ему нравится завершенность, — сказал я. — А теперь я пошел спать.

Я поднялся. Поттер и Ингленд остались сидеть. Сейчас они будут обсуждать меня.

А мне было наплевать.

Мне снилось, что я гуляю по лугу и вдыхаю сладкий аромат молодых подснежников; а потом они вдруг стали выше, или это я уменьшился. В общем, я увидел, что у них вместо стеблей — уравнения. Я принялся читать их, но они стали извиваться и хватать меня за ноги. Я рухнул, застонал и ухватился за край койки. Я уже не спал. Тогда я повернулся на спину и открыл глаза. Голова казалась ясной, но сам я чувствовал себя, как будто сплю летаргическим сном. И мне чудилось, что я все еще слышу запах подснежников.

А потом я услышал, как кто-то хнычет. Звук доносился издалека. Он казался странно назойливым. И лампочки выглядели необычно. Они как будто слегка мерцали, но, если посмотреть на них прямо, все было как всегда. Мне это не нравилось. Начинала кружиться голова.

Я поднялся и выглянул в коридор. Вроде бы никого. Но совсем рядом со мной тонкий голос произнес:

— Вирджиния у вас?

Я оттпрыгнул. Конечно, это обезьяна. Он уже засовывал голову в мою каюту.

— Какого черта! — содрогаясь от отвращения, крикнул я в ответ, но, едва я отвернулся, он засунулся-таки в каюту.

Я прошел в кают-компанию, включил чайник и приготовил себе кофе, когда вода вскипела. Откуда-то из коридора послышался тоскливый шепот, а затем негодующий голос Поттера:

— Здесь? Тебе что, непонятно, что мне нравятся женщины?

Через минуту он уже вошел в кают-компанию, волоча ноги, и тоже налил себе кофе.

— Палмер, сколько времени?

Я пожал плечами, взглянул на часы, но ничего не понял.

— Господи, — сказал Поттер, громко шмыгая носом. — Я какой-то развинченный. У меня звенит в ушах. И перед глазами все пляшет.

Я внимательно посмотрел на него, желая запомнить, какое может быть выражение лица у человека, который все явления природы охотно приписывает своей особе.

— Все пляшет перед глазами не у тебя, а у нас. И в ушах у нас шумит. Я назвал бы это подвыванием.

Поттер заметно повеселел.

— Значит, ты тоже слышишь. Что же все-таки происходит?

Я глотнул кофе и опять глянул на часы.

— А что с часами?

Поттер искривил шею, чтобы посмотреть.

— Этого не может быть. Не может быть.

Вошел умытый и сияющий Донато.

— Доброе утро, Палмер, доброе утро, Поттер. Знаете, я гадал, кто из нас первым нарушит обет целомудрия, а теперь я знаю наверняка.

Он кивнул назад и закашлялся. Мы глянули ему за спину. Обезьяна переминался с ноги на ногу возле каюты Ингленда.

— Не твое это дело, Дон, — сказал я.

— Да-да, конечно, — дружелюбно согласился он. — Ты совершенно прав, дружище.

Едва он договорил, как дверь Ингленда распахнулась, ракетчик увидел ошивающегося рядом с ней Нильса Блюма и взвизгнул.

— Тебе у меня нечего делать, мартышка, — проворчал он и прошел мимо чернорабочего, не повернув головы.

Мы на него не смотрели. Мы наблюдали за Блюмом, который шмыгнул в каюту Ингленда, тут же показался на пороге, сделал шаг в нашу сторону и остановился, опустив голову набок.

— Где завтрак? Я хочу есть, — объявил Ингленд. — Сколько времени?

— Часы взбесились, — объяснил Поттер и почему-то расхохотался. Мы все удивленно посмотрели на него. — Значит, и не он, — пояснил Поттер, кивая на Ингленда.

— Ты только что предложил Дону не лезть не в свои дела, — съязвил я.

Догадывался ли он, что я поддеваю его только из-за его привычки ковырять в носу?

— Да что у нас тут за дела? — возмутился Ингленд.

Донато покосился на несчастного уродца, топтавшегося у двери кают-компании.

— Неожиданный он человек, — заметил я.

— Да кто? Шкипер? Что он еще выкинул? — допытывался Ингленд.

— Судя по всему, Вирджиния пропала, — объяснил Донато.

Услышав произнесенное имя, Блюм подбежал к двери и остановился, искательно заглядывая нам в глаза.

— Низкое положение обязывает, — хмыкнул Поттер.

Ингленд смачно высморкался и посмотрел на часы.

— Так что там с часами?

— С ними все в порядке.

Мы резко повернулись, так как вошел капитан. Что-то в нем было необычное; манера ли держать подбородок, тяжелый ли взгляд — в общем, появилось в нем нечто такое, чего мы не замечали раньше. А может быть, сегодня утром это в нем уже было? (А сегодня ли утром? Часы-то взбесились!) Я посмотрел через плечо капитана через весь коридор. Там никого не было.

— Сэр? — заискивающе прошептал обезьяна.

— Что-то случилось со светом, — осмелился вмешаться Донато.

— Все в порядке, — отрубил капитан.

Он подошел к наблюдательному экрану и включил его, затем ввел шифр и отступил на полшага. Все мы сгрудились вокруг экрана, на котором мерцали тысячи алмазов, составляющих гигантскую цепь, а ниже — непроницаемая чернота.

— Сейчас я вам кое-что продемонстрирую, — сказал капитан и повернул какую-то рукоять на приборной доске.

На экране возник крупный план.

— Вам известно, что это такое?

Перед нами был сияющий золотом шар. О его диаметре мы не могли даже гадать.

Ингленд за моей спиной ахнул.

— Я это уже видел. На снимках. Это же мозговой центр Барьера — планетоид!

— Он так близко?

— Лишь потому, что Барьер представляет собой сферу, — опять заговорил капитан, — все считают, что центр управления должен располагаться в ее цен-

тре. А это не так. А он здесь, на краю, и да поможет Господь тому, кто сгоряча попробует добраться до центра, чтобы сразиться с ним.

— Сэр... — прошептал кто-то чуть слышно.

— Смотрите дальше, — сказал капитан и вновь потянул на себя рукоятку.

Точка обзора стала стремительно удаляться от золотистой сферы, и планетоид очень быстро превратился в едва заметное светящееся пятнышко. И вдруг на экране появилось огромное нечто обтекаемой формы, с плоской крышей...

— Это же стручок! Наш стручок! — воскликнул Ингленд.

Кстати, стручком мы называли отделяемый модуль, в точности повторявший форму нашего корабля.

Капитан опять отступил на шаг. Глаза его горели. Он крепко сжал руки, переплетя пальцы, и по всему было видно, что его безумная радость только и ждет подходящего случая, чтобы вырваться наружу. Мы переводили взгляд с него на экран и обратно. Задыхаясь, капитан шептал:

— Давай! Давай же!..

— Сэр...

— Заткнись, мартышка!

— Так ведь стручок внутри Барьера! — прошептал кто-то. Кажется, я.

— Эй, эй, смотрите!

«Оно» походило на серебристую вязальную спицу. Оно медленно поворачивалось вокруг центра и приближалось тем временем к стручку, прошло мимо на близком расстоянии и пропало с экрана.

— Это ракета, причем из самых крупных. Боже, что произошло?

— Барьера нет. — Слова капитана прозвучали так, как будто он был не в силах больше сдерживаться. — Видите, он лопнул! Его нет, и все ракеты мертвы.

— Сэр, то есть... кэп... Я не могу найти Вирджинию. Где Вирджиния, кэп?

— Прямо перед тобой, Блюм. Ты смотришь на нее, — ответил капитан, не отрывая взгляда от экрана.

Вдруг что-то набросилось на нас и принялось молотить по спинам изо всех сил. На несколько секунд кают-компания наполнилась воплями и стонами, а потом наша чернорабочая обезьяна растолкала всех нас и впилась глазами в экран, обхватив его руками с обеих сторон. Он как будто в одночасье вырос на полголовы, на его волосатых руках выступили жилы, которых я раньше не замечал, а лохматая голова напоминала львиную.

Вдруг он пролаял, обращаясь к смотревшему на экран через его плечо капитану:

— Что ты наделал? Что ты сделал с Вирджинией?

Капитан тихо засмеялся. Тогда Блюм резко повернулся к капитану, словно намереваясь разорвать его на клочки, посмотрел ему в глаза и повторил:

— Что ты наделал? Что ты сделал с Вирджинией?

Капитан тут же перестал смеяться и превратился в капитана космического корабля, который обращается к своему чернорабочему:

— Я дал ей инструкции, велел сесть в стручок и выполнять задание. У вас есть возражения, мистер?

Честное слово, взор Блюма буравил нас, мы физически ощущали его давление. Рот его медленно, очень медленно раскрылся, и из угла его потекла тоненькая струйка. Он тряс кулаками. Его ноздри раздулись... и он закричал.

Я могу сравнить его крик разве что со слепящей вспышкой света. Мы отпрянули от экрана, заслоняя лица ладонями. А потом мы увидели Блюма. Он почему-то присел и внезапно рванулся с места, очень, надо сказать, целеустремленно, в мгновение ока оказался возле двери выходного отсека, стукнул в нее кулаками, повернулся к ней спиной и опять завопил:

— Посылайте меня, слышите? Посылайте меня с Вирджинией, слышите, кэп?

Донато осторожно приблизился к нему и с улыбочкой произнес величайшую в мире глупость:

— Ну успокойся, обезьяна, давай жить дружно.

Блюм снова заорал как резаный, и Донато счел за благо отступить, причем отступал он так быстро, что врезался в меня, и мне пришлось поддержать его, чтобы не допустить падения. Высвободившись из моих рук, Донато пролепетал:

— Господин капитан, он меня не слушает, понимаете?

— Ступайте к себе, Блюм, — грудным голосом пророкотал капитан.

— Верните ее или пошлите меня с ней вместе, — надрывался Блюм. — Вы меня слышите?

— Блюм... ступайте... к себе.

Блюм вытянул вперед руки со скрюченными пальцами и пошел на капитана, жуя пустым ртом; в его взгляде сквозило безумие. Капитан слегка нагнулся, расставил руки и медленно двинулся навстречу. Мы расступились.

— Вы меня слышите? — очень тихо проговорил Блюм и прыгнул.

Капитан отступил в сторону и ударил Блюма, в голову, как мне показалось, но Ингленд впоследствии

сказал мне, что удар пришелся в шею, немного сбоку. Ноги обезьяны в тот момент как раз оторвались от пола, и он тяжело рухнул лицом вниз, даже не выбросив вперед руки, чтобы смягчить падение. Так он и лежал, не двигаясь.

Сначала мы все смотрели на него и лишь через некоторое время обменялись взглядами.

— Отнесите его, — распорядился капитан, и я сильно удивился, так как голос его раздался не оттуда, откуда он должен был бы раздаваться: не от распростертого на полу тела Блюма, а со стороны экрана; для капитана проблема Блюма уже была решена, и он вернулся к своим прямым обязанностям.

У всех нас внезапно заныла шея, чуть сбоку. Мы не знали, что нам предпринять.

— Эй, я же сказал, уберите его. Вы, Палмер. Вы самый крепкий.

Мне захотелось орать и брызгать слюной, но вместо этого я заговорил медленно и с достоинством:

— Послушайте, я не обязан...

Все тот же грудной голос оборвал меня. И этот грудной голос на сей раз поразил меня во много раз сильнее — из-за того, что обращался он теперь ко мне одному, не принимая в расчет остальных.

Я услышал:

— Нет, послушайте вы. Вы обязаны. Если я что-то сказал, вы обязаны немедленно выполнять, и не только вы, Палмер. Это и к остальным относится, поняли, шуты гороховые? Представление окончено, наша миссия исполнена, и отныне я ваш повелитель. Вы же прежде всего должны думать о том, чего хочу от вас я. Постоянно. Я ясно излагаю?

Я попытался громко возразить:

— Но я...

В это мгновение капитан отвернулся от экрана — почти так же резко, как Блюм, как будто разрывая воздух, и я пошел на попятную. Я поднял обезьяну за плечи и отволок в каюту. Каюта у него была в общем такая же, как у нас, только вещей поменьше. Впрочем, я понятия не имею, что у него там было в одинаковых квадратных тюках, наваленных в углу. Я швырнул его на кровать и закрыл дверь, так как здесь больше не к чему было прислониться. В общем, я прислонился и попытался отдышаться.

Что-то заскрипело у обезьяны в глотке. Я глянул на него. Голова его упала набок, как раз на подушку. Глаза его были открыты.

— Прекрати, мартышка. — Он продолжал скрипеть. — Эй, прекрати, понял, мистер?

Это «мистер» прозвучало совсем не так, как у шкипера. Я был смущен.

Вдруг я заметил, что обезьяна не моргает — попросту ничего не видит своими широко раскрытыми глазами. Мне жутко действовал на нервы этот скрипящий звук, который, как я понял, был просто дыханием, поэтому я передвинул подушку и устроил его голову прямо. Звук тотчас же прекратился. Блюм закрыл глаза.

Я все еще не мог отдышаться; может быть, оттого что видел кровь на лице обезьяны.

Заговорив, он не открыл глаз. Говорил он страшно быстро и тихо. Казалось, я стою слишком далеко от него, а потом вдруг стал разбирать слова.

— ... а она не могла, она не в силах была прекратить сопротивляться и поверить. Как будто она погибла бы, если бы во что-нибудь поверила. А она хо-

тела. Больше всего на свете хотела. Но ей словно кто-то сказал: если хоть чему-нибудь поверишь — умрешь. — Внезапно его глаза открылись, он увидел меня и опять зажмурился. — Палмер. Это же вы, Палмер, вы сами видели, как она плакала тогда. Все это время, все эти долгие недели ее серые глаза ничего не выражали, они скрывали то, что у нее внутри, а я все время молил ее: Вирджиния, ну же, Вирджиния, мне неважно, что ты обо мне думаешь, я не прошу тебя полюбить меня, Вирджиния. Только поверь мне: ты можешь быть любима, ты достойна любви, и я тебя люблю. Это правда, Вирджиния, я люблю тебя, ты только для начала поверь, потому что это правда истинная, а потом ты и во все остальное сможешь поверить... Сначала во что-нибудь маленькое, а я тебе помогу, я всегда буду говорить тебе правду. Я говорил: ты не люби меня, Вирджиния, ты не думай об этом вовсе. Я и не знаю, что буду делать, если ты вдруг меня полюбишь. Ты доверяй только мне, об этом я тебя прошу, спрашивай меня, где тут правда, и я тебе буду говорить. Вот только верь, что я тебя люблю. Я невеликая птица, Вирджиния, и с меня можно начать верить. Ну поверь в мою любовь, Вирджиния, пожалуйста. А она... — Он замолчал и долго лежал, уставившись в потолок. Я подумал, что он потерял сознание, но наконец он моргнул и опять заговорил: — ... она заплакала, как-то вдруг, сразу разрыдалась и говорит: «Обезьяна ты, обезьяна, ты меня на части рвешь, разве ты сам не видишь? Я хочу тебе верить. Больше всего на свете хочу. Но я же не могу, не умею, не знаю, как это делается, мне, наверное, нельзя, я не так устроена». Вот так она сказала. И опять заплакала, и еще она говорила: «Но я же хочу поверить тебе,

обезьяна. Ты даже не знаешь, как сильно я хочу тебе поверить. Только... все на свете не есть то, чем кажется, что о нем думают, и никто на самом деле не желает того, о чем говорит. Я никому не верю и тебе не могу поверить. Предположим, я поверю тебе, а потом наступит день, когда все выяснится, и нам можно будет увидеть все по-настоящему, и вдруг тогда окажется, что все не так, как ты говорил, а может, и сам ты — не ты, обезьянка. Что тогда? Я боюсь, — так она говорила, — я боюсь тебе верить, потому что мне так хочется. Если я никому и ничему не верю, а когда-нибудь все выяснится, и я тогда все пойму сразу и ничего не потеряю». И она опять плакала, вот тогда как раз вы вошли, Палмер, а через секунду у нее снова были те же серые пустые глаза. Так она мне и не поверила.

У меня перехватило дыхание. И у Блюма перехватило дыхание. Я стоял, прислонившись к двери, а он лежал на койке, и оба мы тяжело дышали.

Вдруг у него мелькнула новая мысль, и он зашептал:

— Но и другое было. Она умела заставлять любого сомневаться в том, что он сам только что сказал. Както я рассказывал ей, что моя мама умеет готовить. Она повторила: «Твоя мама умеет готовить», этак медленно, ну, вы сами знаете, и я задумался, а действительно ли мама умеет готовить. Вы понимаете, о чем я? Но я ей говорил все время: Вирджиния, я люблю тебя, и она тем же тоном отвечала: «Ты любишь меня». Так вот, она на меня не влияла, когда я говорил ей, что люблю. Я задумался над тем, что я чувствовал, когда она повторяла мои слова, и понял, что ее тон меня не трогает. Так что было и другое. И пото-

му-то это было правильно, когда я просил ее в этом только мне поверить. Я знал, все может измениться, или я могу в чем угодно ошибиться и сказать ей не то. Только в этом я не ошибусь. В этом она могла положиться на меня. А она хотела. Что ж, я хотя бы этого добился.

Я все еще стоял у двери и все еще был смущен, но предпринял попытку обратить свое смущение в гнев и сказал:

— Послушай, обезьяна, ведь ты же глуп. Ты космонавт, а она из Космического Девотряда. Она не имеет права тебе отказать. Так почему же ты сразу не взял свое? Она для этого и находилась на борту.

Но Блюм не рассердился. Он только сказал, глядя в потолок:

— Ну да, она сама так говорила. Мол, ты, обезьяна, сам не знаешь, чего тебе нужно, вот так. Она говорила, ты, мол, этого и хочешь. Так давай же, вперед, только хватит чесать языком. Но я отвечал, что для этого, может быть, и придет время, но покамест я об этом не думал; я сначала чего-то другого хотел, я хотел, чтобы она мне поверила. Она тогда сказала, что я сошел с ума и оставил ее в покое, но потом... Вы же сами видели, Палмер. Она же потом сказала, что больше всего на свете хочет поверить мне.

Он наконец затих, дыхание его сделалось ровным, и на губах заиграла улыбка. Я обратился к нему, а он не ответил. Я решил, что он заснул, тихо открыл дверь, вышел и вернулся в кают-компанию.

Все были там; они пялились в экран. Я сказал:

— Он заснул, но когда проснется и по-настоящему осознает, что ее нет, вам предстоит выдержать *нечто*.

Шкипер мельком глянул на меня и опять повернулся к экрану. На стол он не плюнул, но, судя по выражению лица, вполне мог. Эта обезьяна, говорила его гримаса, нисколько меня не волнует.

Я спросил Поттера:

— Что происходит?

— Не знаю, смеяться или плакать, — туманно изрек Поттер. — Ты, Палмер, не спец, а шут гороховый. И Ингленд тоже. И Донато. И я. Вирджиния, вот она, оказывается, спец. Вся эта гребаная экспедиция затеяна ради нее. Далеко еще? — крикнул он.

— Несколько метров, — отозвался Донато, не отрываясь от экрана.

Я тоже посмотрел. Стручок, точная копия нашего корабля, подплывал к уже знакомому мне золотому шару. Только теперь я понял, какой он огромный, этот шар. Размером с настоящий спутник какой-нибудь планеты. И по всему экрану медленно плыли матово-серебристые палочки, десятки, сотни...

— Это ракеты, — процедил сквозь зубы Поттер. — Мертвые ракеты. Все электростанции холодной плавки мертвы на тысячу, а то и больше, километров отсюда. И наш генератор тоже.

— Наш?!

— Потому и в ушах звенит, и лампы мигают. Палмер, у нас больше нет электрогенератора холодной плавки. Мы живем на паровом турбогенераторе. Параболическое зеркало нагревает его, принимая свет вон от той звезды.

— И домой мы полетим на паровой турбине?

— Чушь!

В беседу вступил Донато. Вообще, признаться, жутковато звучал наш разговор. Все говорили тре-

вожным полушепотом, как будто боялись, что сказанное вслух слово повлияет на то, что происходило в это время на экране. Переговаривались мы, не глядя друг на друга, только иногда кривили губы, разговаривая с соседом справа или слева. Донато проворчал:

— Маленькая турбина не осилит и половины пути.

— Не страшно, — отозвался Ингленд. — Что делает Вирджиния? Она должна присосаться к поверхности планетоида и выпустить катализатор, вызывающий быструю коррозию. Сейчас никакая бомба не возьмет оболочку. А когда оболочка достаточно проржавеет, она швырнет на это место бомбу. И — Барьера не будет.

— Он же сказал, что Барьера уже нет.

— Правильно. Она нейтрализовала его. Но если она потеряет контроль, Барьер тут же вернется, и оживут все ракеты.

— Как это — нейтрализовала, потеряет контроль? — недоуменно спрашивал я.

Шкипер, видимо, решил, что настала пора вставить слово.

— Это называется Н-полем, так как... — Он вдруг замолчал, и молчал довольно долго. — Так как с таким названием оно кажется нам почти знакомым, почти понятным. — Он окинул нас всех быстрым взглядом, словно желая проверить, улыбаемся мы или нет. — На самом деле все тут сомнительно. — Он с видимой неохотой выговорил последнее слово. — Все чрезвычайно сомнительно.

Мы молчали. Сомнительно, спору нет, но все сомнения почему-то делаются незаметными, когда в голосе капитана звучат такие вот капитанские нотки. И он, по-моему, это понимал. Мы все с некоторых

пор были здесь никем... шутами гороховыми, но он не желал терять лица даже в глазах таких ничтожеств.

После долгой паузы он продолжил объяснения:

— Мы нашли Вирджинию в тот момент, когда она намеревалась совершить самоубийство. Ее вечные сомнения стали для нее невыносимым бременем, ведь ей не во что было верить. Да она не могла просто поверить хоть чему-нибудь. Так вот, с ней поработали... Я шкипер, я подробностей не знаю... В общем, в итоге при ней осталось все, что было, но и еще кое-что прибавилось. И немало. Вы все это почувствовали, не надо отрицать очевидное. Она могла заставить человека усомниться в собственном имени.

Только услышав свой голос, я понял, что сказал:

— Вот именно.

Капитан Стив некоторое время молча смотрел на экран, а потом вдруг ахнул:

— Все верно... Молодец, девочка... — И опять обратился к нам: — Проблема была серьезной. Предположим — просто возьмем за рабочую гипотезу, — что абсолютное неверие ни во что может воздействовать на человека подобным образом... В общем, если в вашем распоряжении есть человек, обладающий свойством останавливать мощные электростанции со значительного расстояния, возникает вопрос: каким образом этот человек сможет отправиться в экспедицию на корабле, оснащенном электрогенератором того же типа?

— Если бы речь шла не о человеке, а о машине, — задумчиво протянул Ингленд, — ее следовало бы запустить только в самый последний момент.

— Так и было сделано при испытании первой атомной бомбы, — со знанием дела подхватил Донато. — Ее собрали непосредственно перед взрывом. То

есть сборка послужила причиной взрыва. Но... человек...

— Вы ухватили суть. Можно не верить во что-то до тех пор, пока тебе не станет известно, как обстоят дела в действительности или, на худой конец, как принято полагать. Я не могу верить или не верить в то, что «пайооп» на верхнемарсианском языке означает «мать». Я просто не знаю. Вот и Вирджиния ничего не знала об электрогенераторах холодной сварки, хотя мне, честное слово, показалось, что наш генератор по пути раз или два чихнул.

Ингленд нетерпеливо вставил:

— Простите, кэп, но я стою здесь и слушаю эту белиберду только по одной причине: она действует.

— Тогда не перебивайте меня. Идея производства энергии методом холодной сварки принадлежит луанам. В основе своей она очень проста, при толковом объяснении ее поймет любой. И мы разработали сценарий, в котором нашлось место и для вас. Она считала вас настоящими экспертами до тех самых пор, пока я не вызвал вас сюда и не распластал. Сигма-факториал, магнитное поле на квадратном сантиметре... Ха! Она с самого начала сомневалась, что вы эксперты, поскольку сомневаться ей свойственно, а когда вы все сели в лужу на ее глазах, она как бы поняла, что правильно сомневалась. Она достигла... как бы сказать... пика недоверия, что ли. Господи, да разве вы сами ничего не чувствовали? Она... стала *протекать*. И теперь то, что вытекает из нее, вызывает коррозию на поверхности планетоида. Теперь ждать осталось недолго.

— И все-таки я не понимаю, как обыкновенное недоверие может остановить электростанцию, — упорствовал Ингленд.

— Не электростанцию, а электрогенератор холодной сварки. Подождите, не торопитесь, сейчас вы все поймете. Я пустил в ваши вентиляторы усыпляющий газ, чтобы вы не путались под ногами. Затем...

— Подснежники, — пробормотал я, внезапно вспомнив сновидение.

— Затем я посадил ее в стручок и велел лететь вперед. Но я зарядил ее... ну, как бомбу, понимаете? Я объяснил ей, что представляет собой генератор холодной сварки. Любопытно, что ей это было совершенно безразлично, однако она меня слушала очень серьезно и внимательно. Потом я вручил ей конверт и сказал, что там описано все, что произойдет. Я велел ей вскрыть конверт тогда, когда на панели зажжется красная лампочка. А она должна была загореться в момент отделения стручка от корабля.

Внезапно наступила мертвая тишина, так как стручок прилепился к поверхности планетоида. И — ничего не произошло. По экрану по-прежнему проплывали мертвые ракеты и разнообразные космические тела, затянутые планетоидом, но не переваренные им...

— Что она должна была прочитать? — послышался очень тихий голос.

— Что? Формулу реакции, применяемой при холодной сварке. Водород и дейтерий в присутствии мю-мезонов соединяются в гелий-3. При этом выделяется энергия в размере 5,4 на десять в пятой степени электрон-вольт. Вот что было на том листе. Мы мало-помалу научили ее, что такое мю-мезоны, гелий-3, что означает данное количество электрон-вольт. Вся эта информация была заложена в ее подсознание еще до того, как мы покинули Земные ми-

ры. Просто у нее не было случая свести воедино полученные знания. А я написал для нее на том листе: «В основу действия этого аппарата положен такой-то и такой-то принцип». Естественно, она ни одной букве не поверила. На турбину или, скажем, на электродрель ее недоверчивость не оказала бы никакого влияния, но тут иное дело, тут речь идет о взаимодействии элементарных частиц, причем огромного их количества. За время путешествия запас веществ, необходимых для производства катализатора, не пострадал, хотя, как мне кажется, по чистой случайности. Так или иначе, теперь катализатор синтезируется прямо на поверхности планетоида благодаря способностям Вирджинии, о которых мы ничего толком не знаем... Да кого я тут уговариваю? — неожиданно взвился капитан. — Разве вы сами не видите, что процесс идет?

Я проворчал:

— Обезьяна, не наступай на ноги.

От экрана я не отрывался, поэтому думаю, что больше никто не заметил появления нашего чернорабочего. Да и сам я его, в общем-то, не замечал.

— Послушайте, — встрепенулся вдруг Донато, — если наши генераторы не работают, как же мы вернемся домой?

— Все просто. После взрыва бомбы не останется никакого Н-поля.

И опять вмешался Ингленд:

— А что будет с ракетами? Может, они все начнут опять работать?

— Успокойтесь, балбесы несчастные, - улыбнулся шкипер. — Держите свои страхи при себе. Всеми ракетами управляет один-единственный центр — планетоид. В ином случае их невозможно было бы удержать

внутри Барьера. Некоторые из них могли бы полететь в сторону галактики Луаны. Пускай они придут опять в движение. Стручок будет уже беспилотным. А теперь, пожалуйста, помолчите. Скоро взорвется бомба.

— То есть как — взорвется? Стручок находится в центре разъеденного коррозией пятна, а значит...

— Я же сказал — помолчите! Действие бомбы не основано на холодной сварке. У нас там старая добрая атомная бомба, для которой нет разницы, верит в нее кто-то или нет.

— То есть как? Что с ней будет? Что там происходит? Где...

Голос Блюма срывался от ужаса.

— Обезьяна, иди спать, — проворчал я, не поворачивая головы.

Мне не хотелось быть грубым; в конце концов, у этого парня выдался трудный день. И все же мой голос нельзя было назвать ласковым. Наверное, я никогда не научусь правильно разговаривать с такими людьми.

Взрыв.

Боже милостивый.

Капитан Стив оказался плохим пророком. Кто-то невидимый в ту дьявольскую секунду нажал-таки на спусковой крючок. Все ракеты пришли в движение. То есть не сами ракеты. Боеголовки.

Мы не сразу увидели друг друга, отведя взгляды от погасшего навек экрана.

Вой турбины становился все ниже и ниже, и наконец она остановилась. И лампочки больше не мерцали, даже если смотреть на них краем глаза.

В кают-компании раздавались какие-то звуки, но первая осмысленная фраза прозвучала не скоро:

— Надо бы выручить Вирджинию.

Кто-то рассмеялся — довольно-таки невесело.

— Обезьяна, не будь глупее, чем ты есть. — Это высказался Ингленд. Он как будто охрип. — Ты что, не видишь, что наш генератор холодной плавки снова работает?

— Ему это безразлично, — сказал я, обращаясь к Ингленду. — Его тут не было, когда шкипер рассказывал.

— Кого не было? — немедленно рявкнул шкипер. — Ах ты черт! Блюм, кто вам велел выходить из каюты? Вы изолированы, вы это понимаете? Палмер, могу я вам доверить?..

— Стойте! — раздался нечеловеческий крик. Как будто вспышка непереносимо яркого света полоснула по глазам. Обезьяна, каким-то образом добравшийся до кают-компании, разъярился до предела. — Стойте, стойте! Стойте! Я должен знать! Все знают, кроме меня! Что случилось?

— Идем, Блюм, — быстро сказал я.

Я боялся Блюма, но увы, еще больше я боялся шкипера. На его лице застыло такое выражение, какого я не хотел бы видеть никогда.

И он наклонился тогда к Блюму и проговорил:

— Ах, ты должен знать? Хорошо, я скажу тебе, потому что долго возиться с такой обезьяной, как ты, я не намерен. Взрыв атомной бомбы покончил с планетоидом и с твоей Вирджинией в придачу, а послал я ее туда именно для этого. Ты понял?

— За что вы хотели убить ее? — шептал Блюм.

— Может, тебе был известен иной способ восстановить наш электрогенератор? — язвительно поинтересовался шкипер.

Я захотел объяснить ему, в чем дело. Я сказал:

— Блюм, она не верила, что генератор работает, поэтому он остановился.

— Я мог заставить ее поверить. Я бы мог. Я мог бы.

Мы смотрели на него, а он стоял перед нами, раздувая ноздри, склонив несуразно огромную голову набок. Он не сходил с ума. С ним происходило что-то иное. Я смело скажу вам, что я испугался.

Блюм проговорил:

— Это ведь вы сделали ее такой, что она ни во что не могла поверить.

— У нее с самого начала были к тому предпосылки, — огрызнулся шкипер и отвернулся от него. — Эй, Поттер, Донато! Вы все-таки члены экипажа! Нам надо вернуть эту махину домой. У нас есть о чем рассказать людям Земных миров.

— Никогда не думал, что люди на такое способны, — очень тихо прошептал Блюм. — Я не верил.

— Иди спать, обезьяна, — сказал я. И вдруг, не удержавшись, добавил умоляющим тоном: — Пожалуйста, Блюм, оставь его в покое.

Блюм долго смотрел мне в лицо, а потом неожиданно кротко произнес:

— Да. Хорошо, Палмер.

И ушел.

Мне сразу стало гораздо легче. Приятное это чувство — сознавать, что ты можешь командовать другими.

— Ложись, — скомандовал шкипер. — Старт через пять минут.

Он подошел к приборной доске.

— Не стойте там, — крикнул я товарищам. — Ложись, вам сказано.

— Фуфло ты, Палмер, — сказал мне Донато.

И все легли.

Прошло четыре минуты. Пять. До нас доносился гул машин.

Погас свет. Гул перешел в стон, затем в завывание. Лампы опять загорелись, сначала они были тусклыми, потом стали ярче. И они мигали, если смотреть на них не прямо, а видеть краем глаза.

— Что-нибудь не в порядке? — поинтересовался я, стараясь говорить, как настоящий ученый.

— Электрогенератор вышел из строя, только и всего.

— А-а, — сказал я. — А что с ним случилось?

Помолчав, шкипер тяжело вздохнул.

— Ничего. Я проверял. Все в норме, просто он не работает.

— Я, пожалуй, встану, — решил я.

— С чего это? — осведомился он и отошел.

Я встал и объявил обо всем Донато, Поттеру и Ингленду. Им не понравилось, что наш шкипер скукожился, разговаривает тихим голосом и ничего не объясняет.

— Если он не починит генератор, мы никуда не полетим, — втолковывал мне Ингленд. — Космических кораблей у луан нет, и ни до одной из их планет нам не добраться.

Я и сам мог бы дать ему ту же информацию. Сейчас было необходимо поговорить с Блюмом, чтобы понять, как действовать дальше.

Когда я вошел, его широко открытые невидящие глаза смотрели в потолок, и он что-то бормотал себе под нос. Я вслушался.

— ... с детства, они сказали, у тебя такие же возможности, как у всех, ты можешь верить, давай я по-

держу сумку, а ты пока сходи и купи билеты, не волнуйся, я буду здесь, когда ты вернешься, и ты им поверишь... У меня для твоего сына есть работа, легкая работа, хорошие бабки...

Я окликнул его. Он повернул голову.

— Помните, Палмер, она говорила, что если ты ни во что не веришь, то ничего не потеряешь в тот день, когда все выяснится. Вирджиния, лично для меня все уже выяснилось. Теперь, Вирджиния, я в безопасности: я не верю. Ты была права, коли так, они у тебя ничего не отнимут.

Он еще долго бормотал какую-то чепуху в этом роде. Я вышел из его каюты и отыскал шкипера. Тот сидел перед пультом управления и механически, не глядя, дергал туда-сюда одну из ручек. Я спросил его:

— Кэп, вы рассказывали нам об Н-поле, которое появилось у Вирджинии. Скажите, а может человек его приобрести без вмешательства со стороны?

— Ты пришел, чтобы морочить мне голову? — отозвался он шепотом, не поворачивая головы в мою сторону.

Я отошел от него подальше и сказал:

— Я пришел, чтобы получить ответ на свой вопрос. Мне кажется, именно это произошло с обезьяной.

— Что за хреновину ты несешь? Чтобы впасть в подобное состояние, человек должен пережить настоящий шок. С обезьяной все в норме. Плюнь.

— Но он лежит и бормочет, что ни во что не верит.

Вот теперь шкипер обратил на меня внимание. Он встал и пошел со мной в каюту чернорабочего.

— Так, — сказал он, послушав его бессвязное бормотание. — Сейчас он у нас точно не будет ни во что верить и ни во что вмешиваться.

С этими словами он ударил Блюма в челюсть. Голова его безжизненно откинулась на подушку.

Я слышал его шумное дыхание, но еще я слышал ровный гул турбины. И тогда я сказал:

— Выходит, если человек в бессознательном состоянии, его вера или неверие ничего не решают.

— Этого и следовало ожидать, — отозвался капитан. — Хорошо, Палмер, теперь тащи его.

— Куда?

— Помолчи.

Он вышел из каюты. Оценив все возможности, я решил следовать за ним. Взвалив Блюма на плечо, я двинулся вперед и едва не упал под тяжестью его тела. Капитан поджидал меня в коридоре. Как только я вышел, он двинулся вперед, и я поплелся за ним. Мы дошли до входа в отсек, где на протяжении всего полета помещался стручок, и побрели дальше, до отсека, через который осуществлялся выход в открытый космос. Капитан Стив достал ключ и принялся колдовать над замком.

— Что вы намерены предпринять? — спросил я.

— Помолчи.

— Вы хотите убить обезьяну?

— Ты хочешь добраться до дома?

— Не знаю, — ответил я и задумался над этим вопросом.

Капитан тем временем распахнул внутреннюю дверь выходного отсека:

— Палмер, что тебя грызет?

Я ответил:

— Капитан, я, наверное, не допущу, чтобы вы это совершили. Здесь должен быть другой выход. Не стоит убивать невинного чернорабочего.

— Палмер, тащи его сюда.

Я стоял у двери. На плече у меня висело обмякшее тело Блюма, а капитан мрачно смотрел на меня через плечо. Не знаю, чем бы это противостояние закончилось (точнее, знаю, но мне стыдно вам признаваться), только именно тогда мы оба услышали чей-то голос, и с пола поднялась человеческая фигура.

— По-моему, давно пора, — сказала Вирджиния. — Внутренний замок был заперт, и я лежу здесь уже час. Наверное, я заснула. А это кто? Что с Нильсом?

Мне показалось, что наш шкипер хлебнул уксуса.

— Кто тебе разрешил покидать стручок? — прохрипел он.

— Луаны, — спокойно сказал она. — Они как будто поселились у меня в голове. Было так странно... Они мне объяснили, как надевать скафандр и куда прикрепить канистры с топливом, чтобы выбраться из стручка и уйти от этой сверкающей штуки. Я уже далеко отлетела, когда они велели мне спрятаться за большой каменной глыбой. Потом что-то такое вспыхнуло... И они сказали мне, что я могу лететь сюда, потому что все обломки уже далеко. А вы знали, что внутри скафандра есть реактивный двигатель? Луаны мне рассказали, как им пользоваться.

Я пожевал губами, после чего почувствовал, что могу произнести:

— А почему ты решила, что двигатель сработает?

— Ну как же! Примерно такой же был на корабле, а ведь мы сюда прилетели. Нельзя же не верить собственным глазам!

Капитан наконец пошевелился. Но, прежде чем он успел что-то сказать, я ударил его, предварительно опустив обезьяну на пол. Я не сомневаюсь, что капи-

тану в жизни приходилось драться, но такого удара в грудь, по всей вероятности, он еще не получал. Он сел на пол, разведя ноги в стороны. Его взгляд был направлен исключительно на меня.

— Сиди здесь и заткни свой вонючий рот, — так я ему приказал. — Ты так и не понял, как следовало обращаться с этими людьми.

Вирджиния опустилась на колени около обезьяны.

— Что с ним? Что тут случилось?

— Ничего страшного, его просто ударили, — сказал я. — Можешь мне ответить на один вопрос? Ты веришь, что он тебя любит?

— Да, — не задумываясь, ответила она.

— Тогда я вот что тебе скажу. Посиди с ним и приведи его в чувство. Тормоши его как угодно. А потом скажи, что ты ему веришь. Ясна задача?

Капитан с трудом поднялся на ноги и замычал. Но я замычал первым. Не знаю, откуда у меня взялся кураж, но я поверил, что могу. По-видимому, настало время кое во что поверить.

— Эй, ты, — крикнул я. — Занимайся своим делом! Запускай машину. Ты там приборы оставил черт-те в каком состоянии, а мне бы не хотелось толчков при взлете. Как стартовать, знаешь только ты. Так что быстро! А я знаю, как быть со всем остальным. Ты согласен? Согласен!

Я подтолкнул его. Он зарычал на меня, но заковылял к лестнице.

Я вернулся к тем двоим. Мне в ту секунду было хорошо. Честное слово, хорошо.

— Вирджиния, — сказал я, — знаешь, какой сегодня день? Сегодня тот день, когда все выясняется. Ты согласна? Согласна!

— Смешной вы человек, мистер Палмер.

— Ну да. Я шут гороховый.

Я скорчил ей рожу и стал подниматься по лестнице. Старт произошел как раз когда я добрался до верхней площадки. И я полетел вниз, но на сей раз они не сочли, что я смешной человек. Они меня даже не заметили. Я тихо поднялся на ноги и опять заковылял по лестнице.

Таксидермист

Я вообще-то по пустякам не люблю нервничать. Небольшой беспорядок в моей двухкомнатной квартире в Вестсайде меня обычно не беспокоит. В принципе достаточно открыть дверь, ногой вытолкать более или менее крупный мусор в общий коридор, и дело с концом. Но сегодня придется прибраться. Придет Мира, и незачем ей видеть, что у меня здесь творится.

Ей-то по большому счету беспорядок до лампочки. Она уже достаточно знает мой характер. Но сегодня у меня многовато довольно... необычного мусора.

Я тщательно подмел пол, заглядывая во все углы, так как мне не хотелось, чтобы что-нибудь эдакое вдруг вылетело на середину комнаты из-за случайного сквозняка. Не стоит расстраивать Миру. Признаться, меня подмывало коечто оставить на видном месте. Мира так гордилась своей железной выдержкой, что мне, наверное, доставило бы удовольствие услышать, как она завизжит.

Однако я отогнал от себя эту недостойную мысль. Мира прекрасно ко мне относилась, и я даже иногда задавался вопросом: отчего я испытываю к ней такую симпатию, тогда как она явно не принадлежит к моему типу женщин.

Итак, я даже заполз под кровать и выволок оттуда свои домашние туфли. Мои ноги по-прежнему были там. Левую туфлю я поставил на каминную полку, а

Пер. изд.: Sturgeon T. «Derm Fool»: в сб. Sturgeon T. Starshine. — New York: Pyramid Books, 1966.

правую отнес в другую комнату, присел на стул и принялся выковыривать из нее ступню. Туфли у меня своеобразные: левая значительно больше правой. Наконец я вытащил ступню; к этому времени я уже ругался вслух. Кожа шуршала в руках. Я скомкал ее и швырнул в мусорное ведро. Так, теперь надо оглядеться. Ага, на ручке ящика стола висит моя рука. Я отодрал ее и выкинул ко всем чертям. С какой стати, спрашивается, Мира дала телеграмму, а не позвонила, как все нормальные люди? А теперь от нее не отделаешься. Свалится как снег на голову. А мне, собственно говоря, несколько не до нее...

Я смел с клавиатуры пианино указательный палец. За ним в мусорное ведро последовала левая нога. Потом я подумал, не убрать ли и туловище (оно висело в прихожей в шкафу для одежды), и решил оставить его в покое. Из цельного куска кожи такого размера я в принципе мог бы сделать что-нибудь полезное; чемодан, скажем, или непромокаемый плащ. Вообще я отныне обеспечен первоклассным сырьем.

Кажется, я ничего не забыл. О ногах можно не думать до завтрашнего утра. Правая рука тоже, к счастью, сошла. К счастью, конечно, потому что Мира могла бы, мягко говоря, сконфузиться, если бы после рукопожатия у нее в руке осталась бы пустая перчатка. Остается левая рука. Я пощупал ее. Кожа слегка поддалась, но сдирать ее силой мне не хотелось, так как сама по себе она сходит совершенно безболезненно. Лицо должно сойти очень и очень скоро, хотя, возможно, мне удастся продержаться до ухода Миры, если я не буду много смеяться.

Обеими руками я сжал шею и помассировал ее. Это помогло; кожа упала на пол. Нужно надеть гал-

стук, тогда Мира не заметит неровного края старого слоя кожи над воротником.

Я вздрогнул, когда раздался звонок в дверь, и вскочил на ноги. Тут же от меня отвалился кусочек кожи. Я спрятал его под диванную подушку и пошел открывать. Возле двери угрожающе скрипнуло ухо. Я расправился с ним, засунул в карман и отпер дверь.

— Дэвид! — сказала Мира, выражая единственным словом, что она рада мне, что мы не виделись целых восемь месяцев, что у нее все в порядке, что надо было, наверное, написать, но я, мол, прощу ее — ведь она никому не пишет писем, такое у нее правило.

Мира повернулась ко мне спиной, легким движением сбросила плащ, зная, что я сразу подхвачу его, чтобы повесить на вешалку, прошла в комнату и уселась на коврик на полу, поджав под себя ноги. Только после этого она взглянула на меня.

— Дэвид, иди скорей сюда! Ты замечательно выглядишь. А морщин-то сколько! Милый мой, ты чересчур много работаешь. А как ты находишь меня? Правда, у меня цветущий вид? Смотри, у меня новые туфли. Между прочим, из змеиной кожи. Кстати, о змейках. Как дела?

— Кстати о змейках, Мира. Я рассыпаюсь на части. От меня периодически отлетают маленькие кусочки, как только дунет ветер. Мира, у меня что-то с кожей.

— Это ужасно, — рассеянно проговорила Мира. — А это не из-за меня? Ты не ради меня худеешь? Да, жениться на мне ты по-прежнему не можешь. Это на случай, если ты хотел спросить.

— Спрашивать я не собирался, но знать все-таки не мешает, так что спасибо. — В этот момент мое ли-

цо отвалилось, я быстро поймал его и спрятал под полу пиджака. Слава Богу, Мира ничего не заметила! Значит, несколько часов я могу быть спокоен. Осталась только левая рука. Вот бы и от нее втихую избавиться! О-о!.. И она уже сошла!

Может быть, она осталась на дверной ручке. Не надо, чтобы Мира ее видела.

Я вышел в прихожую и огляделся. Руки нигде не было. Может, она валяется в комнате, на полу, рядом с Мирой? Мне уже почему-то не хотелось, чтобы она завизжала. Я люблю, когда она... счастливая. И в тысячу первый раз с той минуты, когда я получил свой злополучный порез, я прошептал:

— О Боже, ну почему это должно было произойти со мной?

Я быстро вернулся в комнату. Мира все так же сидела на полу, правда, она переместилась поближе к лампе. В руках у нее была моя рука. Жаль, что вы не видели, какая улыбка играла на ее губах. Язык мой прилип к гортани. Я ожидал чего угодно, только не этой безмятежной улыбки. Я-то привык уже, но как Мира...

Она метнула на меня быстрый взгляд. Что-то птичье есть в ее манере вот так вот вскидывать голову. Она любит глянуть на человека и отвести взгляд через долю секунды. Удивительно, как много она при этом замечает. Вообще я должен сказать, что за ее легкомысленной внешностью щебечущей птички скрывается холодный и цепкий ум.

Мира поднесла руку — собственно, не руку, а полупрозрачную, словно целлофановую, перчатку — и посмотрела на меня сквозь пальцы.

— Привет, змееныш!

Она хихикнула, но я вдруг понял, что ей не смешно, а страшно, до смерти страшно, ей хочется плакать, ее хорошенькая мордочка искривилась, и я уже не назвал бы ее хорошенькой, а только милой, милой...

Она припала ко мне и прошептала:

— Дэвид, что же нам теперь делать?

Я притянул ее к себе, не зная, что сказать, но она не ждала моего ответа, она бормотала сама:

— Дэвид, она и тебя укусила, да? О, эта т-тварь меня укусила! Индусы ей поклоняются. Они г-говорят, что ее укус превращает человека в з-змею... Я испугалась... И с тех пор я меняю кожу раз в сутки... И так всю жизнь... — Она прижалась ко мне. Голос ее звучал теперь чуть спокойнее, совсем чуть-чуть. У нее красивый голос. — Я не убила змею, я подумала, что тебе захочется посмотреть на такую редкость, и вот я ее тебе прислала, а она укусила и тебя, и твоя кожа... О-о-ох!

— Не надо, Мира. Пожалуйста. Змея не кусала меня. Я снимал с нее кожу и порезался. Сам. Змея была мертва, когда я заразился. Значит, это ты ее прислала! Надо было мне сразу догадаться. При посылке не было никакого письма. Конечно, это ты! И давно это с тобой?

— Четыре месяца. — Она всхлипнула и ткнулась розовым носиком в лацкан моего пиджака, так как в моем нагрудном кармане не нашлось носового платка. — Я успокоилась, когда оказалось, что это ... не больно. И я знала заранее, когда какие части отпадают. Я думала, это со временем пройдет. А потом в Альбукерке в одной витрине я увидела твою руку. Ремень с такой пряжкой — человеческая рука сжимает

палку, когда пряжка застегивается. Я эту штуку купила и все поняла, потому что от руки пахло препаратами, которыми ты консервируешь кожу для чучел, и вообще только ты мог такую пряжку придумать, только тебе могло прийти в голову использовать собственную кожу, раз уж... появилась такая возможность. Я ненавидела себя, Дэвид, и любила тебя... за это. — Она отстранилась и посмотрела мне в лицо; в глазах ее светилась изумленная радость. — И сейчас я люблю тебя, я раньше никого не любила, и мне все равно... — Она покрутила мое ухо, и кожа зашуршала под ее пальцами. — Что ты рассыпаешься, — весело закончила она.

Тогда я понял все. Безумная страсть к приключениям привела Миру в пустыню. Она попала в такое место, где природа не испытала воздействия человеческой цивилизации, где обитают те же виды животных и растений, что и миллионы лет назад. Она обнаружила неизвестную змею и решила мне ее подарить, решила, что подобный сувенир как раз для меня, таксидермиста и ювелира в одном лице. Мира сумасшедшая. Змея укусила ее, а она никому не сказала ни слова, потому что ей, видите ли, не было больно. А потом она узнала, что та же беда приключилась со мной, и примчалась в Нью-Йорк, чтобы признаться, что она во всем виновата!

— Если так, Мира, — твердо сказал я, — тогда мне нет дела до этой сушеной дряни. Змейка ты моя подколодная! И я поцеловал ее.

Сброшенная человеческая кожа — поразительная штука. Раз в двадцать четыре часа, минута в минуту, эпидермий твердеет и отваливается. Она на удивле-

ние прочная, эта кожа. Ступни, например, остаются в туфлях, идеально сохраняя при этом форму. Если немного помять эту омертвевшую оболочку, на ней появляется сеть мелких сгибов, и она становится мягкой и податливой. С ногтей отваливается верхний слой. После обработки дубильной кислотой и пальмовым маслом мертвая кожа делается прочной и совершенно прозрачной. Потом ее можно покрыть шеллаком, добавить чуть-чуть масляной краски, и тогда она приобретает коричневый цвет с темно-золотистым, как на портретах работы Ван Дейка, оттенком. Выходит, заболев этой странной болезнью, я одновременно приобрел чудесный материал.

Вот она, наша змейка... Фута четыре в длину, середина туловища несколько тоньше, чем передняя часть и хвост. Кожа у нее оранжевая, матовая; брюшко чуть темнее, чем спина. В темноте она заметно светилась. Змея издавала довольно сильный запах, такой, как будто мед смешали с муравьиной кислотой. Впрочем, я, наверное, неясно выражаюсь. У нее два ядовитых зуба, причем один на голове сверху, а другой — под нижней челюстью. Язык змеи раздваивается только у корня. У нее имеется надгортанник и семь пар рудиментарных конечностей. Чешуи на коже нет. Я называю это существо змеей лишь потому, что на змею оно больше всего похоже. Вот Мира, к примеру, ведь она, в сущности, ангел, но женщиной-то ее называть можно. Понимаете, о чем я говорю? У этой змейки много странностей, и я готов поклясться, что предки ее жили не на этой Земле.

Мы с Мирой стояли, держась за руки, смотрели на нее и думали, что бы с ней сделать.

— Давай показывать ее за деньги, — предложила Мира.

— Никто не поверит, что это не подделка, — возразил я. — Может, продадим самих себя Медицинской ассоциации?

Мира поморщилась, и кожа с ее носика упала на пол. Идея насчет Медицинской ассоциации Мире не понравилась.

— Дэвид, что будем делать?

Она задала этот вопрос таким тоном, словно была уверена, что я знаю ответ и ответ этот единственно правильный. Многие женщины используют этот прием, и действует он безотказно.

— Ну, можно, скажем...

Я не договорил, потому что услышал тяжелые удары в дверь.

Только у одного типа живых существ в этом мире не хватит мозгов на то, чтобы заметить кнопку электрического звонка и колотить что есть силы в дверь. Живые существа этого типа обычно служат в полиции. Я велел Мире оставаться в комнате, и она, естественно, вышла вслед за мной в прихожую. Я открыл дверь. На пороге стоял человек в сером костюме. И выражение его лица было таким же серым.

— Вы — Дэвид Уорт? — осведомился посетитель.

Я предложил ему войти. Он вошел, сел, не дожидаясь приглашения, и взглянул на бутылку виски. Надежда в его взгляде сквозила, но очень слабая.

— Меня зовут Бретт, — представился он и протянул мне визитную карточку.

На карточке действительно значилось: «Х. Бретт».

— Х. означает Хам? — невинно спросила Мира.

— Не-а. Хорас. Почему Хаим? Я разве похож на еврея? — Говорил он так, словно рот его был до отказа набит жевательной резинкой. Такого забавного выговора я не встречал ни у кого. — Значит, так. Мы тут заинтересовались вашими чучелами, мистер Уорт. Вы ведь таксидермист?

Этот человек еще и сильно грассировал.

Я утвердительно кивнул.

— Очень похоже, что вы делаете свои чучела из человеческой кожи. Откуда у вас материал?

Я молчал.

— Анализ показал, что вы используете человеческую кожу. Что на это скажете?

— Это верно, — сказал я, переглянувшись с Мирой.

Такого ответа Бретт явно не ожидал.

— Ха! — воскликнул он, опомнившись. Он уже предвкушал грядущий триумф. — Так где вы ее берете?

— Я ее выращиваю.

Мира принялась вышагивать по комнате. Она всегда расхаживает, когда получает удовольствие. Бретт же взял в руки шляпу и уставился на нее так, словно только этому неодушевленному предмету он мог доверять в нашем безумном мире. Я даже пожалел его.

— Мистер Бретт, какого рода анализы вы провели? Вы исследовали образцы под микроскопом?

— Угу.

— А кислотно-щелочной состав исследовали?

Бретт кивнул.

— Скажите, пожалуйста, в вашем распоряжении были руки?

— Да. И пара ступней. Вам крышка.

— Дорогой, тебе всегда особенно удавались ноги, — промурлыкала Мира.

— Давайте сделаем так, — сказал я, взял лист промокательной бумаги, капнул на него чернилами, приложил к пятну подушечки пальцев, после чего аккуратно прижал их к чистому белому листу. Отпечатки получились великолепные. — Вы отвезете эту бумагу вашим высокоученым мужам, страдающим, как я вижу, болезненной подозрительностью, и предложите им сравнить мои отпечатки с папиллярными линиями чучел. Проделав это, они напишут отчет и предложат вашему начальству закрыть дело. Если вы не согласитесь на мое предложение, я подам в суд на вашу службу и на вас лично за клевету. А теперь, мистер Бретт, я не стану держать на вас зла, если вы покинете мой дом не попрощавшись.

С этими словами я встал и распахнул перед ним дверь. Мира подпрыгнула на месте и захлопала в ладоши. Бретт — его взгляд сделался совсем мутным — осторожно обошел ее и вышел из квартиры. Я хотел было захлопнуть дверь, но он повернулся на каблуках и придержал дверь носком ботинка.

— Послушайте, я не понимаю, что тут происходит, так? В общем, вы и та дама, вы оба, даже не думайте отсюда смыться, так? За квартирой будут следить. Вы обо мне еще услышите! Так!

— Сам ты тик-так, — сказала Мира и швырнула в лицо ищейке свой «нос». Увы, я не успел ее остановить. Бретт отшатнулся так стремительно, что его шляпа осталась в воздухе.

Мира трижды прошлась по комнате, танцуя от полноты чувств, затем взгромоздилась на пианино и принялась сдирать кожу с лица.

Заговорил я не сразу — мне требовалось время, чтобы опомниться. Наконец я выговорил:

— Думается мне, ты повела себя неправильно. Но я тебе все равно благодарен. Теперь инспектор Хам Хорас Бретт едва ли сунется сюда еще раз.

Повинуясь ее жесту, я перебросил ей сумочку, и она с чисто женской ловкостью принялась красить губы и пудрить нос. Закончив, она объявила:

— К черту старое. Да здравствует новая жизнь!

— Отныне тебе никогда не придется прибегать к услугам косметички, — заметил я, а Мира посмотрела на себя в зеркальце и рассеянно бросила:

— Недурственно. Мира помолодела.

Я долго смотрел на нее, долго думал о ней, и вдруг меня озарило. Так бывает порой, когда внезапно приходит осознание любви.

— Мира...

По-моему, она собиралась в очередной раз сострить, но передумала, взглянув на меня. Вместо этого она спрыгнула с пианино и приблизилась ко мне.

Мы долго стояли, глядя друг другу в глаза.

— Ты будешь спать там. — Я кивнул в сторону спальни. — Я...

Она обвила меня руками.

— Дэвид...

— М-м-м?..

— В двенадцать сорок восемь я смогу предложить тебе свежее тело.

После этого мы сидели и болтали ровно до двенадцати сорока восьми.

Мира объявила войну моим занятиям в лаборатории недели через две после того, как мы стали мужем и женой. Однажды после обеда она прокралась ко мне и поймала меня с поличным. Я помешивал в

мензурке густую жидкость и принюхивался. Я был настолько поглощен работой, что не услышал, как она вошла. Мира при желании умеет двигаться бесшумно, как кошка.

— Что это тут варишь, дорогой? — проворковала она, кладя на стол пару прекрасных рук, которые она только что... произвела на свет.

Я отставил мензурку и пробормотал:

— Да так, интересуюсь одним веществом... Мира, не надо вопросов, очень тебя прошу. Я занят...

Мира подошла ко мне и взяла мензурку в руки.

— Так-так, интересно. Ф-фу! Пахнет медом и... муравьиной кислотой. Значит, идешь к разгадке тайны от запаха. Доктор Дэвид Уорт желает изобрести лекарство, которое закроет золотую жилу. Признавайся, ты готовишь противоядие? — произнесла она приторно-сладким тоном.

Мне оставалось только собраться с духом и признаться.

— Да. Мира, пойми, мы не можем так дальше жить. Я думаю не о себе. Я не хочу, чтобы ты всю оставшуюся жизнь сбрасывала кожу... как змея. Сейчас ты даже получаешь от этого удовольствие, но я не могу этого допустить. Ты чересчур легкомысленна, Мира. У меня тяжело на душе, когда я прихожу сюда и делаю что-нибудь из твоей кожи. До сих пор ничего страшного не случилось, но ты только представь! Всю жизнь тебе нужно будет прятаться, думать, не попадется ли что-нибудь кому-нибудь на глаза. А вдруг ты окажешься не дома в критический момент! Будешь судорожно вспоминать, где ты оставила лицо или руку. Ты же... Мира, ты меня не слушаешь!

— Я никогда не слушаю, когда при мне несут ахинею.

— Это не ахинея! — взвился я.

— Интересно, — нараспев проговорила Мира, — эта штука из прочного стекла?

Она разжала пальцы, и мензурка полетела на пол. Выяснилось, что она была сделана не из самого прочного стекла. Я промолчал лишь потому, что все слова, что приходили мне на ум, казались недостаточно крепкими.

— Выслушай меня, Дэвид. Сколько лет ты занимаешься чучелами?

— Одиннадцать. А что?

— И сколько денег ты накопил за одиннадцать лет?

— М-м... Пока ничего, — признался я. — Но в последнее время дела улучшаются...

— Помолчи. На счету у тебя восемьсот с чем-то баксов. Твои изделия из натуральной кожи идут нарасхват. И вдруг ты забрал себе в голову, что мне не нужно отдавать тебе свой... вторичный продукт, и хочешь перекрыть себе кислород. Ты намерен опять делать белок и птичек, я правильно поняла? Дэвид, ты кретин. Толстокожий кретин.

Я поморщился.

— Неудачный каламбур.

Мира вздрогнула.

— Дэвид, я говорю серьезно. Мы с тобой больны одной болезнью и можем отлично на ней заработать, если ты не будешь упрямиться, как осел. И мне нравится, что мы с тобой стали партнерами — ведь я тебе помогаю. Я люблю тебя, и для меня очень важно знать, что я тебе полезна. Дэвид, да разве ты сам не видишь?

Я поцеловал ее и прошептал ей на ухо:

— Я-то думал, что ты из спортивного интереса... Ну, геройствуешь вроде бы...

Я сдался. Мира одержала победу. Женщины умеют брать верх. И все-таки я не окончательно оставил мысли о создании противоядия.

Относительно несгибаемого инспектора Бретта я ошибся. Мира довольно быстро обнаружила, что он повсюду таскается за нами, а когда мы сидим дома, его машина часами торчит на противоположной стороне улицы. Более того, Бретт время от времени подслушивал под нашей дверью. Сам я ничего бы не заметил. Я, кажется, уже говорил, что Мира обладает сверхъестественными способностями. Когда она рассказала мне про Бретта, я сначала отмахнулся. Улик против нас нет. Я хохотал от души, представляя себе лица полицейских экспертов в тот момент, когда они установили, что мои отпечатки идентичны отпечаткам пальцев «рук», выставленных в магазинах. Невероятно, но факт: налицо десятки образцов человеческой кожи с абсолютно одинаковыми отпечатками пальцев. Что могли чувствовать полицейские? Наверное, то же, что чувствовали математики, когда была опровергнута аксиома Евклида о том, что две точки может соединять одна-единственная прямая. Мне удалось опровергнуть аксиому об уникальности отпечатков пальцев. Теперь, думал я, ученые криминалисты ходят по кругу день и ночь и бормочут себе под нос что-то невразумительное.

По всей вероятности, Бретт поставил перед собой цель выяснить истину. Я радовался, понимая, что он бьется лбом в глухую стену. Еще больше я буду радо-

ваться, когда он успокоится и отстанет от нас. Но от Миры я не мог ожидать такого же равнодушия. Когда она говорила об этом одержимом, я замечал в ее глазах нехороший блеск.

Между тем я продолжал работать над лекарством. За спиной Миры, отчего мне было, должен признаться, чрезвычайно неуютно. Она мне доверяла, понимаете? У нас на этот счет было всего одно столкновение, и я вроде бы уступил. Этого было ей достаточно, она уже не следила за мной, когда я уединялся в лаборатории. Если бы она каким-то образом узнала, что я ее, что ни говори, обманываю, то была бы оскорблена. Но у меня был небогатый выбор: или действовать, или сойти с ума.

Я знал, с чего начать. Нет, не с меда и муравьиной кислоты, хотя я не сомневался, что некоторые ингредиенты, входящие в состав этих веществ, имели самое прямое отношение к нашей странной болезни. Я мог бы в двух фразах изложить, в чем здесь дело. Но... Неужели вы думаете, что я поделюсь с вами своим открытием? Конкуренты на рынке мне не нужны.

Подход мой основывался вот на чем: волосы не выпадали! У меня небольшие усики. Так вот, когда лицо сходило, усы оставались на месте. Волос на теле у меня всегда было очень мало; теперь их не осталось вовсе. Так вышло из-за того, что волосяные луковицы на теле расположены не столь компактно. Сначала я думал, что причина в физических особенностях строения корней волос. Однако вскоре до меня дошло, что если бы дело обстояло так, под моими усами образовывались бы новые и новые слои кожи. Ничего подобного. Следовательно, по-

разительный процесс отслоения и регенерации под волосяным покровом не происходил, и препятствовали ему какие-то вещества, входящие в состав корней волос. Проведя определенные исследования, я установил, какие именно вещества играли здесь первостепенную роль, но вы этого никогда не узнаете! Я себе не враг!

Несколько месяцев я работал, как проклятый. Как однорукий пианист, исполняющий Мендельсона. Я проводил реакции, испытывал разные катализаторы, и в конце концов синтезировал жидкость ярко-золотистого цвета. Что это была за жидкость? Извините за назойливые повторения: не скажу. Хотя могу намекнуть: галлон этого вещества можно купить в любой аптеке. Просто никому не известно, что оно служит панацеей от моей болезни — если только ЭТО можно назвать болезнью, — поскольку до нас с Мирой с такой хворью не сталкивался никто из живущих. Аминь.

Затем я занялся исследованием веществ, вызвавших болезнь. Как я уже отметил, больше всего меня сбивала с толку простота ответа.

Наконец у меня было все, чего я добивался так упорно. Один укол — и болезнь вступает в свои права. Протереть кожу лосьоном — и болезнь уходит. Я приготовил по десять галлонов каждого вещества (это было нетрудно, ведь я знал химический состав) и крепко задумался о том, каким образом я поделюсь своим открытием с Мирой.

— Кошечка моя, — сказал я ей однажды, — сегодня мне понадобится твое лицо. Буду делать маску, и все материалы должны быть под рукой. Твое лицо

сходит в восемь сорок пять, верно? Приходи в лабораторию к половине девятого. Я нанесу на лицо слой глины, она успеет затвердеть, а когда кожа сойдет, я набью маску и смою глину. Умно придумано?

— От гордости не лопни, — фыркнула Мира.

Я честно замесил глину, хотя знал, что она мне не понадобится, а если и понадобится, то не для создания маски. Чувствовал я себя препаршиво.

Она вошла в лабораторию ровно в восемь тридцать, вошла так непринужденно, словно вовсе не смотрела на часы. Ох уж мне эти женские уловки! Она уселась в кресло, я смочил марлю целебным лосьоном и тщательно протер ее лицо. Лосьон впитывался моментально.

Мира улыбнулась.

— Что это такое?

— Так надо, — проворчал я.

— Ну-ну. Пахнет...

— Тихо. Нас могут подслушать.

(Это специально для вас, читатель!)

Я очутился за ее спиной. Она откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. О, Мира была очаровательна! Я наклонился, поцеловал ее в губы и завел ее руки за спину. Дальше я не терял ни секунды. В руках у меня уже была полоса прочной ткани с петлями на обоих концах. Я стянул запястья Миры и зацепил одну из петель за заднюю ножку кресла. Вторую петлю я закрепил над головой Миры.

— Не шевелись, родная, — сказал я шепотом. — Тогда все будет в порядке. Если будешь метаться, задохнешься.

Я поставил часы так, чтобы Мира могла их видеть, и вышел из лаборатории; мне не хотелось слышать от

любимой женщины те слова, которыми она меня характеризовала.

Утихла она минут через десять.

— Дэвид!

Я не услышал.

— Пожалуйста, Дэвид!

Я подошел к двери.

— Дэвид, не знаю, что у тебя на уме. Но мне все равно. Встань передо мной, чтобы я тебя видела. Я... Мне страшно.

Тут я допустил ошибку. Мира никогда не испытывает страха. Я обошел кресло и встал перед ней. Она улыбнулась. Я приблизился. И она ударила меня ногами в живот.

— Вот тебе, сволочь, за то, что меня привязал. А теперь отвечай: *чего ты добиваешься*?

Я сказал — когда поднялся с пола и отдышался настолько, чтобы заговорить:

— Сколько сейчас времени, свет очей моих?

— Десять минут... Дэвид!!! Дэвид, что ты наделал! Какой же ты дурак! Я же говорила... Дэвид!

Второй и последний раз в жизни она плакала на моих глазах. Десять минут девятого, а лицо ее все еще на месте. Я вылечил ее! Во всяком случае, кожу лица. Я отошел за спинку кресла — там я был в безопасности.

— Мира, прости, что я так обошелся с тобой. Я знаю, что ты думала про мою затею с лекарством. Я видел, что не смогу тебя уговорить. Мне ничего другого не оставалось. Ну, моя упрямая жена, кем ты теперь меня считаешь?

— Ты скотина. Умная, но все равно скотина. Развяжи меня. Я от души улыбнулся.

— О нет. Нам предстоит второй акт. — Я подошел к рабочему столу и наполнил шприц. — Теперь не шевелись, родная. Игла у шприца тонкая, не хотелось бы ее сломать.

Я смочил лосьоном ее щеки, чтобы действие инъекции не распространилось за пределы лица.

— Надеюсь, у тебя благие намерения, — процедила Мира сквозь стиснутые зубы, в то время как я вводил иглу в подбородок. — Ой! — воскликнула она через несколько секунд. — Чешется!

Лицо Миры вдруг покрылось густой сеткой морщин. Я оттянул кусочек кожи на лбу и осторожно ее снял. Мира долго таращилась на меня, затем тихо сказала:

— Я не могу тебя поцеловать, мой чудотворец. Развяжи меня.

Я послушался. Мира тоже выполнила свое обещание, после чего мы прошли в соседнюю комнату, где она могла сколько угодно скакать от радости, и я мог не опасаться, что она разобьет какую-нибудь ценную склянку.

Внезапно она замерла, не завершив очередного пируэта.

— Дэвид, нам необходимо развлечься.

Она села на пол и стала истошно орать. Мощь ее легких я сразу же оценил.

Через полминуты по лестнице простучали шаги, такие же невыразительные, как и лицо того, кто поднимался к нам.

— Именем закона, откройте! — прорычал Бретт.

Этот человек обладал редкостным даром мямлить даже тогда, когда кричал во весь голос.

Мира тут же вскочила и побежала открывать.

— О, мистер Бретт! Мы очень рады. — Теперь она была радушной хозяйкой дома. — Проходите, пожалуйста.

Бретт непонимающе воззрился на нее.

— Что здесь происходит?

Невинный взгляд Миры может обезоружить кого угодно.

— А в чем, собственно, дело, мистер Бретт?

— Это вы кричали?

Мира уверенно кивнула.

— Да. Я люблю покричать. А вы?

— Нет. Что за глупые шутки?

— А, присаживайтесь, пожалуйста, я вам все расскажу. Вот сюда. Выпейте, прошу вас. — Она налила полный стакан чистого виски и протянула эту чудовищную порцию Бретту. — Пейте до дна. Мы давно хотели с вами повидаться.

Бретт неуверенно покосился на нее.

— Не знаю, удобно ли... Ну ладно, спасибо, миссис Уорт.

Он опрокинул стакан. Он выпил все до последней капли. Да, этот виски заслуживал своей репутации. Глаза Бретта немедленно выкатились из орбит. Он дважды моргнул и с сожалением отставил стакан. Мира тут же наполнила его снова, знаками показывая, что мне не следует вмешиваться. А у меня и охоты не было. Когда Мира действует в такой вот решительной манере, все прочие должны слепо выполнять ее указания и ждать, что будет.

Она ловко заставила Бретта рассказывать о своей жизни. Через каждые две сотни слов он опустошал стакан. В какой-то момент Мира перешла с чистого виски на коктейль «Три-два-один»: на три пальца —

виски, на два — джина и на один — содовой. Этот коктейль она обожала готовить для других, но не для себя. К тому же на сей раз содовую заменил ром. Мне снова стало жаль Бретта.

Через полтора часа он раскинул руки, сказал «мама!» и уткнулся лицом в колени.

Мира оценивающе посмотрела на него и поцокала языком.

— Жаль, у меня не нашлось снотворного.

— Что теперь? — шепотом спросил я.

— Тащи свой шприц.

— Нет, Мира, погоди, мы не можем...

— Почему это? Дэвид, он же ничего не узнает. Слушай...

Она посвятила меня в свой план. Я оценил идею, принес шприц, и мы приступили. Мы не пожалели отравы, сделали инспектору уколы во все части тела. Он спал, как младенец, не вздрагивая даже тогда, когда у меня или у Миры вырывался смешок. Мы в красках воображали себе, что будет дальше... Определенно, его стоило пожалеть!

Обработав его по полной программе, мы раздели его и уложили на диван. Я смазал его лосьоном с головы до пят, чтобы к утру он был как новенький. Остаток ночи мы с Мирой провели в лаборатории вдвоем.

Закончив работу, мы отнесли конечный продукт в гостиную. Дыхание Бретта уже не было затрудненным; он оказался-таки крепким мужчиной. Мира на цыпочках подошла к дивану и поставила у изголовья будильник. Дверь в лабораторию мы оставили приоткрытой, чтобы наблюдать за дальнейшим развитием событий.

Лучи восходящего солнца осветили шедевр наших совместных усилий.

Будильник взорвался внезапным звоном. Бретт заворочался, застонал, повертел головой, пошарил рукой у изголовья, пытаясь заставить часы замолчать, но только сшиб их на пол. Звон продолжался. Тогда Бретт застонал и разлепил веки. Сначала его взор обратился к окну. Он явно старался понять, что же с ним произошло. Я почти слышал, как скрипит его мозг, трудясь над неразрешимой задачей. Будильник наконец замолчал. Бретт приподнял голову и стал осматриваться. Потолок, стены...

В самом центре комнаты стоял полицейский инспектор Хорас Бретт в сером костюме. Бляха его сверкала на солнце. Он плотоядно улыбался. В руке он держал пистолет, направив дуло на лежащего на диване человека. Десять долгих секунд они смотрели друг на друга: человек, страдающий от похмелья, и чучело, изготовленное из его собственной кожи, целящееся из пистолета ему между глаз. А потом Бретт вскочил.

Со сверхсветовой скоростью он промчался мимо точной своей копии, пролетел сквозь дверь (я говорю «сквозь», так как он, похоже, не стал задерживаться, чтобы открыть ее) и с воплями помчался по лестнице. Я бы ни за что не догнал его, если бы он не забыл, что ему нужно преодолеть не четыре лестничных марша, а только три, и не врезался в стену. Я поймал его и отвел в квартиру, и любопытные соседи не успели высунуться.

Когда мы с Бреттом вошли, Мира корчилась от хохота на полу. Впрочем, она тут же поднялась и поцеловала точную копию Бретта, которая, разумеется,

не опустила пистолета, и обратилась к ней с нежными словами, которые ей следовало бы приберечь для меня.

Как могли, мы обласкали беднягу Бретта и успокоили его; он даже протрезвел. Сначала он был мрачен, потом принялся рассыпаться в благодарностях. Надо отдать ему должное, он вел себя как спортсмен. Мы все ему объяснили. Брать с него подписку о неразглашении было бы излишне. Мы по-доброму обошлись с ним. Если бы я не вернул его, он явился бы на работу в нижнем белье.

Итак, наша болезнь оказалась благом, а не бедствием. Наш бизнес разворачивается удивительно быстро. Разумеется, действуем мы под пристойным прикрытием. В частности, в бутике Миры есть потайная комната, предназначенная для богатых клиенток. Мира сначала накладывает на лицо клиентки разнообразные кремы, дабы избежать лишних волнений, потом делает укол. Кожа сходит с лица за несколько минут и летит в ведро; несколько позже Мира переправит ее мне, где ею займутся мои помощники. Состоятельная дама уходит помолодевшей, посвежевшей, с идеально гладкой кожей, и ждет дальнейших известий. Я пару раз встречаюсь с ней (для пущей важности я называю эти встречи сеансами), навожу тень на плетень и, спустя какое-то время, присылаю ей маску, отличающуюся совершенным сходством и полным соответствием истинным пропорциям лица. Бедная модница никогда не узнает, какой кошмарной обработке подвергся ее организм. Дело наше поставлено на широкую ногу. Деньги мы гребем лопатой.

Конечно, в нашем деле, как и во всяком другом, есть свои издержки. Трижды в неделю к нам приходит некий полицейский инспектор. Ему нравится хорошо выглядеть, и в течение тридцати секунд ему оказывается желаемая услуга. Кстати, его изображение все еще украшает нашу гостиную, только теперь оно грозит нам игрушечным пистолетом. Мне жаль его, честное слово.

Ночные гости

Мы хотели пошутить, честное слово. Мы хотели всего лишь разыграть ее. Мы — это я и Томми. Томми — радиоинженер, причем не из последних, я-то знаю. Ну да, он рассеянный, он может явиться на работу в разных ботинках, может в кафетерии опустить чек в кофе, но дело свое знает, у него первоклассное оборудование и он увлекся моей идеей. А что? Какой мужчина устоит перед соблазном шарахнуть по мозгам Мириам Йенсен?

Должен вам сразу сказать: у Мириам стальные нервы. Так-то она очень милая; на нее приятно смотреть, у нее легкая походка, говорить с ней — одно удовольствие. Она брюнетка, довольно высокая; ну, вы такой тип женщин знаете. Головка маленькая, шея довольно длинная. И мозги у нее есть, причем она умеет ими пользоваться. На что хотите готов спорить, что сердце у нее бьется с частотой два удара в минуту, а три бывает только после тяжелой физической нагрузки. Мне как-то пришло в голову, что я мог бы стать ее супругом, но она меня переиграла, представляете? Как вы думаете, что она мне ответила, когда я попросил ее нежнейшей ручки? Что она согласна быть мне сестрой? Что мы не подходим друг другу? Или ей было лень произносить несколько слов сразу, и она ограничилась выразительным «нет»? Ха! Она заявила: «Билл, ты прелесть. Тебе раньше женщины

Пер. изд.: Sturgeon T. The Haunt: в сб. Sturgeon T. Starshien. — New York: Pyramid Books, 1966.

не говорили, что ты прелесть?» И захихикала. И ушла, а я остался стоять с открытым ртом. И вот тогда я поклялся себе, что вышибу из нее высокомерие, чего бы мне это ни стоило. Если бы для того, чтобы сбить с нее спесь, мне пришлось бы ее прикончить, я бы и на это пошел, ей-богу.

Я вернулся домой (в те времена я обитал в меблированных комнатах), а в холле меня дожидался Томми. Я затащил его в квартиру, выставил на стол виски со льдом и битых полчаса плакался ему в жилетку — в переносном смысле, естественно. Он все это время тряс головой, что отрицательно сказывалось на его, с позволения сказать, прическе, и наблюдал за пузырьками, образующимися на поверхности кубика льда.

— И чего т-ты от меня х-хочешь? — спросил он, когда мои излияния подошли к концу.

— Я же тебе сказал — щелкнуть ее по носу! — воскликнул я. — Хорошо бы было, конечно, щелкнуть ее так, чтобы я от этого что-нибудь выиграл. Хотя я понимаю, что щелкнуть женщину по носу — не лучший способ завоевать ее сердце.

— Как знать, как з-знать, — протянул Томми. — Разные б-бывают женщины.

— Насчет этой женщины я твердо уверен, — проворчал я. — Нет, приятель, мне совершенно необходимо напугать ее до чертиков и тем самым сбить с нее гонор. Напугать, а затем, к примеру, спасти. Или показать, что я не боюсь того, чего боится она. В общем, ты понял.

— Короче, ты втюрился, Б-билл.

— Не будем сейчас обо мне, хорошо? Я обратился к тебе потому, что у тебя, как всегда считалось, име-

ются серые клетки. Предлагаю тебе устроить мозговой штурм.

Томми уставился в потолок. Когда ему вздумалось стряхнуть пепел с сигареты, он, естественно, стряхнул его на стол, в двух дюймах от пепельницы. Промахнулся.

— К-как ты д-думаешь, — процедил он минут через пять, — чего она м-может испугаться?

Я немедленно вскочил и стал расхаживать по комнате, усиленно морща лоб. Ответа на поставленный вопрос мне найти не удалось.

— Ничего она не боится, — вздохнув, признал я наконец. — Она способна прыгнуть в воду с шестидесятифутовой вышки, загнать дикого мустанга и тут же принять участие в авторалли по пустыне. Я же тебе говорю, если у Мириам и есть нервы, то они сделаны из чистого иридия.

— Она должна испугаться нечистой силы, — неожиданно изрек Томми.

— Нечистой силы? Привидений? — Я был ошарашен. — Гм-м... В этом что-то есть. Только как?..

— Очень просто, — перебил меня Томми и поставил почти пустой стакан на пол. Поставил — это значит просто выпустил из рук. — Мы устроим ей встречу с п-привидениями, а ты ее от них спасешь.

— Блестящая идея, — фыркнул я. — И как мы такую встречу устроим? Начертим магический квадрат и прочтем заклинание?

— Не-а. Нам нужен старый д-дом, громко... г-говоритель, п-проводка и цветные лампы, штук пять. Дом с привидениями я тебе г-гарантирую. Ты туда приведешь свою иридиевую п-подружку, а остальное я беру на себя.

— Это неглупо, Томми. — Это было именно то, что надо. Идея Томми настолько поразила меня, что я вспомнил о своем все еще нетронутом стакане виски. — Мириам будет в восторге, если отвести ее в опасное место. Только если она узнает об обмане, мне не поможет и сам Господь Бог.

Томми равнодушно взглянул на меня и ухмыльнулся.

— Это не мое дело, Б-билл. К-когда все будет г-готово, я к тебе загляну. Спокойной ночи.

С этими словами он поднялся, открыл дверь и вышел. Мне оставалось только поблагодарить его, вывести из ванной комнаты и довести до входной двери, так как сам он был явно не в состоянии найти дорогу. Это с ним случается.

Примерно неделю спустя Томми заявился ко мне с сообщением о том, что он подыскал подходящий дом и оборудовал его. Нечего и говорить, что я охотно согласился осмотреть его немедленно. Дом оказался особняком середины прошлого века, из тех, где высокие потолки, футов одиннадцать. Когда-то его окружал забор, от которого до наших дней сохранились покосившиеся колья. Зеленая краска под воздействием времени превратилась в серую, а жалюзи на окнах пребывали в столь плачевном состоянии, что я не берусь их описывать. Не знаю, где Томми раздобыл этот дом. Важно, что он его все-таки раздобыл — и оборудовал!

— У этого д-дома хорошая история, — втолковывал он мне. — Ч-четыре убийства и т-три самоубийства. П-п-последний хозяин умер в погребе от г-голода. Пошли.

Томми почему-то двинулся не к крыльцу. Он решил обойти дом вокруг, и я не преминул спросить его о причинах.

— В прихожей полно пыли, — объяснил он. — Там такой вид, как будто туда лет д-двадцать никто не заходил. Н-не нужно портить к-картину. — Он открыл крышку погреба. — Заползай.

Я заполз, и Томми втиснулся следом за мной. Затем мы долго брели куда-то, натыкаясь на кучи всякого хлама, и в конце концов оказались в аккуратно прибранной комнате.

— Видишь лампочки? — Томми гордо указал на нечто вроде диспетчерского пульта. — На к-каждой двери есть реле и фотоэлемент, так что я всегда буду знать, в к-какой вы к-комнате. Вот микрофон, а ф-фонограф вон там. Д-дом отапливается г-горячим воздухом. Я подношу г-г-громкоговоритель к трубе и включаю запись, т-тогда во всем доме будет слышно. Стоны и вздохи у меня первоклассные.

— Не сомневаюсь. — Я невольно заулыбался. — А скажи, для чего тебе знать, в какой комнате мы находимся?

— К-куда пускать подсветку, — ответил Томми и кивнул на другой пульт, где я увидел с полдюжины тумблеров и реостат. — Я некоторые стенки флуоресцентной краской покрасил. Если пустить на такую стенку ультрафиолетовый луч, краска будет светиться в темноте. Ты направляешь туда фонарь — и ничего нет. И еще у меня тут кое-где фотовспышки есть. Закачаешься!

— Закачаюсь, — подтвердил я.

— Значит, так, — принялся инструктировать меня Томми. — Ты проведешь свою ледяную куклу (на-

сколько я понял, так он непочтительно назвал Мириам) через парадный вход и проведешь по всем к-комнатам. Обязательно расскажи ей обо всех таинственных смертях. Я записал все истории. — Он протянул мне несколько листков с напечатанным на машинке текстом. — Что твоя Мириам увидит, ты теперь знаешь. Больше я для тебя ничего сделать не могу.

— Ты сделал немало, — заверил я и хлопнул Томми по спине. Его очки свалились с носа и разбились. Томми невозмутимо достал из нагрудного кармана другие очки и водрузил на нос. — Благодаря тебе ее лед быстро растает.

Томми дал мне еще несколько ценных указаний, после чего мы с ним совершили обзорную экскурсию по дому. Затем я отправился домой, чтобы как следует изучить перепечатанные Томми страшные рассказы. По дороге я думал о том, что Мириам ждет незабываемый вечер.

Два дня спустя я подкараулил Мириам на одной из тех вечеринок, которые Реджи Джонс любит устраивать для совершенно незнакомых ему людей (то есть приглашает он дюжину знакомых, а приходит человек пятьдесят), положил руку ей на плечо и прошептал на ухо:

— Ты выйдешь за меня замуж?

Не поворачивая головы, она откликнулась:

— Привет, Билл.

— Мириам, я задал тебе вопрос, — сказал я севшим от волнения голосом.

— Я же ответила: «Привет, Билл».

Ее плечо выскользнуло из-под моей руки. Мне оставалось стиснуть зубы и сохранять спокойствие.

— Тебе нравятся привидения? — спросил я как можно более небрежно.

— Не знаю. Я с ними не встречалась. Послушай, Билл, тебе случалось когда-нибудь приглашать девушку на танец?

— Нет, — отрезал я. — Обычно я сшибаю с ног всех девушек, которые со мной танцуют. А сейчас мне танцевать не хочется. Мне хочется поговорить с тобой о привидениях.

— Милая тема, — заметила Мириам.

Я кивнул Мириам в сторону канапе. Когда мы, протолкавшись сквозь толпу гостей, сели, я торжественно начал:

— В тысяча восемьсот пятьдесят третьем году домовладелец Иоахим Грандт — фамилия пишется с буквой «д» — был убит неизвестным лицом или лицами на первом этаже своего особняка на Гроув-стрит. По городу пошли слухи, что в доме нечисто. В результате состоятельные горожане не желали покупать этот особняк, и внучатый племянник покойного по имени Харрисон Грандт — эта фамилия тоже пишется с буквой «д» — решил провести там ночь, дабы опровергнуть россказни о нечистой силе. Наутро его обнаружил там некий Гарри Фортунато. Харрисон Грандт был задушен, причем вновь неизвестным лицом или лицами, точно таким же образом, как и его родич. Фортунато был столь озадачен своим открытием, что опрометью бросился прочь из дома и сломал шею на крыльце.

— Очень забавная история, — ровным голосом произнесла Мириам, — но все же не настолько, чтобы рассказывать мне ее на ухо жарким шепотом, тогда как мы могли бы танцевать.

— Дорогая моя! — взмолился я.

— Это слово тоже пишется с буквой «д», — вставила Мириам.

— Дай я расскажу тебе все до конца. После смерти Фортунато в том доме еще двое были убиты, а двое, как предположила полиция, покончили с собой. Причины смертей те же: удушье либо сломанная шея. Так что сейчас никто уже не сомневается, что над тем домом тяготеет проклятье. Там появляются призраки, слышатся потусторонние голоса и так далее, все как полагается. И я узнал адрес.

— Вот как? И какое же отношение все это имеет ко мне?

— К тебе? Видишь ли, я когда-то слышал, что тебя не может испугать ни человек, ни зверь. Вот мне и стало интересно, как обстоят дела с привидениями.

— Не пори чепуху, Билл. Все привидения обитают в головах дураков и выскакивают оттуда, когда дуракам хочется чего-нибудь испугаться.

— Я говорю о настоящих привидениях.

Мириам оценивающе оглядела меня.

— Может быть, ты их видел?

Я кивнул.

— Это лишний раз подтверждает мой тезис о дураках. Пойдем потанцуем.

Она приподнялась, но я удержал ее за запястье. Боюсь, это ей не понравилось.

— Железная леди, неужто вы откажетесь рискнуть съездить туда и во всем убедиться?

— Мне этого никто не предлагал.

— Мириам, я тебя приглашаю.

Обдумывая мое предложение, она уже не порывалась встать.

— Мысль неплохая, — наконец сказала она, причем сказала великосветски-рассеянно. — Поехали.

— Мы съездим туда и все увидим сами, — бормотал я. — Честное слово, мне хочется посмотреть, как у тебя волосы встанут дыбом.

— Давай-ка внесем ясность, — жестко сказала Мириам. — Мы с тобой на ночь глядя отправляемся вдвоем в пустой дом, чтобы поглазеть на призраков? Кого мы обманываем?

Она подмигнула мне.

— Никакого обмана! — решительно воскликнул я. — Даю слово!

Конечно, трюки Томми, в сущности, и были обманом, но подмигивание Мириам означало совсем не то.

— Значит, настоящие привидения, — промурлыкала Мириам. — Билл, если это глупая шутка...

— Миледи, я ни за что не стал бы шутить с вами, — заявил я так торжественно, что сам себе поверил.

Мириам поднялась на ноги и сказала мне:

— Жди меня тут. Я скажу Реджи, что мы уходим. Я вообще-то пришла с Роджером Сайксом, но ему о нашем путешествии знать необязательно.

Когда она отошла, я захихикал. Все точно, как в аптеке: именно в этот вечер Томми обещал ждать нас на Гроув-стрит. Я и надеяться не смел, что Мириам так охотно клюнет на приманку. Если мне удастся как следует ее напугать, может быть, мы отправимся во дворец бракосочетаний. Не исключено. Очень даже не исключено.

Она уже манила меня рукой. На ней было что-то обтягивающее и в то же время воздушное; не умею

объяснить, я все-таки не модельер. В общем, черное платье с широкой белой полосой на спине и на груди, а поверх него — черная накидка. Когда она двигалась, накидка развевалась на манер крыльев. Ах, какая женщина! Я завидовал самому себе — ведь это я проведу в ее обществе несколько часов!

Мы забрались в мой старый добрый «фольксваген», и я завел мотор. Мириам спросила:

— Так где это?

Краем глаза я наблюдал, как она кутается в свою накидку. Каждое движение — шедевр!

— Я же тебе сказал, — процедил я сквозь зубы. — Дом на Гроув-стрит, напротив свалки.

— Кажется, представляю себе, — отозвалась она. — Не жми на тормоза, ковбой. Всю жизнь я мечтала увидеть привидение.

Я уже слышал этот тон. В тот день, например, когда один ее приятель развлекался тем, что пытался набросить на колышек веревочную петлю. Мириам тогда отобрала у него лассо и сказала: «Джо, это не так делается. Смотри». И набросила петлю с первой попытки. И еще был случай в манеже, когда лошадь не справилась с препятствием и сломала ногу. На глазах у нескольких человек Мириам подобрала острый камень и прикончила животное. И еще объяснила: «А что мне оставалось? Идиоты, никто из вас даже не побежал за ружьем! Может, вы хотели, чтобы лошадь тут валялась целый час, корчась от боли?»

— Что у тебя за характер? — спросил я. Мириам непонимающе повернулась ко мне. — Ну почему тебя вечно тянет на авантюры? Почему бы тебе не научиться вязать?

— Я умею вязать, — сказала она таким тоном, словно говорила: «Не приставай».

И я не стал к ней приставать. До самой Гроувстрит я молча любовался ее профилем в изменчивом свете фонарей и думал о том, что подло с моей стороны так жестоко разыгрывать даму.

Мы подъехали к дому. Мириам выбралась из машины и замерла, не сводя глаз с особняка, который казался в приглушенном лунном свете особенно зловещим. Он смотрел на нас, угрюмо насупившись, словно старый опустившийся скряга, молча утверждающий свое право существовать на этой земле.

Через несколько мгновений Мириам стряхнула оцепенение и подошла к забору. Я не мог с уверенностью сказать, почему она остановилась: потому ли, что не решалась пройти дальше, или же просто поджидая меня. Так или иначе, мы подошли к крыльцу вместе.

Я с удовлетворением отметил, что Томми либо оставил машину на другой улице, либо приехал на такси. Я, честно говоря, немного волновался по этому поводу; Томми умен как черт, но порой не слишком предусмотрителен.

Взойдя на крыльцо, я тайком нажал на кнопку звонка. Никакого звука, разумеется, не последовало, зато я знал, что на пульте у Томми загорелась лампочка, известившая его о нашем прибытии. После этого я протянул Мириам один из запасенных мною фонариков и толкнул входную дверь. Но Мариам задержала меня.

— Пропусти вперед даму, — потребовала она и скользнула в дверь первой.

Пол в холле просел под ее ногами на добрых два дюйма. Она непроизвольно взмахнула рукой, чтобы

удержать равновесие, и повернулась ко мне, насмешливо улыбаясь.

— Билл, не отставай.

Ускорив шаг, я вскоре оказался в узком коридоре, в конце которого можно было разглядеть лестницу. Бросалось в глаза, что ступени этой лестницы были чересчур высокими.

— Э-эй! Кто-о-о-о зде-е-е-есь?

— Что? — одновременно вырвалось у Мириам и у меня.

Мы услышали не голос даже, а тень голоса, даже тень эха, но слышали мы именно то, что слышали.

— Я ничего не сказал, — прошептал я, и Мириам в унисон со мной:

— Я ничего не сказала. — И невозмутимо добавила: — Два варианта: мы здесь не единственные охотники за привидениями или же местные привидения не любят терять время. Оба варианта меня устраивают. Куда идем?

Я подумал, что первое впечатление Мириам могло бы быть и более сильным. Вслух я произнес:

— Начнем сверху.

Мы беспрепятственно дошли до лестницы и начали подъем, освещая себе дорогу фонариками, как оказалось, довольно-таки мощными. Когда мы миновали первый пролет, Мириам оказалась впереди, так как лестница в этом месте заметно сужалась, и идти рядом и дальше было бы непросто. Вдруг я заметил, что Мириам ступила на прогнившую доску, и подхватил ее, не дав ей скатиться кубарем с лестницы и сломать себе шею. Она же, не поворачивая головы, бросила:

— Спасибо, Билл. Я в долгу перед тобой.

И глазом не моргнула!

На верхней ступеньке я вдруг замер.

— Тс-с, Мириам. По-моему, я слышал, как кто-то смеется.

Мы оба затаили дыхание, стараясь уловить слабый звук.

— Это не смех, — прошептала Мириам.

Я еще раз прислушался и возразил:

— Смех. Судя по всему, кто-то смеется по такому поводу, по которому следовало бы плакать. Господи, это смех безумца!

Звук был тихий-тихий, едва различимый, но у меня не оставалось сомнений, что некто невидимый веселится от души. Мириам поморщилась, как будто от неприятного запаха. Я вытер мгновенно вспотевшие ладони о брюки. Ради всего святого, где мог Томми раздобыть такую запись?

На цыпочках мы миновали холл второго этажа, и Мириам толкнула ближайшую дверь. От колебания воздуха поднялась пыль, и из темноты поднялся неясный силуэт огромных размеров.

Звон и грохот.

Звон и грохот сзади и нечто невообразимое впереди. Я отпрыгнул вправо, Мириам — влево, и на долю секунды мы увидели пляшущую в лучах фонариков пыль. Мириам, надо отдать ей должное, опомнилась первой. Опомнилась, во всяком случае, настолько, что смогла посветить фонариком туда, откуда раздавался грохот. Всего лишь старая гравюра; она висела в коридоре и свалилась на пол, когда я протопал мимо, потому что гвоздь держался в прогнившей стене на честном слове. Стекло, конечно, разлетелось вдребезги. Опомнившись, я посветил фонариком в дверной проем и увидел

массивный письменный стол, покрытый пыльным белым полотном.

— Тут трудно соскучиться, а, Билл?

Мириам уже стояла рядом со мной.

Я закусил язык, чтобы не было слышно стука зубов, и попытался изобразить улыбку. Надеюсь, мне это удалось — благодаря скудости освещения. Мириам позволила мне войти в ту комнату первым; значит, она решила, что со мной все в порядке.

Ничего особенного мы там не заметили, если не считать двух сломанных стульев и несметного количества пыли. В глубине комнаты обнаружилась другая дверь. Я открыл ее и остановился на пороге, освещая фонариком черное пространство и ничего не видя. Мириам следовала за мной, поэтому я посторонился, чтобы дать ей пройти. Что-то тронуло меня за плечо...

Бам! Ку-ку! Бам! Ку-ку! Бам!

Мириам ахнула и вцепилась в мою руку так, что я выпустил фонарь, который, упав на пол, выкатился из помещения. Мириам же непроизвольно нажала на кнопку своего фонарика, и чернота ударила нас по глазам. Мои колени подогнулись, а моя хладнокровная подруга вцепилась обеими руками в мою голову — первый подвернувшийся ей предмет. И еще она пищала, как вполне взрослый цыпленок, вылупившийся из яйца целых два часа назад. А звуки не умолкали до тех пор, пока пальцы Мириам не оставили в покое мой висок и не нащупали кнопку, включающую фонарь. Тогда и выяснилось, что перед нами старинные часы с кукушкой. И эта самая кукушка лгала нам, будто сейчас одиннадцать часов. Наверное, я в темноте напоролся на маятник и привел механизм в действие.

Глупая деревянная птица уже успокоилась, а Ми-

риам все еще обнимала меня. Черт возьми, я был в неподходящем настроении. Затем Мириам отпустила меня и, вымучив улыбку, произнесла:

— Билл, это же нелепо. Давай посмеемся, а?

Я провел сухим языком по влажной от холодного пота верхней губе и отозвался:

— Ха-ха.

Мириам твердо сказала мне:

— Тот смех — это шум воды в трубах. Потом картина упала со стены, мы же все видели. Та... фигура — стол, покрытый пыльной скатертью. А последнее из твоих привидений — часы с кукушкой. Верно?

— Верно.

— Тогда объясни мне, что означает: «Эй, кто здесь?» Мы ведь это услышали, когда вошли.

— Игра воображения, — быстро ответил я. — Хотя могу поклясться, что мне это не пригрезилось.

— Значит, пригрезилось мне, — не сдавалась Мириам. — По-моему, хватит с нас обоих привидений.

На ее кривую улыбку в эту минуту стоило посмотреть.

— Наверное, хватит, — согласился я и поднял фонарь. Пальцы меня не слушались, но каким-то непостижимым образом мне все же удалось отвинтить защитное стекло и заменить лампочку. — Кстати, а там тебе случайно ничего не грезится?

Я указал, где именно. Мириам мгновенно повернулась.

Ей «пригрезилось» очень бледное пятно света на стене. Мгновение назад ее фонарик освещал противоположную стену, в ином случае я бы ничего не разглядел. Я смотрел не дыша на стену; в очертаниях этого пятна угадывалось что-то знакомое.

— Это же... шея, — прошептала Мириам, отшатываясь.

Это в самом деле была шея, бледно-розового телесного цвета, и на ней имелись четкие иссиня-черные следы душивших пальцев. Видение продержалось несколько секунд, после чего пропало.

Я выдохнул:

— Ай, класс!

Мириам осветила фонарем другую стену. Она не говорила ни слова, и луч света немного дрожал.

— Мириам, я хочу потанцевать.

— Музыки нет, — тихо откликнулась она, — придется пойти еще куда-нибудь.

— Угу, — сказал я и икнул. — Значит, договорились?

Ни я, ни она не двигались с места.

В конце концов Мириам решилась заговорить вновь.

— Билл, чего ты ждешь? Идем!

— Танцевать?

— Танцевать! — услышал я ее издевательское контральто. — Мы приехали сюда, чтобы осмотреть дом, так? Ну и пошли!

Мне пришло в голову, что спектакль удался на славу, и очень хорошо, что я наслаждался зрелищем в обществе Мириам, а не другой, более впечатлительной дамы. Этот дом уже начинал действовать мне на нервы. Представить страшно, что моя спутница вдруг потеряла бы голову, упала в обморок, устроила истерику или что-нибудь в этом роде. А если бы она убежала, оставив меня одного?

Я двинулся следом за Мириам.

Мы обошли весь второй этаж, и ничего особенного

не случилось. Бодрость Мириам мне здорово помогла. Мы без труда объяснили друг другу, что отдаленные стоны и выстрелы на самом деле вызваны завыванием ветра в трубах, хлопанием ставень и проседанием. Мы бодро проигнорировали тот факт, что ночь выдалась безветренной и что дом, построенный сто двадцать пять лет назад, проседать не должен. Иными словами, мы сочли, что ничто нас не тревожит. И мы были уверены в этом до тех пор, пока не возобновился тот смех, похожий на всхлипывание. Жуть, право слово. Я понял, что Мириам держит меня за руку только тогда, когда ее кости хрустнули, потому что я чересчур сильно сжал ее пальцы. Смех постепенно менял тембр, и у меня мелькнула мысль о безумном пианисте, играющем гаммы на рыдающем инструменте.

— Тебе все еще нравится здесь? — спросил я у Мириам.

— Мне и в школе не нравилось, но я же ее закончила, — последовал ответ.

Чтобы выйти на лестницу и подняться на третий этаж, нужно было открыть дверь. Лестница была узкая, и посредине она сворачивала; в этом месте имелась небольшая квадратная площадка. Я шел впереди, весьма жалея об этом — мне было уже не до рыцарского благородства. Я не дошел до той площадки двух ступенек, когда из стены справа вышла женщина — очень красивая, между прочим, женщина в прозрачном одеянии, — пересекла площадку и скрылась в стене слева. Ее красоту портили два обстоятельства: вытекающая из уха струйка крови и ее абсолютная прозрачность; сквозь нее я отлично видел грязную стену. Я, конечно же, шагнул назад и наступил на ногу Мириам. Она вскрикнула и ухватилась за перила.

Кусок поручня немедленно отвалился и с грохотом полетел вниз, в черную бездну.

— Ты в порядке? — спросил я, стараясь перекричать шум и поддержать Мириам.

Поддержать ее мне не удалось, я только угодил пальцем ей в глаз. Мириам произнесла несколько слов, которым явно научилась не у мамы, и спросила, зачем мне понадобилось пятиться.

— Ты ее видела? — вырвалось у меня прежде, чем я сообразил, что не должен ничего говорить.

— Кого?

— Девушку... Ой, нет, Мириам, я ничего не говорил. Мне опять что-то пригрезилось. Идем.

Мы миновали лестничную площадку, после чего что-то неизъяснимое заставило нас обернуться. Во всяком случае, когда я оглянулся, то увидел затылок Мириам. А еще я увидел прозрачную даму. Она пересекала площадку в обратном направлении спиной вперед, и кровь не вытекала из ее уха, а втекала обратно. Жуткое было зрелище, и все-таки я слегка успокоился. В первый раз Томми переиграл. Слишком киношный трюк. Значит, он просто прокрутил кинопленку — в нормальном направлении и в обратном. Может, где-то под лестницей спрятан киноаппарат. Теперь понятно, почему девица прозрачна: ее изображение попросту проектируется на стену. Но, черт возьми, как ему удалось добиться такого потрясающего стереоэффекта?

— В это, — упавшим голосом произнесла Мириам, — я отказываюсь верить. Билл, что это за дом? Ради всего святого!

— Дом с привидениями, вот что это такое! — весело воскликнул я. Мне стало намного легче после того, как хотя бы один из призраков получил вполне

удовлетворительное разъяснение. — Осмотрим его и уедем. Идем скорей!

Я не очень-то хорошо видел ее лицо и фигуру в свете наших фонариков. Но то, что я разглядел, заставило меня почувствовать себя подлецом. Она была почти раздавлена. Нельзя было подвергать замечательную девушку таким кошмарным испытаниям.

— Мириам, — ласково сказал я, беря ее за руку, — я не...

Но тут холодный смех достиг, пожалуй, крещендо, а снизу донесся самый леденящий, самый чудовищный вопль, какой мне когда-либо доводилось слышать. Как будто человек от страха сжал зубы так, что из десен потекла кровь, и голова его ходила ходуном. Смех, сдается мне, прекратился из-за этого вопля; во всяком случае, какое-то время мы с Мириам слышали только отголоски крика. Мы не дышали, дабы не принять за эхо услышанного нами крика звуки собственного дыхания. Так не кричат обитатели этой земли. Значит, есть где-то в глубинах ада душа, измученная крайне и все же сохранившая достаточно сил для такого крика.

Мы с Мириам отпрыгнули друг от друга — для того лишь, чтобы стряхнуть с себя воспоминания об услышанном. И все-таки мы оба не могли противиться желанию поскорее закончить безумное исследование. Почему-то мы не могли оставить его незавершенным. Я как-никак понимал, что встретившие нас здесь ужасы, какими бы они ни были, являются плодами редкостной изобретательности Томми, всего лишь радиоинженера. А про стальные нервы Мириам я уже говорил вам. Чего стоит хотя бы то, что она до сих пор не забилась в истерике.

Третий этаж нам понравился. Там ничего не было, кроме старинных столов и стульев, пыли в больших количествах и поскрипывающих половиц. Поэтому, когда мы опять вышли на лестницу, чтобы спуститься, нам стало весело. Почти. Почти, так как возобновился тот самый звук — всхлипывающий смех. Он никак не прекращался, и очень скоро мы уже не могли выносить его. А он не прекращался. Мы спускались по лестнице, бежали трусцой по коридорам, распахивали двери комнат и заглядывали внутрь, в общем, носились по дому, как дети, а смех между тем становился... не то, чтобы громче, но явственнее. Мы не могли понять, следует ли его источник за нами, или же этот смех попросту царит во всем доме сразу. Нас он настолько захватил, что мы вообще позабыли про дом. Мы не просто слышали его — мы дышали им. От него одежда прилипала к телу. Он окружал нас, мы жили в нем, и ему не было конца, не было предела. Выбежать из дома? Как наивно! Этот смех вошел в нас, в нашу кровь, в наши кости. Когда мы были уже на первом этаже, Мириам стукнулась о какую-то дверь и отшатнулась, упав в мои объятия. Я посветил ей в лицо. Боже правый, тот смех... Это смеялась она. И еще кто-то, должно быть.

— Мириам! — завопил я и дважды ударил ее по щеке. Смех теперь доносился откуда-то сверху, а Мириам, дрожа, прильнула ко мне. — Мириам, зачем я... Любимая, опомнись! Послушай меня!..

— Билл, — шепнула она, как будто удивляясь. — Билл, мне страшно. Мне страшно, Билл.

А затем она расплакалась, и можете выколоть мне глаза, если плакала она не в первый раз за всю свою сознательную жизнь. Я по тому могу судить, с каким трудом ей давались слезы.

Я подхватил ее и перенес в комнату, в которой мы еще не побывали. Оказалось, что там есть колоссальный диван из красного дерева, обитый красным плюшем. Я опустил на него Мириам, а она вдруг обвила руками мою шею. Клянусь вам, она внезапно превратилась в маленькую девочку, испугавшуюся темноты. Я склонился над нею. Не знаю, по-моему, я тоже плакал.

А смех приближался.

— Билл, — простонала Мириам, — прекрати это. Я прошу тебя, Билл!

Я решил тогда, что спектакль пора кончать, зажег торшер, стоявший около дивана, и направился к двери.

Крик Мириам остановил меня. Я вернулся, обнял ее и поцеловал, а потом все-таки отпустил и выскочил из комнаты. Она так и осталась на диване, безмолвная и беспомощная. А я со всех ног помчался вниз.

В ту минуту я думал только о том, что Томми зашел слишком далеко. Я ворвался к нему в подвал, в его логово, где он засел со своими приборами. Знаете, иногда случается, что человек выполняет свои обязанности слишком хорошо. Я хотел ему об этом сказать, и несколько минут тыкался вслепую в поисках дверной ручки. Когда я нашарил наконец дырку на месте замочной скважины, то сумел открыть дверь. Да, я провел лучом фонаря по всей комнате. Там никого не было!

— Томми! — рявкнул я. — Томми!

Говорю вам, там вообще никого не было! Ни у пульта управления, ни у фонографа.

А смех продолжался. Да, представьте себе. Я посмотрел на фонограф повнимательнее. Ну правильно, громкоговоритель подключен к аппарату, но ап-

парат-то не работает! Я подобрался к фонографу и опрокинул его, он с грохотом рухнул на пол... А смех все продолжался.

Томми! Ну где же он? Наверное, только что вышел. Прячется где-то в подвале.

Я подошел к двери и позвал его. Ответа не было. Я подскочил к оснащенному лампочками пульту и нажал на все кнопки по одному разу. И все это время всхлипывающий смех слышался повсюду. Это же не я смеялся, правда?

Я тряхнул головой, чтобы хоть сколько-нибудь прийти в себя. Неужели этот растяпа мог забыть и не явиться? Господи, да был ли он сегодня здесь?

Вторник. Сегодня вторник. Разве Томми во вторник планировал здесь появиться? Вот о чем я тогда подумал. И стал припоминать, как Томми давал мне инструкции. Он секунд тридцать говорил «с-с-с» и больше ни звука. Так, но ни он, ни кто другой не станет говорить «с-с-с», желая выговорить слово «вторник». Такой звук получается, когда заика хочет сказать «среда». Господи, как же глупо вышло! И с чего мне взбрело в голову, что он назначил вечер привидений на вторник? Что-то про вторник он определенно говорил. Ну конечно! Он сказал мне: «Позвони своей снежной королеве во вторник и убедись, что она будет с-свободна в с-с-с...» Вот как было дело!

От досады я закусил губу. Ну ладно, пусть это не Томми. Значит, нашелся другой сукин сын, который вот уже битый час развлекается тут с этой дьявольской аппаратурой, и мне плевать, как этого сукина сына зовут! Я направил луч фонаря на приборную

доску, нашел аккумулятор и перерезал проводку. Так будет лучше.

Лучше не стало. Сначала до меня донесся все тот же смех, а потом я услышал, как Мириам кричит. Я рванулся к двери, не беспокоясь в общем-то о судьбе всяких электрических штучек Томми. Когда я выбежал из подвала и бросился вверх по лестнице, то оставил за собой кучу оборванных проводов, разбитых лампочек и тому подобного мусора. Мириам находилась все в той же дальней комнате первого этажа, куда я ее привел. В той самой комнате, где четыре человека были найдены задушенными!

Времени я не терял. Я вбежал в комнату так стремительно, что оставил на дверном косяке хороший кусочек собственного плеча, и мне открылась истина. Этому дому не нужен был Томми, в нем и без Томми водились привидения.

Мириам лежала на диване, голова ее была свернута на сторону, а на горле явственно были видны лиловые пятна.

Я завопил и бросился прочь. Врача! Полицию! Надо было делать хоть что-нибудь! Мириам! Это я виноват! Если она мертва, значит, я — ее убийца!

Входная дверь открывалась внутрь, только это ненадолго задержало меня. Я распахнул дверь, рванулся на крыльцо и замер. Вот оно, значит, как. Вот что случилось с Грандтом. Фортунато нашел его там же, где я нашел Мириам. Счастливец Фортунато сломал себе шею, сбегая с этого вот крыльца. Я позавидовал ему. Если я тоже сломаю себе шею, мне не придется казнить себя за смерть Мириам всю оставшуюся жизнь. На этих вот ступенях нашли свою смерть трое. Почему бы не четверо? А смех за моей спиной пре-

кратился, и я слышал глухой утробный вой. История повторяется. Один человек задушен, второй погибнет сейчас на ступенях. Здесь всегда так бывает. И...

— Нет, — проскрипел я и поплелся обратно в дом.

Смех замер — сам собой.

Я ощупью прошел длинный коридор. Мириам по-прежнему лежала в дальней комнате. Я долго стоял в дверном проеме и смотрел на нее. Мне не хотелось приближаться, не хотелось прикасаться к ней. Ничего мне не хотелось. Я просто тупо смотрел на нее, на ее неестественно вывернутую шею с темными отметинами. И вдруг я увидел, что вовсе она не задушена — ее душат на моих глазах!

С хриплым воплем я рванулся вперед, подхватил ее на руки, провел ладонью по горлу. Никого и ничего! Я взвалил ее на плечо и хотел было вынести из комнаты, но не смог, потому что ее держали за горло! Изо всех сил я вырывал ее у невидимого противника, но тщетно! А потом еще что-то произошло, и зрачки Мириам закатились, ее уже не слепил свет подвешенного мной фонаря. Но внезапно все кончилось, и каким-то чудом я, спотыкаясь и шатаясь, вынес ее из комнаты, прочь из проклятого дома, подальше, в машину.

Отъехав на порядочное расстояние, я затормозил. После всего случившегося Мириам не могла остаться в живых. Так почему же она шевелится и даже бормочет что-то? Я прижал ее к себе, взял за запястье. Она силилась выговорить мое имя. Я едва не рассмеялся. Она пыталась ругаться, а язык ее не слушался. Тогда я действительно рассмеялся.

— Привет, — произнесла она и облизала губы. — Меня немножко помяли.

Она дотронулась до горла и улыбнулась.

— Дорогая моя, прости, что я тебя туда притащил. Не знаю, что за дурь...

— Помолчи, — прошептала она и опустила голову на сиденье.

Она молчала так долго, что я испугался.

— Мириам...

— Кстати о птичках, — перебила она меня, и голос ее прозвучал так спокойно и естественно, что я был вновь поражен. — Ты недавно задал мне один вопрос. Так вот, я выйду за тебя замуж, если хочешь.

Я все-таки не мог прийти в себя, настолько был изумлен.

— За что? — удалось мне проговорить.

Мириам припала ко мне.

— Дело в том, что я всегда мечтала о том, чтобы муж рассказывал мне по вечерам страшные истории.

Добавить к этой истории могу вот что. Томми отказался быть шафером на моей свадьбе, так как разозлился за попорченное оборудование. А я купил этот особняк на Гроув-стрит и распорядился снести его. Сейчас на том месте уже построен новый дом, и мы с Мириам в нем счастливы.

Содержание

Умри, маэстро! *Пер. А. Мирера* 5
Музыка. *Пер. В. Кулагиной-Ярцевой* 55
Это был не сизигий. *Пер. В. Кулагиной-Ярцевой* ... 58
Образ мышления. *Пер. В. Гришечкина* 100
Летающая тарелка одиночества. *Пер. В. Гришечкина* 157
Сокамерник. *Пер. В. Гришечкина* 184
Быстрый, как молния, гладкий, как шелк. *Пер. В. Гришечкина* 208
Любимый медвежонок профессора. *Пер. В. Гришечкина* 245
Шрамы. *Пер. В. Грищечкина* 265
Руки Бьянки. *Пер. В. Гришечкина* 281
Настоящее ничто. *Пер. В. Гришечкина* 299
Тайна планеты Артна. *Пер. А. Георгиева* 327
Как пришить тетушку. *Пер. А. Георгиева* 364
Барьер Луаны. *Пер. А. Георгиева* 398
Таксидермист. *Пер. А. Георгиева* 459
Ночные гости. *Пер. А. Георгиева* 483

Литературно-художественное издание

Теодор Старджон

УМРИ, МАЭСТРО!

Заведующий редакцией М. Ю. Корнеев
Ведущий редактор М. Ю. Корнеев
Художник К. А. Сошинская
Художественный редактор Ю. Л. Максимов
Технический редактор Е. В. Денюкова

Оригинал-макет подготовлен Н. Б. Андреевой
в пакете QuarkXPress

Лицензия ЛР № 010174 от 20.05.97 г.

Подписано в печать 19.05.99 г. Формат 70x100/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Newton.
Объем 8,00 бум. л. Усл. печ. л. 20,80. Уч. изд. л. 21,39.
Изд. № 9/9685. Тираж 10 000 экз. Зак. 897. С 013.

Издательство «Мир»
Государственного комитета Российской Федерации по печати.
129820, Москва, 1-й Рижский пер., 2.

Диапозитивы изготовлены в издательстве «Мир»

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

**Книги издательства «Мир»
можно приобрести по самым низким ценам
в рекламно-коммерческом центре
издательства по адресу:**

Москва, 1-й Рижский пер., д. 2, корп. 2, ком. 55
(метро «Алексеевская» или «Рижская»,
авт. 714 до остановки «1-й Рижский переулок»)

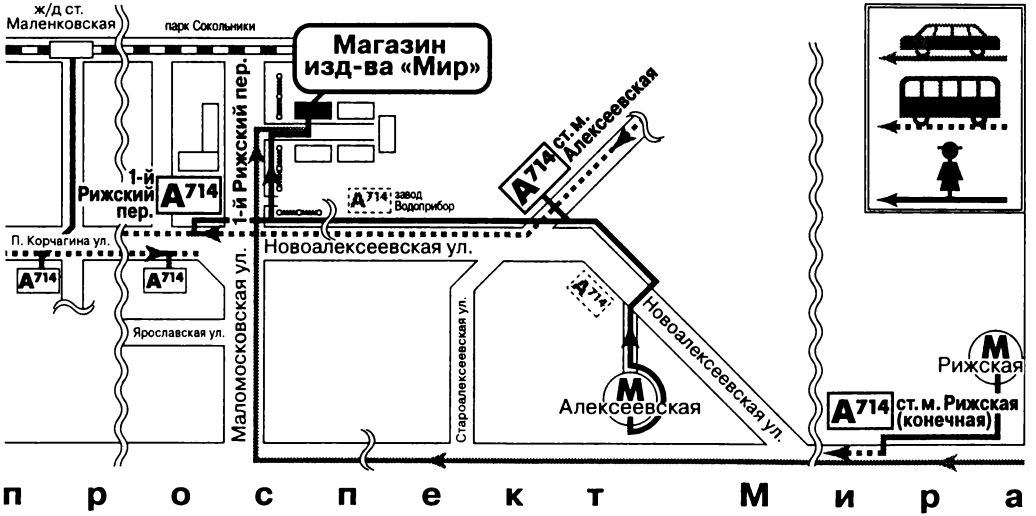
тел. 286-82-33

Иногородним покупателям (в пределах России)
книги высылаются наложенным платежом.
Заказы следует направлять в издательство
по адресу:

129820, ГСП, Москва, И-110,
1-й Рижский пер., д. 2, коммерческая служба

тел. 286-17-72
286-82-33
286-83-88
факс (095) 288-95-22

e-mail: victor@mir.msk.su


ж/д ст.
Маленковская
парк Сокольники
Магазин
изд-ва «Мир»
1-й
Рижский
пер.
А714
1-й Рижский пер.
А714 завод
Водоприбор
А714 ст. м.
Алексеевская
П. Корчагина ул.
Новоалексеевская ул.
Маломосковская ул.
Ярославская ул.
Староалексеевская ул.
Новоалексеевская ул.
Алексеевская
Рижская
А714 ст. м. Рижская
(конечная)
п р о с п е к т М и р а

Издательство «Мир»

в рамках серии

«ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА»

начинает выпуск

«БИБЛИОТЕЧКИ КЛАССИКИ»,
в которую войдут произведения
крупнейших писателей-фантастов XX в.
в лучших переводах.

Первыми увидят свет **в 1999 г.**
два сборника
научно-фантастических рассказов,
объединенных общим названием
«Звезда по имени ГАЛЬ»,
посвященные памяти замечательной
переводчицы Норы Галь.

Зарубежная фантастика

ISBN 5-03-003329-7

Теодор Старджон

УМРИ, МАЭСТРО!

Издательство «Мир»